В. С. ЯНОВСКІЙ

МІРЪ

Романъ

ПАРАБОЛА / БЕРЛИНЪ

В. С. Яновскій

МІРЪ

РОМАНЪ

«ПАРАБОЛА» — БЕРЛИНЪ

Въ мірѣ будете имѣть скорбь, но мужайтесь.

Отъ Іоанна XУI, 32.

I

Большой городъ неугомонно и жадно дышалъ. Опять и опять приближалось лѣто.

Деревья въ милліонный разъ мѣняли уборы и монотонно выбрасывали недоконченныя формы: зеленыя почки, влажные листья, цвѣты. Ночью въ садахъ глухіе шорохи выдавали чей-то спѣшный трудъ, — ненужнымъ узоромъ, стариннымъ орнаментомъ отдѣлывались растенія.

По тротуарамъ, горящимъ отъ солнца и лужъ, какъ колода картъ, празднично тасовались люди. Одни — въ новыхъ лѣтнихъ нарядахъ, но въ зимней обуви; другіе — въ тяжелыхъ пальто, но безъ шляпъ; третьи — зябко кутаясь въ плащи съ поднятыми отъ рѣзкаго, озорного вѣтра воротниками. Воскресная, пестрая толпа спѣшила развлекаться, то и дѣло недовѣрчиво и растерянно щурясь на небо.

— Наташа, посмотрите, въ какой они паникѣ, — захохоталъ вдругъ толстенькій Шелеховъ, показывая рукой на испуганно снующихъ людей.

Его пухлое, мало-выразительное, лицо сморщилось, какъ неглаженный платокъ, содрогаясь въ тактъ визгливому смѣшку.

— Да, — улыбнулась Наташа. — Какой у васъ,

однако, непріятный смѣхъ. Говорятъ, что въ смѣхѣ сказываются животные инстинкты?

—Животныя не смѣются, — наставительно поправилъ Шелеховъ. — Онѣ только умѣютъ плакать. Беззвучно, молча, катятся рѣдкія слезы. Большія, какъ черешня. А смѣяться онѣ не умѣютъ, Наташа.

— Но во всякомъ случаѣ смѣхъ свидѣтельствуетъ о многомъ. Я, если-бы мнѣ сдѣлали предложеніе, заставила бы этого человѣка хохотать нѣкоторое время.

— Анекдоты бы разсказывали?

— Ну, анекдоты. А потомъ сразу и рѣшила бы.

— Значитъ, мнѣ отказали бы? — вскользь спросилъ Шелеховъ.

— А вы дѣлали предложеніе?

— Предположимъ.

— Что-жъ предполагать?

— Ну, допустимъ: да.

— А чѣмъ прикажете жить?

— Можно на фабрику поступить. Вотъ какъ всѣ дѣлаютъ.

— Отчего же вы не нанимаетесь?

— Не умѣю я работать, — задумчиво замѣтилъ Шелеховъ.

— Знаю я, — покорно согласилась Наташа. — А я обязательно что нибудь предприму. Ахъ, Господи.

— Отчего? — тихо освѣдомился Шелеховъ.

— Намъ деньги необходимы. Безъ денегъ у насъ произойдетъ несчастье.

— Все Петръ буянитъ?

— Ну, какое тамъ «буянитъ»! Ему дѣйствительно слѣдуетъ уѣхать. У него въ Бразиліи знакомые; онъ любитъ работать. Тамъ онъ карьеру сдѣлаетъ, а тутъ онъ погибнетъ. Онъ очень сильный человѣкъ.

— Вы думаете?

— Да. Только на работѣ, а не такъ въ жизни... въ болтовнѣ. Тутъ онъ беззащитенъ.

— Ну и поѣхалъ бы.

— Денегъ, денегъ нѣтъ.

— Онъ мнѣ разсказывалъ, что писалъ куда-то къ близкимъ; что деньги будутъ, — равнодушно, но мягко, освѣдомился Шелеховъ.

— Ерунда. Улита ѣдетъ, когда-то будетъ. Да съ какой стати имъ посылать деньги? Прямо глупо! А тутъ бѣда. Папа рѣшилъ на эти деньги дѣло затѣять: всю семью поддержать. Ну, Петръ, разумѣется, разсвирѣпѣлъ. Сейчасъ они не выходятъ изъ дому: боятся пропустить почтальона. Деньги врядъ ли получатъ, а ссоры почти не прекращаются, того и гляди за топоры возьмутся.

— Вѣдь, батюшка вашъ дряхлый совсѣмъ, — удивился Шелеховъ. Его лицо, обычно тупое, съ желтыми мѣшками подъ глазами, оживилось; взглядъ сосредоточенный, чуть - чуть наглый и тяжелый, съ сочувствіемъ остановился на Наташѣ.

— Тутъ еще Николай вмѣшался, — недовольно объясняла Наташа.

— Мужъ сестры?

— Да. До того раскалились, что изъ дому боюсь выйти. Право, сердце такъ и замираетъ. Страсти до того разошлись, что, ей Богу, всего ожидаешь. Да и безъ того: такъ дальше намъ жить нельзя.

— Ничего, — ухмыльнулся Шелеховъ. — Влѣзетъ. Мы очень хорошо умѣемъ жить такъ, какъ «уже нельзя дальше». Спеціализировались. Загляните въ энциклопедію на букву «р».

— Не знаю. Вотъ хотѣла васъ попросить...

— Меня? — опѣшилъ Шелеховъ. — Помилуйте, вѣдь я трупъ. Студентъ. Правда, у меня планы. Но покамѣстъ я трупъ. Скелетъ. Какія у меня деньги? Сердце могу предложить.

— Нѣтъ, я совѣта хочу. Я знаю, — неохотно успокоила его Наташа, покраснѣвъ. — Я хочу раздобыть хоть немного денегъ для папы. Онъ бы занялся дѣломъ и все разсосется.

— А какое дѣло?

Наташа огорченно взмахнула рукой:

— У нихъ тоже междоусобица. Папа хочетъ купить фотографическій аппаратъ: ходить лѣтомъ по пляжу и снимать купающихся; а зимой на улицѣ продавать жаренный картофель съ сосисками. Николай же настаиваетъ купить старый грузовикъ, поставить на него кинематографическіе приборы: разъѣзжать по селамъ и давать сеансы. Что ни недѣля, то новый планъ. Главное: прекрасныя, расчудесныя, остроумныя идеи. Все расчитаютъ, придумаютъ. Потомъ рассорятся изъ-за мелочей; напакостятъ себѣ-же, разругаются. Мы всѣ измотались, сестра третій мѣсяцъ изъ дому не выходитъ: чулокъ нѣтъ.

— Да; въ главномъ, можетъ, люди когда-нибудь сговорятся, но въ мелочахъ никогда, — замѣтилъ Шелеховъ. — А ребеночекъ какъ?

— Оретъ. Растетъ: себѣ на горе, намъ на утѣшеніе.

— И всѣ вы въ одной комнатѣ?

— Вѣрнѣе, въ четырехъ постеляхъ.

— Такъ... — протянулъ Шелеховъ, отряхивая съ подошвъ приставшую глину. Они шли окраинными улицами. — Но планы ихъ, признаться, мнѣ нравятся, — продолжалъ онъ. — Оригинальныя, смѣлыя предпріятія. Золотые пріиски! Разумѣется: вѣдь на пляжахъ всѣ фотографируются! Или передвижной кино - театръ. Геніально! Неугомонный старикъ.

— Ну вотъ, а на «кодакъ» не особенно много и надо. Да откуда?

— Надо подумать. Я всей душой радъ помочь. Авось, повезетъ. И впрямь могу разбогатѣть: я сценарій послалъ къ американцамъ. 10.000 долларовъ, если клюнетъ! — удивленно выкладывалъ Шелеховъ.

— Десять тысячъ? — переспросила Наташа и сладко засмѣялась.

— Вотъ, вотъ. Тогда всѣмъ помогу.

— Вы не добрый человѣкъ, — замѣтила задумчиво Наташа. — Вы даже злой человѣкъ и главное не искренній! Ей Богу! Но я знаю, что вы почти един-

ственный человѣкъ, который не пропуститъ случая оказать услугу. Чудно, какъ то. А впрочемъ.

— Вѣжливость, — шаркнулъ Шелеховъ ножкой.

— Не скоморошествуйте, — поморщилась Наташа. — Вѣжливость только развѣ сдѣлаетъ видъ, что помогаетъ.

— Увѣряю васъ, вы ошибаетесь! — замѣтилъ Шелеховъ очень искренно. — Настоящая, подлинная корректность становится почти христіанской добродѣтелью, — онъ осклабился.

— Вѣдь вамъ нельзя вѣрить: вотъ, улыбаетесь.

— Что вы, что вы! — виновато защищался Шелеховъ. — Я анекдотъ одинъ вспомнилъ. Хотите, разскажу, презабавный.

— Разскажите. Только дойдемъ мы когда-нибудь до Прониныхъ, наконецъ?

— Дойдемъ. Осилимъ. Ну, слушайте. На парадномъ обѣдѣ въ большомъ международномъ ресторанѣ встрѣтились за столомъ нѣсколько господъ: дѣло-ли какое затѣвали или такъ подзакусывали, объ этомъ не упомянуто въ архивахъ. Присутствовали тамъ, можно сказать, всѣ народы, классы и сословія. Расфуфыренные лакеи внесли дымящіяся лохани съ супомъ, вазы съ шампанскимъ: парадъ. Бывшій впервые на званой трапезѣ, — робѣющій и заикающійся провинціалъ, нарымчанинъ, допустимъ, — не знающій куда полагается ноги свои дѣть, а куда локти, замѣтилъ вдругъ подлѣ себя серебряное ведерцо со льдомъ рядомъ съ бутылками. Не зная, къ чему оно предназначено, онъ изъ одного только самолюбія, изъ ретивости и рьяности ткнулъ туда ложку, недоумѣвающе кося глазами. Онъ обратилъ вниманіе на паръ, валившій столбомъ изъ его суповой тарелки. Его лицо просвѣтлѣло: онъ догадался. Осторожными, граціозными движеніями, держа ложку изогнутой рученкой съ оттопыреннымъ по-аристократически мизинцемъ, онъ ввергнулъ нѣсколько кусковъ льда въ горячій супъ... размѣшалъ и попробовалъ. Получилось прохладное блюдо:

можно было, не обжигаясь, приняться за работу. Но тутъ онъ торопливо, по-воровски, вопросительно оглянулъ сидящую близко знать. Будто молнія сверкнула, громъ грянулъ къ тому-же съ яснаго неба, такъ вздрогнулъ его сосѣдъ справа: онъ недовольно потянулъ носомъ, какъ бы провѣряя воздухъ; оглянулся смятенно на другихъ, призывая ихъ во свидѣтели; затѣмъ, не коснувшись супа, отставилъ его, надменно дожидаясь второго. Сосѣдъ слѣва, пусть добродушный москвичъ, незамѣтно подтолкнулъ нарымчанина локтемъ, мигая ему однимъ глазомъ, дескать: не клади болѣе, оставь ледъ, бѣдняга. Сидѣвшій насупротивъ джентельменъ въ гладко расчесанныхъ сѣдинахъ, не моргнувъ бровью, продолжалъ начатую фразу: «...вообще соглашаясь, что дыры для заклепокъ ослабляютъ листовое дерево, умножая коэффиціентъ усталости...», — вѣроятно, то былъ благовоспитанный англичанинъ. И только одинъ хорошо, хотя скромно одѣтый человѣкъ, сидѣвшій наискось побагровѣвшаго до кондрашки нарымчанина, только сей съ достоинствомъ молчавшій сотрапезникъ протянулъ вдругъ руку съ ложкой, набралъ злополучнаго льда и, размѣренными движеніями знающаго свѣтъ человѣка, разбавилъ имъ свою горячую похлебку. Облегченно вздохнулъ полуубитый нарымчанинъ. Вѣдь это только вѣжливость, — закончилъ Шелеховъ. — Вѣжливость осмысленная, встрѣчающаяся съ подвижничествомъ, переходящая въ добродѣтель! Правда, Наташенька?

— Ахъ, я слишкомъ озабочена своимъ. Думаю, что такой человѣкъ не отказалъ бы занять кушъ?

— Далъ бы! — увѣренно вскричалъ Шелеховъ. — Обязательно.

— Да гдѣ его встрѣтишь, — вздохнула она. — Дѣло вотъ въ чемъ. У меня есть послѣдняя возможность: одна знакомая согласилась одолжить мнѣ на время свои бездѣлушки. Надо ихъ только заложить у добросовѣстныхъ коммерсантовъ. Я не знаю, какъ это дѣлаютъ!

— Такъ папаша вашъ сдѣлаетъ! — объяснилъ Шелеховъ.

— Они подерутся.

— Петръ.

— Заберетъ деньги.

— Ладно. Я вамъ это устрою у Прониныхъ, — предложилъ онъ. — Дайте брилліантики.

— Да ихъ у меня еще нѣтъ, — раздраженно стукнула Наташа каблукомъ. — Это все планы, ахъ, Боже мой! Проекты. Какой вы непонятливый.

— Ну будетъ ужъ, будетъ, — успокаивающе заговорилъ Шелеховъ. — Въ самомъ дѣлѣ: довольно суеты. Отрезвитесь: кругомъ весна; вы попираете розовыми пятками прекраснѣйшую изъ всѣхъ планетъ; вдохните воздухъ, понюхайте, понюхайте, прошу васъ! Развѣ можно заботиться?! Грѣшно. Подумайте: мы идемъ — юноша и отроковица — на имянины. Сегодня праздникъ, каково! Мы будемъ ѣсть сладости, пить брагу, слушать музыку и флиртовать въ мѣру; станемъ говорить о наукахъ, спорить о вселенной, завязывать знакомства... Вдругъ тамъ встрѣтите, наконецъ, Спасителя! Не того — преданнаго Іудой и распятаго іудеями, — а другого: въ смокингѣ и шелковыхъ носкахъ. Онъ вамъ улыбнется и скажетъ: «Да?»... Вы опустите вѣки и еле слышно дохнете: «спросите маменьку...» Все устроится въ пять секундъ. Итакъ: смирно! глядѣть веселѣй! Исаинъ — художникъ, легитимистъ и атеистъ, — Исаинъ, больной жабой и чахоткой, — говоритъ: отъ дурного къ хорошему всего одинъ дѣтскій шагъ. Вы вѣдь знаете Исаина?

— Его я знаю, — отвѣтила Наташа. — А вы все таки пошлякъ. Пошлякъ! — повторила она упрямо. — Хотя вы и страдали много.

— Разумѣется, пошлякъ, — обрадовался даже онъ. — Я люблю канареекъ; пѣніе соловья; я люблю запахъ сирени и черемухи, а еще больше запахъ скошенной травы или крыжовника, терпкаго, кислаго.

Ну, развѣ не пошлякъ? Я подаю нищенкѣ грошъ, а если имѣю крупную ассигнацію, то дожидаюсь, пока она отсчитаетъ сдачу! Ей-же, ей!

— Врете вы, шутъ!

— А вѣдь вы за Христа меня сейчасъ обижаете. Вѣроятно, за обмолвку о спасителѣ? Знаю, душенька.

— Вовсе нѣтъ! Вовсе нѣтъ!

—Ладно, ладно. Скажу, какъ Исаинъ: «вѣрующій мужчина меня приводитъ въ изступленіе, но женщина...» и опускаю очи стыдливо долу. Шучу.

— Я не хочу объ этомъ говорить! — сказала Наташа.

— Вотъ. Ваши глаза сейчасъ сверкнули совсѣмъ какъ у 16 - лѣтняго отрока моей квартирной хозяйки, когда онъ мучаетъ кошку.

— Жоржикъ-то?

— Да. Представьте, спросишь его: зачѣмъ ты кота изводишь?.. Онъ басомъ: а зачѣмъ Богъ мучаетъ людей?.. Кто, говорю, ихъ мучаетъ; Бога, можетъ, совсѣмъ нѣтъ, котъ не виновенъ, отпусти, не хорошо! А онъ октавой милый, какъ загудитъ: а разъ Бога нѣтъ, то и «не хорошо» нѣтъ!.. Прямо его зацѣловать хотѣлъ. Но онъ тотчасъ же какъ закричитъ альтомъ истерическимъ: Врешь! Есть! А мама не умретъ!.. Представьте, бросился на меня; царапается, кусается, визжитъ, какъ юродивый.

— Еще бы. Изводите парня. Мужики. А что у матери?

— Ракъ.

— Неужели. И разговариваетъ... все руками? Нѣмая она?

— Припадки такіе. Спазмы пищевода, Наташа.

— А ребенокъ прекрасный. Ровно струна тонкая: нѣжная, глубокая. Отецъ тоже калѣка?

— Ребенокъ отсталъ для своего возраста, — замѣтилъ Шелеховъ. — Осторожно, намъ надо повернуть сюда... Отца у него нѣтъ; калѣка: дядя. Папашу

разстрѣлялъ Дзержинскій за спекуляцію. «Папаша былъ халуй», — говоритъ Жоржикъ. Отчего? «Онъ билъ маму». Да. «А дядю я убью»... Почему? спрашиваю. «Маму моритъ голодомъ, гадъ!», гласитъ отвѣтъ.

— А ему кто ѣсть даетъ?

— Мы подкармливаемъ, — неохотно бросилъ Шелеховъ. — Павелъ покажетъ кусокъ колбасы и скажетъ: «нѣтъ Бога...» Жоржикъ долженъ говорить: «нѣтъ Бога»... Получитъ колбасу, съѣстъ и на попятный: «Я-де отъ Бога не отрекался; я вслухъ сказалъ «нѣтъ Бога», а про себя тихонько: «кромѣ Бога»... Павелъ хочетъ отучить. Развить его. Пропаганда.

— Коммунистъ?

— Да. Бывшій корниловецъ.

— Какъ это можно? — искренне изумилась Наташа. — Сейчасъ, послѣ всего, что мы пережили, быть большевикомъ.

— Онъ работаетъ; 48 часовъ въ недѣлю натираетъ полы; тутъ открываются новые виды.

— Дойдемъ мы, наконецъ? — вскричала съ отчаяніемъ Наташа. — Говорила: ѣдемъ автобусомъ. Нѣтъ-же: «прогуляемся»!

— Уже близко совсѣмъ! Видите, вонъ ихъ гнѣздо, огнище. Муравейникъ.

— Всѣ тамъ живутъ? Не враждуютъ?

— Всей родней. Выводокъ Прониныхъ. Перегородили домъ на клѣтушки, отмежевались другъ отъ друга, но на одномъ фундаментѣ. Патріархальные устои. Ссорятся, грызутся; женятся, рожаютъ въ назначенные сроки. Если-бъ въ ночные часы лучами новаго Рентгена освѣтить этотъ домъ, на картинѣ проявился бы образъ немного жуткій, хотя и натуральный, повторенный ровно столько разъ, сколько тамъ есть брачныхъ паръ. Жаркими пуховиками надѣляетъ ихъ всѣхъ старуха. Видите, вонъ Марина бѣжитъ въ лавку: докупать специи.

— Да, — разглядѣла Наташа. — Ободранная совсѣмъ. И какъ они не боятся держать въ домѣ сумасшедшую. Кликушу.

— Во-первыхъ: родня; а во-вторыхъ: болѣетъ она только приступами, припадки такіе; въ остальное время прекраснѣйшее, мирнѣйшее существо и главное: даровая прислуга.

Усадьба Прониныхъ была хоть и тѣсная, но помѣстительная; двухъэтажный домикъ съ нѣсколькими флигелями стоялъ въ глубинѣ садика, гдѣ цвѣли черешни; нѣсколько скамеекъ были поставлены такъ, чтобы въ любое время дня можно было отдохнуть въ тѣни; у невысокой, выкрашенной коричневой краской изгороди бѣлѣла крокетная площадка съ разставленными проволочными дужками. Такія постройки возводились во всѣхъ уѣздныхъ россійскихъ городахъ: тихихъ, задумчивыхъ, съ курами на мостовой — въ будни; шумныхъ, пьяныхъ, гремящихъ — въ базарные дни и престольные праздники. Тамъ онѣ были незамѣтны, скучны и сѣры. Но здѣсь, среди кирпичей чужого города, эти строенія, клумбы, голубятня... были почти своеобразны; и съ завистливымъ любопытствомъ оглядывали проѣзжающіе эти окна съ фикусами, съ бѣлыми кружевными занавѣсками, изъ-за которыхъ виднѣлись опрятныя комнаты и удобная мебель; мелькали румяныя женскія лица, а вечерами грустило піанино и свѣтили лампы подъ цвѣтными абажурами: въ столовыхъ — бѣлыхъ и яркихъ, въ гостиныхъ — голубовато - зеленыхъ и синихъ; а въ спальняхъ — малиново - махровыхъ... вкрадчиво и грѣшно.

Замѣчательная семья Пронины.

II

Пронины были потомственными гильдейцами. Купцами, толстосумами. Прадѣдъ ихъ, волосатый мужикъ, смуглый, почти черный, молчаливый и твердолобый, служилъ ямщикомъ на безлюдномъ трактѣ. Онъ аккуратно присылалъ оброкъ, присовокупляя и гостинецъ, которымъ мелкопомѣстная помѣщица не брезгала. Его тройка славилась по всей губерніи: онъ ея не жалѣлъ. Но случилась бѣда: однажды, во время утомительнаго и лихого прогона, лошади напоролись — скача во весь духъ — на ровно спиленную вѣковую сосну. И пока ямщикъ выползалъ изъ подъ разбитыхъ розвальней, нѣсколько бородачей угрюмо добивали обухами свирѣпо кричащихъ купцовъ; ямщика они не тронули. «Иди и не оглядывайся», — сказали они ему. Непосредственно за этимъ Прошка выкупился изъ крѣпости; обзавелся семьей, лавкой, сталъ величаться Прохоромъ Дмитріевичемъ. Впрочемъ, характеръ его не измѣнился, даже, наоборотъ, — сталъ еще грознѣе, строже. Къ старости ударился въ молитвы; несмотря на большую грыжу, безсмѣнно носилъ тяжелыя вериги подъ рубахой: двѣ плоскія — какого-то особеннаго камня, вывезеннаго изъ зауральскихъ областей — плиты. Началъ Прохоръ Дмитріевичъ съ маленькаго заведенья, надъ входомъ котораго красовалась жестяная полоса съ намалеваннымъ помятымъ самоваромъ, и продырявленной кастрюлей на кругломъ тазѣ; сбоку, уѣзднымъ художникомъ, было старательно, но без-

грамотно выведено, — какъ увѣряли старожилы: «Медикъ онъ же циникъ»..., что должно было всѣхъ оповѣщать о мѣдныхъ и цинковыхъ дѣлъ мастерѣ. Въ лавкѣ орудовалъ подмастерье, а самъ Прохоръ Дмитріевичъ гналъ по дорогѣ съ выбоинами, по проселкамъ съ ухабами; лѣсными тропами, гдѣ только филинъ кости занашивалъ, — спѣшилъ Прохоръ Дмитріевичъ въ села и города на ярмарки и базары. Въ браконьерской шапченкѣ, въ грубомъ — всегда одномъ и томъ же — нагольномъ тулупѣ, черный, косматый, какъ корень столѣтней лиственницы, онъ будилъ страхъ у всѣхъ встрѣчныхъ; а проѣзжіе о ту пору были не робкіе. Въ дѣлахъ онъ былъ аккуратенъ, честенъ до маніачества, никакихъ расписокъ не признавалъ — даже обижался — торговалъ только «на слово»; вѣжливый и зоркій. Таковъ былъ родоначальникъ. Умеръ онъ въ лѣтахъ, оставивъ нѣсколько предпріятій на полномъ ходу: круподерки, мельницы, лѣса. Кабакъ.

Сынъ его уже носилъ сюртукъ, на вывѣскахъ лабазовъ, погребовъ и другихъ предпріятій красовалось: «купца Пронина, первой гильдіи». Въ твердой манишкѣ, высокомъ воротникѣ, имѣя за собой чуть ли не два класса городского училища, онъ толково и вѣрно умножалъ достатокъ. Къ старости, молчаливый, сдержанный, какъ раскольникъ, онъ — несмотря на то, что имѣлъ промыслы почти во всѣхъ близлежащихъ губерніяхъ — сидѣлъ безвыходно на высокомъ табуретѣ въ своей конторѣ, щелкая на счетахъ, до того обветшавшихъ, что казались лысыми изъ-за осыпавшейся краски. Жена его — изъ сектантокъ мѣстныхъ, — тихое безропотное существо, беззавѣтно ему преданное, распоряжалась въ трактирѣ, бойко торговавшемъ даже въ будни. Набожная, твердая въ священномъ писаніи, какъ начетчица, она почитала за великій грѣхъ продавать адамову слезу, — спиртъ, — но по кротости, по безотвѣт-

ности своей, души не чая въ мужѣ, исполняла безоговорочно его волю.

Дѣтей своихъ троихъ: два сына и дочь, — старикъ рѣшилъ вывести въ люди, дать образованіе, благо: денегъ хватало. Старшаго, Михаила, впрочемъ, пришлось скоро — изъ шестого класа — оторвать отъ учебы: въ помощь отцу. Но дочь и младшій сынъ обучались въ Москвѣ въ высшемъ учебномъ заведеніи. Умеръ старикъ, собственно, въ какой то связи съ ихъ обученіемъ; палъ, въ нѣкоторомъ родѣ, на полѣ знанія. Такъ и не увидѣлъ старикъ, наконецъ, столь желанныхъ дипломовъ. Не мудрено: «Да и чему учиться? У кого?..» любилъ освѣдомляться младшій подъ веселую минуту. Дочь ставила вопросъ иначе: «Развѣ можно, когда люди оплываютъ, какъ свѣчи, думать о себѣ? Бываютъ годы, даже цѣлые вѣка, когда нѣтъ ничего достойнѣе терноваго вѣнка!» Она мечтала о карьерѣ террористки. Денегъ они получали, сообразно съ возможностями отца, не такъ уже очень много, но нуждаться не могли. Къ тому же мать тайкомъ ухитрялась тоже укрѣплять ихъ бюджетъ своими подъ спудомъ собираемыми цѣлковыми. Однако, не проходило мѣсяца, чтобы они не выклянчивали сверхъ, подъ тѣмъ или инымъ соусомъ. Болѣзнь, приборы, подарокъ ректору. Старикъ молчалъ; старикъ терпѣлъ; посылалъ при всей своей бережливости. Давно какъ-то его разбилъ маленькій параличъ. Звоночекъ, — какъ онъ говорилъ. Но онъ оправился. Лечился онъ довольно своеобразно: ржанымъ хлѣбомъ — съѣдалъ огромный каравай натощакъ; простаивалъ цѣлыми часами животомъ къ жарко натопленной печи. Зимой и лѣтомъ, старикъ, терся въ свободное время о раскаленный, залоснившійся кирпичъ. Если его требовали на улицу, онъ медленно дѣлалъ одинъ шагъ... останавливался... снова шагъ... остановка... Чтобы остыть: не простудиться. Однажды, пришла телеграмма отъ младшаго изъ Москвы:

«Папа денегъ — двоеточье — интегралъ сломался». Переписывались они только телеграфно. Скрѣпя сердце — старикъ послалъ снова. Даже поспѣшно, суетливо. Старуха отъ себя тоже приложила: испугалась!

Впрочемъ, старикъ загрустилъ; что-то его угнетало, безпокоило. На слѣдующій день внезапно потребовалъ къ себѣ землемѣра, котораго обычно за пьянство и неопрятность на порогъ не пускалъ. Выпили. Закусили.

— Приготовь, старуха, какъ слѣдуетъ, — приказалъ онъ. И повалили тарелки, лохани, миски-мисочки, вазы и вазочки, кувшины. Не порожніе, Съ верхами. Балыкъ, семга, трехъ сортовъ икра, грибки разные; кильки, бычки, осетрина, судакъ, поросенокъ подъ хрѣномъ, пироги: съ вязигой, съ груздями, съ грудинкой, съ рыбой. Казалось, конца не будетъ этому шествію изъ кухни, кладовыхъ, погребовъ — въ столовую и обратно (но уже порожнякомъ). Бутылочки, стклянoчки, пузырьки съ наливками, запеканками, настойками и другими приправами плясали вокругъ внушительной величины графина — четвертьведроваго — съ русской, очищенной, огненной водкой.

— Всякаго жита по лопатѣ, — одобрилъ землемѣръ.

Старикъ тоже выпилъ рюмку.

— Медвѣдь пляшетъ, цыганъ деньги беретъ... вотъ еще интегралъ придумали?! — выжидающе замѣтилъ онъ, отвернувшись какъ бы къ стѣнѣ, а самъ глазъ не спускаетъ съ землемѣра.

— Какъ?

— Интегралъ, говорю, — нерѣшительно повторилъ старикъ, начиная краснѣть.

— А, интегралъ! — вскричалъ землемѣръ, торопливо молотя челюстью. — Это мы знаемъ. Какъ же.

Выпили.

— Хитрая штукенція, — независимо замѣтилъ старикъ.

— Сложная,— грустно согласился собесѣдникъ. — Ахъ отецъ! Предо мной была столичная жизнь, я могъ быть профессоромъ, а сейчасъ я нуль! Хуже нуля! — остановилъ онъ себя. — Если къ нулю хвостикъ дописать: девятка мелькнетъ! А ко мнѣ хоть два хвоста придѣвай, все равно нулемъ останусь! Отецъ!

— Ты и безъ хвоста обезьяна, — небрежно согласился старикъ. — Не зови меня отцомъ. Значитъ, сложный аппаратъ? — сухо приказалъ онъ. — А сколько, примѣрно, стоитъ?

— Кто?

— Интегралъ, — сурово взглянулъ старикъ, но тотчасъ же отвернулся къ стѣнѣ.

— Интегралъ? — поперхнулся землемѣръ, — Интегралъ ничего не стоитъ! Отецъ, это наука такая. Сперва дифференціалы, за симъ интегральное исчисленіе и остальныя подробности, — онъ хватилъ рюмку перцовки.

— Вычисленіе? Чертежъ, значитъ, такой? Учебникъ? — просительно настаивалъ хозяинъ.

Землемѣръ мотнулъ головой.

— Аппаратикъ, значитъ?

— Какой аппаратъ? Борода! — завопилъ нетерпѣливо гость. — Никакого аппарата нѣтъ, пей, борода.

— Погоди. Не кричи. Не зови бородой. А могъ онъ, къ примѣру... — старикъ густо побагровѣлъ и понизилъ голосъ до шопота, — могъ онъ сломаться?

— Кто?

— Да интегралъ, — и видя, что землемѣръ снова откинулся назадъ, готовясь рявкнуть: борода... хозяинъ замахалъ руками: — Да тише ты, тише, чего обижаешься.

— Старикъ, — бормоталъ гость. — Пойми «Его» нѣтъ. Это въ умѣ. Сжегъ книгу и нѣтъ! Это абстракція.

— А сколько онъ стоитъ? — едва слышно, умоляюще процѣдилъ старикъ.

— Ничего не стоитъ. Стыдно, отецъ, стыдно даже спрашивать. На, выпей. Уха знатная.

Тутъ вмѣшалась старуха. Она все время молча, встревоженно кружила, жалостливо слѣдя за смятеніемъ мужа. Не вынеся его позора, она ринулась впередъ, какъ квочка на защиту птенцовъ:

— Пошелъ, будетъ ужъ. На, выпей еще на дорогу и ступай. Нечего, — и вытолкала землемѣра. — Развѣ можно у него спрашивать? — старалась она ободрить мужа. — Кто онъ? Пьяница, воръ, забулдыга, скоморохъ; да еще чего и языкъ не повернется сказать! Тьфу, — все усовѣщала она.

Но старикъ молчалъ. Молчалъ. Ужъ лучше бы онъ посуду билъ или стегалъ ее арапникомъ, какъ въ молодости. А то: внутри кипитъ, рвется, зыбится, а наружу: совсѣмъ ровенъ человѣкъ. Только пожелтѣлъ немного. Предчувствовало ея сердце недоброе, вѣдало! Вскорѣ, дѣйствительно, онъ занемогъ и отдалъ Богу душу. Параличъ разбилъ. Вечеромъ, когда уже всюду было темно, онъ, заикаясь, прошепталъ ей ни къ селу, ни къ городу:

— Дрянь у насъ дѣтки, старуха! Дрянь! Держись Михайлы. — Съ тѣмъ и умеръ.

Старшій сынъ, Михаилъ, былъ какъ разъ въ отъѣздѣ. Старуха временно осталась самостоятельной. Она рѣшила воспользоваться своей свободой, впрочемъ, вѣроятно, не безъ тайнаго участья разныхъ скитницъ, странницъ, юродивыхъ. Проплакавъ и промолившись всю ночь, она на разсвѣтѣ пришла на свое обычное мѣсто въ трактиръ. Но повела себя странно: не наполняла опорожненныхъ бутылокъ, не сортировала размѣнную монету; не вытирала стаканы. Медленно, методически, она начала сносить бутылки въ одинъ уголъ, нагромождать ящики, подкатывать боченки съ пивомъ. Затѣмъ стала выливать ихъ содержимое въ сточную раковину.

Кто-то стучался у входа. Проѣзжіе люди желали разогнать ночную озяблость шкаликомъ. Старуха не открывала.

— Водку. Водочки ,— кричали со двора.

— Нѣту водки, не будетъ! — отвѣчалъ молодой бабій голосъ.

— Гдѣ кабатчица? — гудѣлъ народъ.

— Умерла. Умерла кабатчица, — отвѣчалъ имъ радостный незнакомый голосъ.

Что за притча? Скоро, припавъ къ стекламъ, проѣзжіе разсмотрѣли бодрую старушку, раскраснѣвшуюся, оживленную, съ тихимъ смѣшкомъ льющую дорогое зелье въ черную трубу. Рѣшили, что она спятила съ ума. Впрочемъ, этимъ не долго занимались. Кто-то началъ копать землю: искать стокъ. Нашли. Разбили трубу. Не хватало посуды. Чайники, ведра, шапки... все пошло въ дѣло. Подставляли и просто руку горстью, ловя бьющуюся грязнымъ фонтаномъ струю дорогой смѣси, — отъ одной капли которой снѣгъ шипѣлъ, растворяясь, какъ въ кипяткѣ. Пили.

И торопливо отъѣзжали:

— Кто его знаетъ? Подальше отъ грѣха. Кто его знаетъ?

Впрочемъ, скоро старухѣ надоѣло все. Заскучала. Осунулась. Казалось бы, радоваться ей, или во всякомъ случаѣ скоро утѣшиться, примириться съ потерей мужа: ничего кромѣ оскорбительнаго молчанья, а иногда и побоевъ она отъ него не удостаивалась. — Долгая, долгая жизнь въ медвѣжьемъ углу, гдѣ зимой снѣгъ доходитъ подъ самыя крыши, толстой бѣлогрудой скатертью обнимаетъ городъ; а за околицу выглянешь... и не радъ! Мертвыми строеньями, замершими чудовищами, разбѣжались кругомъ сугробы — овраги; курганы вздымаются средь зыбкой снѣжной ряби, какъ остовы кораблей въ открытомъ морѣ, а столбы верстовые тщетно кутаются какъ бы въ цвѣтные шарфы своей спиральной окраски.

И мужъ, — жестокая ноша, которую она, малень-

кая, сухая, всю жизнь съ любовью таскала на себѣ, — оказался единственнымъ смысломъ ея на землѣ. Она не знала, куда себя приткнуть. Въ ненастный день, убирая могилу старика, она простудилась. Скончалась отъ воспаленія легкихъ; вздохнула — какъ бы съ облегченіемъ — и застыла.

Къ тому времени прибылъ Михаилъ Евграфовичъ. Въ сущности, робкій, не пыткій, звѣздъ съ неба не хватающій, онъ, однако, если не увеличить, то во всякомъ случаѣ былъ способенъ удержать состояніе на томъ же уровнѣ.

Съ братомъ Алексѣемъ у него были сложныя отношенія: онъ всячески поддерживалъ его предъ отцомъ, считая для себя выгоднѣе самому руководить дѣлами. Алексѣй принималъ какъ должное его поддакиванья. Каждый изъ нихъ считалъ другого дуракомъ.

Михаилъ меньше всего могъ желать свидѣться съ братцемъ до того, пока онъ не войдетъ въ нѣкоторыя детали наслѣдства. Но извѣстить о смерти матери почиталъ своимъ долгомъ. Онъ съ честью вышелъ изъ затрудненія, отправивъ, какъ у нихъ было принято, загадочную телеграмму.

Алексѣй въ этотъ день какъ разъ занималъ гостью: барышню изъ вновь открытой модной кондитерской. Она сидѣла у него на колѣняхъ и забавлялась игрой: онъ долженъ былъ съ закрытыми глазами поцѣловать ее прямо въ губы, за каждую неудачу онъ дарилъ имперіалъ.

За этой игрой и застала его телеграмма изъ дому. «Папаша померъ, теперь братецъ будетъ досаждать» — подумалъ онъ разсѣянно. Барышня распечатала депешу; прочла вслухъ:

— «Пали съ плечъ подвижника вериги и подвижникъ мертвый палъ». Что? что такое? — зашмыгала она носомъ.

— Братъ любитъ задавать шарады; игра у насъ

такая, — небрежно пояснилъ Алексѣй. — Послѣ най ду рѣшенье. — Онъ бросилъ телеграмму въ корзину.

Такимъ образомъ, о смерти матери — которую одну, кажется, любилъ — онъ узналъ недѣль пять спустя, когда въ Москву пріѣхалъ ихъ приказчикъ: троюродный братецъ, выросшій вмѣстѣ съ ними и ставшій козломъ отпущенія для всего дома. Онъ привезъ письмо отъ Михаила, въ которомъ, между прочимъ, была фраза, что пора, пора угомониться... и стояло нѣсколько точекъ, тщательно подчеркнутыхъ.

— Грубіянъ, — сказалъ Алексѣй.

Михаилъ Евграфовичъ былъ прилежный человѣкъ, дюжинный, веселаго нрава и не безъ смекалки. Впрочемъ, онъ былъ глупъ, но какой-то особой, нарочитой глупостью, которой онъ даже былъ радъ, такъ какъ она явно приносила ему выгоду.

Унаслѣдовавъ отъ отца нѣсколько заводовъ на полномъ ходу: свѣчные, спичечные, бумажные, скорняжные, сахарные, выбойчатые... онъ безропотно пошелъ избитымъ людскимъ большакомъ, одинаково почти страшась какъ бѣды, такъ и большихъ удачъ. Женился, обзавелся дѣтьми, тещей, родней. Жену свою — Людмилу Сильвестровну — онъ вывезъ изъ Кубани, гдѣ бывалъ по дѣламъ. Супруга его оказалась сущимъ кладомъ; умѣло вела домъ, рожала дѣтей, помогала мужу. Медлительная, разсудительная, спокойная красавица, она больше всего уважала — почти до поклоненія — свою мать. Сѣдая, крѣпкая, ядренная казачка, та, еще 60-лѣтней старухой, могла нравиться. Умная, властолюбивая, дочь простого станичника, она вышла замужъ за безгласнаго, мелкаго чиновника, который, однако, свои обязанности исполнялъ добросовѣстно. Дѣти рожались часто; крѣпкія, здоровыя — всѣ въ мать: съ бѣлыми тѣлами, тугими грудями, широкими бедрами, совсѣмъ — дѣтородильныя машины. Не засиживались въ дѣвкахъ. По очереди выходили за добрыхъ, хотя и не далекихъ людей. Бракъ же средней, Людмилы Сильвестровны, былъ

словно выигрышемъ въ лотерею. Большимъ! Принесшимъ самое лучшее: спокойную увѣренность. Старуха облегченно вздохнула. Она принадлежала къ той серіи людей, что наибольшимъ безчинствомъ почитаютъ безъ-чинство. Весь ея духовный опытъ, который она вынесла изъ жизни, исчерпывался слѣдующей фразой, которой она любила угощать слушателя: «бей въ морду и кричи — караулъ!» Старухѣ предоставили желанный комфортъ.

Пошли внуки, дѣвки. Правда, что-то новое проявлялось въ нихъ, но главное: то-же. Тѣ-же бедра, тяжелыя груди, упругія тѣла. Онѣ ходили еще чуть ли не въ распашенкахъ, а мужская половина уже засматривалась пристальнымъ взоромъ. Полушутя, полусерьезно, старуха — Прасковья Филимоновна — любила хвастнуть этимъ.

— Когда послѣднюю свою дѣвку выдамъ замужъ, — говорила она, — мужчины не перестанутъ стучать въ окна, крича: дай еще!

Нюхъ Михаилу Евграфовичу достался тоже дѣдовскій. Въ 1915 году онъ какъ-то засуетился. «Пованиваетъ рассеюшка, пованиваетъ»... повторялъ онъ и затѣялъ какія-то сложныя тонкія операціи. Во время, во время успѣлъ онъ ликвидировать все: когда еще только начинали дѣльцы входить въ азартъ, лопатами сгребая царскія бумажки, лавой разлившіяся по прободенной странѣ (такъ всегда, — потоку крови сопутствуетъ струя золота).

— Ишь, Тихоуховы разбогатѣли-то, батюшки! — язвила старуха.

— Пускай богатѣютъ, — парировалъ зять. — Нынче всякій дуракъ богатѣетъ. Вотъ удержать собранное будетъ потяжеле.

Коротко говоря, онъ успѣлъ перевести деньги за границу. И не какъ нибудь! А съ толкомъ, съ комбинаціей; съ тонкимъ разсчетомъ, что, ежели въ одномъ мѣстѣ не возвратятъ, то хватитъ и со второго, а если и во второй странѣ надуютъ, то и третьей доста-

точно. Американскіе, японскіе, швейцарскіе, австралійскіе и французскіе банки пріобрѣли въ немъ вкладчика.

Въ ту пору какъ разъ погибъ братъ Алексѣй. Довольно оригинальнымъ образомъ: кончилъ самоубійствомъ во время представленія въ кинематографѣ. И хотя владѣлецъ театра рѣшилъ использовать этотъ случай для рекламированія своей картины, но присутствовавшій тоже на сеансѣ знакомый Алексѣя передавалъ, что тотъ непрестанно зѣвалъ, разглядывая розовое тѣло американской дивы. Какъ бы тамъ ни было, его похоронили. Сестра же уже давно вышла замужъ и уѣхала далеко въ глушь Туркестана.

— Смердитъ рассеюшка, смердитъ... — сказалъ Михаилъ Евграфовичъ въ 1917; и началъ паковаться.

При первомъ рокотѣ демобилизованныхъ эшалоновъ, когда заполыхали окрестныя помѣстья; когда крестьяне, добрые знакомые, пили его водку, цѣловались и клялись въ вѣчной пріязни, — Михаилъ Евграфовичъ снялся съ якоря и поплылъ вмѣстѣ съ женой, дѣтьми, тещей, близкой и дальней родней, какъ новый Авраамъ, искать иныя пажити. Пылали хутора и юродивая нищенка бросала, жалобно улыбаясь, оранжерейные цвѣты, старинную парчу, мягкія кружева, — въ злобно пляшущій огонь.

Такъ счастливо выбрался Михаилъ Евграфовичъ на западъ.

Тутъ они зажили чинно, хорошо, постепенно забирая и въ ширь и въ глубь: устраиваясь на новомъ станѣ. Впрочемъ, жили скромно; особенно вначалѣ, пока выясняли, въ какихъ странахъ спокойно, а въ какихъ банки не платятъ. Но сравнительно съ позже прибитыми эмигрантскими валами, — жили они шикарно. И постепенно стали нѣкіимъ центромъ, — чѣмъ то въ родѣ клуба, — куда сходились и старъ и младъ пожаловаться рачительнымъ хозяевамъ на лютую

судьбу, слушать мирное тиканье часовъ, подкрѣпиться пирогомъ, а иногда и стрѣльнуть деньжатъ.

Въ тотъ день гнѣздо Прониныхъ праздновало имянины наслѣдницы, — Тамары Михайловны. Торжество, однако, было отравлено; день начался не безъ непріятностей.

Успѣхъ младшей дочки Прасковьи Филимоновны, Олимпіады, превзошелъ всѣ предсказанія матери. Отъ юныхъ лѣтъ за ней слѣдовали косяки влюбленныхъ. Сперва молокососы, затѣмъ — люди важные, денежные... начали болтаться по комнатамъ. Но вышла она замужъ за скромнаго поручика военнаго производства.

— Плохая она жена? — козломъ наступала старуха на угрюмо насупившагося поручика.

Женой она не была дурной. Домъ вела какъ ее учила мать; ребенка родила къ сроку. Однимъ словомъ, все было, по мнѣнію Прасковьи Филимоновны, какъ нельзя лучше. Но мира не было. Наоборотъ, положеніе все ухудшалось, поручикъ началъ ее избивать: онъ ревновалъ ее къ прошлому.

Съ самаго утра началось стереотипное:

— Не твой ребенокъ? Не твой ребенокъ? — торжествующее спрашивала старуха.

— Ребенокъ-то, кажется, мой, — угрюмо отвѣчалъ поручикъ.

— Онъ не имѣетъ права! Я ему все сказала до свадьбы! — кричала Олимпіада Сильвестровна, вся въ слезахъ. — Я ничего не утаила.

— Нѣтъ. Не все! — возвѣщалъ поручикъ. Приподнявшись во весь ростъ, онъ стучалъ кулакомъ по буфету такъ, что вся мебель — диванъ, комодъ, столъ — подпрыгивала, скрипя и дребезжа. — Нѣтъ, не все, — повторялъ онъ .

Лицо его, обычно блѣдное, становилось синимъ, шея вздувалась подъ тѣсно обхватывающимъ воротникомъ такъ, что появлялась бѣлая полоса — кругъ; прыщи становились махровыми, зеркальными — его

лицо походило на печную рѣшетку, гдѣ блестятъ еще искры среди стынущей золы.

Старуха отбѣгала подальше, испуганно отругиваясь; въ глубинѣ души испытывая, однако, какую-то радость: всѣмъ видомъ своимъ онъ ей въ эти минуты импонировалъ.

— Представителенъ! — мелькало у нея.

Въ домѣ Прониныхъ очень любили представительныхъ. Впрочемъ, понимали это слово тамъ очень широко, по разному; всякъ на свой манеръ. Самый неожиданный смыслъ вкладывался подчасъ въ это понятіе. Деньги, красота, чины, слава, обжорство — входили въ это представленіе. За удачно исполненный романсъ человѣка награждали этимъ эпитетомъ. Общимъ идеаломъ считался мужчина дородный, пусть не молодой, но здоровый, съ мясистымъ яркимъ лицомъ и зычнымъ голосомъ. Представительный.

— Представителенъ! — шептала старуха, испуганно прокладывая себѣ путь къ выходу. — Межъ мужемъ и женой не становись.

— Не становись, — понимающе кивала Людмила Сильвестровна.

Сама Олимпіада была, очевидно, иного мнѣнія: скоро доносился ея крикъ о помощи.

Съ поручикомъ она познакомилась еще въ Россіи. Его полкъ, отправляясь на фронтъ, квартировалъ нѣсколько дней въ ихъ уѣздѣ. Вскорѣ разстались. Но впечатлѣніе осталось яркое. Стройный, блѣдный, съ прекрасными манерами, щедрый — представительный! — онъ ее плѣнилъ. Съ тѣхъ поръ было кое-что. Да, было. Боже мой единый, человѣкъ вѣдь не мощи! Но все таки: она его любила всегда. Поручикъ пріѣхалъ нѣсколько лѣтъ спустя; не безъ труда, мытарствъ, риска. Обвѣнчались. У нея начинался какъ разъ наивный романъ съ журналистомъ Николенькой. Невинное. Но она это выбросила вонъ. Онъ былъ въ сто разъ лучше и великодушнѣе пору-

чика, а она послѣднему отдала предпочтеніе. Глупое человѣческое сердце.

По случаю дня рожденія Тамары журналистъ Николенька и еще нѣсколько молодыхъ людей, веселыхъ и шумныхъ тунеядцевъ, прискакали откуда-то изъ провинціи погостить. Понавезли подарковъ, адресовъ, записочекъ. Всѣ они имѣли какое-то отношеніе къ женской половинѣ Прониныхъ. И загорѣлись страсти.

— У всѣхъ рыльца въ пуху, — довольно посмѣивался Михаилъ Евграфовичъ: за свою Людмилу Сильвестровну онъ былъ спокоенъ. —У всѣхъ?... — (супруга кивала головой быстро и озабоченно).

Съ наѣздомъ этого табуна — преданнѣйшихъ, впрочемъ, друзей — весь домъ оживился, какъ переполошенный муравейникъ. Женщины были въ паникѣ, боялись собственной тѣни; мужчины не отставали отъ своихъ женъ ни на шагъ, топчась какъ бычки. Обстановка становилась грозной; въ воздухѣ пахло скандаломъ; отъ любой искры могло вспыхнуть это перегруженное жаркими пуховиками гнѣздо. (Впрочемъ, попойка обычно разряжала атмосферу, какъ два кондуктора — лейденскую банку).

Положеніе Олимпіады въ этотъ день было жалкое. Ребенокъ съ утра былъ отданъ бабкѣ. Поручикъ со сжатыми кулаками не отходилъ отъ окна, сумрачно слѣдя за слоняющимися по двору мужчинами во главѣ съ Николенькой.

— Селезни. Кобели, — изрыгалъ онъ.

Потомъ приближался вплотную къ Олимпіадѣ, — лаской и таской стараясь выудить желанное, горькое признаніе.

— Разведись! — усталымъ шопотомъ (стыдясь гостей) молила она. — Если ты не можешь: разведемся!

— А ребенокъ?

Переговоры упирались въ тупикъ; дитя они лю-

били ожесточенно, даже безпредѣльно. Вскорѣ раздавался, силящійся быть не слышнымъ, крикъ.

Когда стонъ донесся вторично за этотъ день, мужчины постановили вмѣшаться. Скопомъ.

Они ринулись въ бой; у Николеньки хватило такта стать во главѣ этой экспедиціи.

Поручикъ рѣшительно, даже радостно, досталъ свою саблю; приказавъ женѣ отойти въ спальню, онъ заперъ входъ. Первая дверь быстро уступила ихъ натиску; онъ забаррикадировалъ спальню кроватью, и занялъ удобную позицію.

Увидя его засученные рукава, блестящую шашку и воинственное лицо, мужчины притихли. Михаилъ Евграфовичъ сунулся, было, но, получивъ клинкомъ плашмя по головѣ, отступилъ; послѣ маленькаго совѣщанія они шеренгой стали насѣдать, всячески ободряя другъ друга. Поручикъ вспрыгнулъ на постель и выставилъ клинокъ. Вооружившись палками, стульями, половыми щетками, нападающіе вошли въ ражъ, проявляя подлинную отвагу. Но онъ былъ страшенъ. Сверкая стальнымъ лезвіемъ, ровно дыша, зорко оглядываясь, поручикъ неуклонно оттѣснялъ ихъ къ порогу. Тутъ вдругъ журналистъ рѣшительно рванулся впередъ, фехтуя кресломъ: онъ желалъ принять бой. Нѣсколько минутъ они размахивали своимъ оружіемъ; окружающіе молча тѣснились; женщины вставали на цыпочки, заглядывая черезъ окна. Это было похоже на поединокъ. Внезапно поручикъ передалъ саблю женѣ и, отряхнувшись всѣмъ тѣломъ, такъ что окружающіе, какъ блохи посыпались во всѣ стороны, — прыгнулъ внизъ на Николеньку; взялъ его въ охапку и выбросилъ на крыльцо. Онъ былъ внушителенъ въ эту минуту. Жена его внимательно слѣдила за всѣми перипетіями, во время передала ему снова саблю, — всячески помогая ему. Старая Прасковья Филимоновна издали, съ дѣвочкой на рукахъ, твердила:

— Представительный, чортъ!

Какъ ни дико, но эта свалка внесла общее успокоеніе; расхолодила нѣсколько страсти, угомонила на время.

Пришедшіе черезъ часъ гости узрили: столъ накрытымъ къ чаю, заваленнымъ фруктами, пирогами, ликерами; женщинъ оголенными — ихъ чистыя, розовыя тѣла пахли мыломъ и спокойнымъ желаніемъ; мужчинъ въ сверкающемъ бѣльѣ, въ черныхъ костюмахъ, разбитными малыми.

Имянинница, 17-лѣтняя Тамара, собственноручно кормила на крыльцѣ стараго пса, мрачно и недовѣрчиво озиравшагося по сторонамъ.

— Старикъ! А глаза какъ у молодого ревнивца, — зашумѣлъ Шелеховъ, фатовато здороваясь. — Имянинницѣ выражаю свое сочувствіе и соболѣзнованіе.

— Мило. Нечего сказать.

— Какая у него опухоль! — замѣтила Наташа. — Болитъ? Ахъ бѣдный, бѣдный.

— У него, кажется, ракъ, — объяснила Тамара.

— Песъ. Псовина. Песикъ, поди сюда. Не бойся. Болитъ? Очень?

Глаза кобеля блестѣли загнаннымъ, озлобленнымъ, отшельническимъ, ненавидящимъ огнемъ. Онъ осторожно повернулся, изогнувшись всѣмъ тѣломъ, — прикрывая, охраняя, больное мѣсто, — и вползъ подъ темное крыльцо.

— Онъ не спитъ совсѣмъ, — сказала Тамара. — Бѣдный Неронъ.

— Безсонница?

— Да. И боится собакъ: онѣ на него нападаютъ. Однако, пойдемте въ домъ.

— Пожалуйте. Пожалуйте въ комнаты, — раздавался припѣвающій, слащавый голосъ Людмилы Сильвестровны.

— Жуткіе глаза, — замѣтилъ Шелеховъ, входя. — Наташенька.

— Совсѣмъ человѣческіе, — отозвалась та. — О чемъ онъ тамъ думаетъ по ночамъ, одинъ?

Въ домѣ было разгульно.

— «На землѣ весь родъ людской...» — бубнилъ Семенъ Викторовичъ. Рукава его были засучены, безъ пиджака, со съѣхавшимъ въ сторону галстукомъ: онъ только что приготовилъ на кухнѣ пикантный коричневый соусъ и былъ радъ.

Пронины были неисправимыми хлѣбосолами, ихъ горницы радушно вмѣщали многихъ, они встрѣчали приходящихъ какой - то особенной улыбкой: тутъ и простодушіе и сдержанность; въ то же время и искренное желаніе услужить и увѣренность, что ихъ, однако, не заставятъ отказать, — попросивъ сразу взаймы денегъ. Широкая, необъятная улыбка.

И какъ-то всегда такъ случалось, что почти ко всѣмъ гостямъ у нихъ было личное дѣльце! То мелкое, то крупное. Учителя: попросить о вниманіи къ сыну въ школѣ. Скрипача: аккомпанировать дочкѣ. Знающаго толкъ въ соусахъ: запречь на кухнѣ. Однимъ словомъ, каждый былъ полезенъ. Даже такихъ тунеядцевъ, которые испоконъ вѣковъ ничего не дѣлали, шатаясь всю жизнь праздными, и тѣхъ умудрялись Пронины заставить взяться за работу: стулья ли сносить, мебель передвинуть, хлѣбъ нарѣзать. Не то, чтобы приглашались только полезные люди, но каждому изъ пришедшихъ находилось занятіе.

— Люди разныхъ кастъ и странъ
Пляшутъ круги въ безконечномъ...
Тотъ кумиръ — тѣлецъ златой...

— пѣлъ лихо Семенъ Викторовичъ. Обычно раздражительный, болѣзненный, желчный, онъ сейчасъ отходилъ душой, предвкушая грядущія яства.

Бывшій лицеистъ, чиновникъ, онъ теперь состоялъ кинематографическимъ артистомъ, выступая безыменно въ русскихъ картинахъ съ гармошкой, въ высокихъ сапогахъ, грызя подсолнухъ. Больной, сла-

бый, разбитый въ молодости таинственнымъ страннымъ столбнякомъ, обладатель язвы желудка, Семенъ Викторовичъ умѣлъ молчать. Онъ всю жизнь свою какъ-то глухо промолчалъ. Это чрезвычайнаго рода молчаніе: нѣмъ человѣкъ, безгласенъ, но всѣ замѣчаютъ именно его тишину. Вотъ ужъ 20 лѣтъ онъ пребываетъ на специальной діэтѣ. Строжайшая. Это ему доставило большія познанія въ гастрономіи. Кухмистеръ! Его соусы славились во всей русской колоніи. И только у сковороды онъ преображался.

— «С-а-а-тан-а-а тамъ правитъ балъ...» — упивался Семенъ Викторовичъ. — Вотъ здѣсь не такъ. Вы плохо аккомпанируете.

— Извиняюсь, — сказалъ Граціанецъ, торопливо подбирая аккомпаниментъ.

Граціанецъ — армянинъ. Сынъ почетнаго дворянина, толковаго дѣльца, издателя «Губернскаго обозрѣнія», члена союза русскихъ людей... Онъ политики чуждался; кончилъ успѣшно юридическій факультетъ въ Харьковѣ, мнилъ себя мистическимъ анархистомъ и аккуратно получалъ ежемѣсячно отъ отца потные, много видавшіе, русскіе кредитные билеты. Затѣмъ числился на службѣ въ большомъ банкѣ, гдѣ просиживалъ первую часть дня; другую проводилъ въ ресторанѣ, первую часть ночи его можно было встрѣтить въ одномъ изъ кафэ - шантановъ. Вѣжливый, скромный, благожелательный, онъ раза два излѣчивался отъ триппера, всю жизнь тщетно промечталъ о женитьбѣ, «о большой, настоящей любви». За этимъ его и застала революція. Онъ даже былъ ей радъ. Мистическій анархизмъ его вознесъ немного по служебной лѣстницѣ. Но скоро выяснилось, что этимъ дѣло не обойдется. Близко били орудія и гарцующій всадникъ, съ прыгающей, подъ криво надвинутымъ козырькомъ, каштановой челкой — похожій на красивую молодку — кричалъ: — будетъ загребать жаръ чужими пальцами... А сѣдло его пьяно утюжилъ пулеметъ. Граціа-

нецъ былъ арестованъ. Его бросили ночью въ старый сарай; на полу были темныя, зловонныя лужи.

— По колѣно въ крови, — любилъ онъ вспоминать... На самомъ дѣлѣ то была конская моча. Его выпустили. Съ распростертыми объятiями онъ метнулся на югъ къ Деникину. Въ то время осуществлялось частичное спасенiе Россiи. Сущiй пустякъ: экспромптъ. Грацiанецъ былъ, къ сожалѣнiю, похожъ на еврея. Онъ вспомнилъ про батюшку, про его былыя связи. Кое-какъ — спасся; влился въ общую струю: кричащихъ бабъ, молчаливыхъ дѣтей, вшивыхъ мужчинъ, узловъ, пишущихъ машинъ и стонущихъ лошадей. Послѣднiй ободранный пароходъ — дефилируя предъ всѣмъ союзнымъ флотомъ — его выбросилъ какъ нѣкую соль земли туда, въ Европу.

Грацiанецъ не былъ дурнымъ человѣкомъ. Онъ былъ лучше другихъ. Все безсмысленное и даже преступное, что онъ вершилъ, происходило оттого, что люди, окружавшiе его, дѣлали еще хуже. Онъ былъ добрый, отзывчивый человѣкъ. По мягкости и уступчивости онъ стыдился лучшихъ своихъ качествъ. Грацiанецъ во всю свою жизнь не разминулся со знакомымъ, не предложивъ ему «десяточки взаймы», если предполагалъ, что она нужна (этотъ вопросъ, помимо его воли былъ первый, который предъ нимъ возникалъ при новомъ знакомствѣ).

Теперь Грацiанецъ служилъ на конфектной фабрикѣ, гдѣ онъ въ качествѣ помощника лаборанта мылъ бочки. Угрюмый, усталый, онъ однако въ субботу вечеромъ оживлялся, отходилъ, молодѣлъ; но воскресный вечеръ уже покрывалъ желтымъ потомъ, — унылымъ томленiемъ, — его лицо: отъ одного предчувствiя надвигающейся трудовой недѣли.

— Князь! — закричалъ ему радушно Шелеховъ.

Грацiанецъ протянулъ свою грубую руку, потомъ обезпокоился:

— Почему князь?

— По нѣкоторымъ причинамъ.

— По какимъ причинамъ?

— Здравствуйте. Добраго здоровья, — обходилъ Шелеховъ знакомыхъ.

Зная, что тотъ пристанетъ, какъ березовый листъ, по мнительности своей готовый подозрѣвать ни вѣсть что, — Шелеховъ отмахнулся:

— Я пошутилъ. Я пошутилъ. Разскажите-ка намъ, какъ вы исповѣдывались?

Граціанецъ неохотно поморщился, но согласился.

— Спрашиваетъ меня священникъ, вѣрю ли я въ Бога? Что сказать? Молчу. Онъ смотритъ на меня, я на него. Испугался даже: чего бы ему такъ впиваться въ меня, спроста ли?! Ушелъ я.

— Почему же вы ушли? — спрашиваетъ о. Паисій.

— Что же оставалось? Скажу: вѣрю — неправда это; сказать: не вѣрю — тоже не годится. Нечего было отвѣтить.

— Къ чему же вы говѣли, чудакъ этакій?

Граціанецъ этого объяснить не могъ, хотя это ему казалось не совсѣмъ безсмысленнымъ.

Паисій — растрига попъ, смѣнившій рясу на офицерскіе погоны, въ настоящее время механикъ мастерской разныхъ пряжекъ: къ корсетамъ, къ подтяжкамъ, къ поясамъ... — презрительно фыркнулъ.

— Граціанецъ, вѣроятно, вы Сатану исповѣдуете? — шутя предположилъ Шелеховъ. — Дьяволу литіи служите?

— Преждереченому послѣдствую! — прогудѣлъ разстрига.

Онъ былъ когда-то сельскимъ священникомъ; впрочемъ, истиннаго призванія не чувствовалъ къ этому! Однажды, въ его саду, на фруктовомъ деревѣ, нашли трупъ парня, убитаго револьверной пулей. Отецъ Паисій сознался: да, это онъ убилъ. Днемъ къ его оградѣ подкатила телѣга, выпрыгнула дама въ глубокомъ трауръ (лица не разглядѣлъ) и сообщила, что

готовится покушеніе: попа убить, постройки сжечь... всучила ему насильно въ руки заряженный револьверъ и скрылась. А ночью онъ слышитъ шумъ. Кто идетъ?.. Молчатъ. Только вѣтви трещатъ: какъ бы деревья валятъ. Кто его зналъ? Сторонка глухая: медвѣди по заборамъ лазятъ; олени по овсамъ ночуютъ. Ну, пальнулъ вверхъ. Анъ, крикъ! Кто его зналъ.

Разстрига пошелъ прапорщикомъ на фронтъ; отлично служилъ, заработалъ Георгій, благодаря былинной отвагѣ.

Между тѣмъ за столомъ становилось шумно. Докторъ Казаковичъ сообщилъ случай изъ практики. Поручикъ началъ спорить, придираться.

— Поздно вечеромъ, — разсказалъ докторъ, — къ нему явился взволнованный субъектъ и пригласилъ къ своей рожающей супругѣ. На вопросъ доктора, есть ли тамъ акушерка, человѣкъ отвѣтилъ: да, но врача онъ требуетъ по частному вопросу. Дѣло въ томъ, что акушерка внезапно освѣдомилась, сколькихъ дѣтей уже имѣла роженица. Онъ, пасторъ, недавно женился на скромной дѣвушкѣ, естественно, что они въ одинъ голосъ закричали: ни одного! Акушерка засуетилась, что-то такое поглядѣла еще разъ, потомъ выпрямилась и возмущенно завопила:

— Что вы мнѣ разсказываете небылицы! За дѣвочку принимаете! Мадамъ, вы уже рожали!..

Итакъ, пасторъ проситъ доктора сообщить, можно ли вообще узнать, рожала ли женщина; а если да, то отправиться съ нимъ на изслѣдованіе.

Все это пасторъ объяснялъ прерывающимся, мученическимъ голосомъ, взволнованно сжимая свой зонтикъ.

— Я его успокоилъ. Сказалъ, что въ этомъ не легко разобраться. Поспѣшно одѣлся... Поѣхали. Какъ только ступилъ къ нимъ, я первымъ дѣломъ покончилъ съ акушеркой. «Смывайтесь отсюда!», мигнулъ я этой дубинѣ стоеросовой. Она испарилась, какъ роса.

Пасторша оказалась лакомой брюнеткой. Однако, жалко было взглянуть на нее. Ея карiе влажные глаза слезились боязливо и молитвенно. Она слѣдила за каждымъ моимъ движенiемъ, какъ безгласное существо, какъ собака за палкой хозяина. Я, конечно, ободрилъ ее, пошутилъ, важно изслѣдовалъ. Я ее поддержалъ. «Разумѣется, вы рожаете впервые», — сказалъ я. Кровь хлынула къ ея щекамъ. Она была прекрасна въ эту минуту. Надо было видѣть тотъ взглядъ, которымъ она меня одарила. Благодарной грѣшницы. Признаться, мнѣ стало жаль пастора. Потомъ я принялъ толстаго, зрѣлаго карапуза, вѣсомъ въ пять килограммъ. И представьте: заплатили недурно. Пасторъ, а не сжадничалъ. Расчувствовался, должно быть.

— А вѣдь вы, а вѣдь вы совершили, такъ сказать, гадость, — заговорилъ скороговоркой поручикъ.

Женщины безпокойно переглянулись.

— Почему?

— Вы солгали. Пошлость. Вы соврали. Вы ввели въ заблужденiе человѣка. Отсрочили справедливый часъ, когда обманъ долженъ былъ обнаружиться. Злостный обманъ.

— Помилуйте! Профессiональная этика...

— «Этика», — оскорбительно поморщился поручикъ.

— Помилуйте, — продолжалъ врачъ. — Вѣдь я разстроилъ бы семью. Домашнiй уютъ. Убилъ бы ихъ счастье, благополучiе, ребенка, женщину?! Это все могло разрушиться?!

— По какому праву? По какому праву вы вмѣшались въ чужую судьбу? Ложь скажется все равно! И, наконецъ, должна же быть справедливость! Вы подвели человѣка; заставили любить развратницу; ласкать, быть можетъ, чужого ребенка!

— А иначе погибли бы ребенокъ и женщина...

— Но знать, знать правду онъ долженъ! Нельзя предавать истину. Вы завѣдомо лгали. Ну, сказали бы:

неизвѣстно, кажется... А то: категорически. Гдѣ вы берете смѣлость вмѣшаться, исказить логическое развитіе событій?

— Успокойтесь, — удивленно замѣтилъ гинекологъ. — Я не зналъ, что это васъ такъ взволнуетъ. Дѣло въ томъ, что мы строго связаны профессіональной этикой. Намъ просто угрожаетъ судебная отвѣтственность за выдачу тайнъ паціентовъ. И въ концѣ концовъ: въ чемъ трагедія? Какая разница, рожаетъ ли она впервые или вторично? Право, это просто самолюбіе самцовъ, которымъ должно поступиться въ такомъ положеніи. Это обязанность лѣкаря.

— Ну, знаете... — съ ненавистью процѣдилъ поручикъ. — Это уже вопросъ другой. Такъ сказать, индивидуальный. Лгать всегда преступно. Взять на свою душу. Это, это...

— Подлость? — промямлилъ врачъ.

— Пожалуй. И какъ гадко, что вы упоминаете объ этикѣ. Ахъ, эта профессіональная этика! Вы знаете, ради чего она придумана?

— Не знаю, — отвѣтилъ врачъ, боязливо отодвигаясь.

— Ради выгоды! Вотъ; ради выгоды! Вы спасаете ложью падшую женщину, чтобы она, или ея подруга, пошла къ вамъ и въ слѣдующій разъ; вы отговариваетесь профессіональной тайной, когда невѣста освѣдомляется, боленъ ли ея женихъ! Попробуйте забыть эту хваленую «мораль» и вы останетесь безъ паціентовъ!

— Принципіально... — попробовалъ вставить докторъ.

— Тѣмъ хуже! Очень подозрительно, когда принципы совпадаютъ съ выгодой; когда юродство приноситъ благосостояніе! Подвижники, обрастающіе достаткомъ; вы можете дисконтировать эти принципы въ любомъ банкѣ!.. Недавно одинъ милліонеръ, филантропъ и все что полагается, уѣзжая съ первоклас-

снаго курорта заявилъ, что онъ принципіально не даетъ чаевыхъ. Чортъ подери, онъ на этомъ заработалъ не малую толику. Выстроившейся въ шеренгу службѣ, чаявшей не малой поживы, — осталось только сжимать въ рукахъ фуражки съ галунами. Только желчь брызнула по сторонамъ; Ивановъ — бывшій тамъ при машинахъ, — совсѣмъ свихнулся, махнулъ на все рукой, закуралесилъ и очутился у насъ на кухонькѣ. Ивановъ! Пойдите сюда! — позвалъ поручикъ.

Въ дверяхъ показалась плѣшивая, худая голова съ мелкими, лисьими чертами.

— Ивановъ! Принципіально не далъ вамъ «король» на чай?

— Принципіально! — сдержанно подтвердилъ тотъ.

— Рекомендую: Ивановъ, офицеръ генеральнаго штаба. Нынче у насъ по хозяйственной части, — представилъ поручикъ.

— Ивановъ безъ занятія, — буркнулъ тотъ и стушевался.

Онъ не былъ офицеромъ генеральнаго штаба. Онъ не былъ даже вообще офицеромъ. Прошлое его, — пестрое и туманное. Но развѣ его вина, что хозяевамъ хочется имѣть въ поварахъ именно бывшихъ превосходительствъ. Спросъ рождаетъ предложенія: то гвардейскій капитанъ, то академикъ; у чужихъ: принцъ, графъ... Ивановъ нырялъ въ пойлахъ жизни не безъ конфузовъ.

— Ну, знаете... — возразилъ докторъ.

— А юристы! — не отставалъ поручикъ. — Такъ называемые святые защитники, выгораживающіе изъ всей прыти закоренѣлыхъ мерзавцевъ! За деньги!

— Ну, это уже слишкомъ! — почелъ долгомъ вмѣшаться журналистъ Николенька, только что вернувшійся изъ буфетной. — Неужели и защиту ограничить! Современная демократія...

— Не всѣ достойны защиты! — глухо отрубилъ

поручикъ. — Иногда защищать — подлость! Всѣхъ, всегда, въ любомъ направленіи быть готовымъ прикрывать...

— Они не всегда защищаютъ.

— Знаю: тѣхъ, кто можетъ заплатить, — спокойно отпарировалъ поручикъ. — Случилось быть въ судѣ... Малолѣтній рецидивистъ, уже осужденный, апеллировалъ въ высшую инстанцію; срывающимся голосомъ, маловнушающимъ довѣріе взглядомъ, онъ просилъ объ уменьшеніи кары. «Я больше не буду красть»... пообѣщалъ онъ. Стоящій рядомъ, старый полицейскій, съ пушистыми усами и добрымъ краснымъ лицомъ, только повелъ презрительно и знающе тяжелой шеей. Тогда всталъ адвокатъ — честное лицо, бородка народника — и произнесъ: поддерживаю просьбу подзащитнаго... и сѣлъ. А десять минутъ спустя, онъ потрясалъ руками, долго и ожесточенно приглашая судъ взглянуть на коренастаго подсудимаго и сказать, не похожъ ли онъ на распятаго разбойника, увѣровавшаго и спасеннаго?

— Вы подошли къ оси всѣхъ вопросовъ! — удалось вставить о. Жану.

Католическій священникъ, онъ родился въ Россіи, служилъ при какой-то миссіи, потомъ сталъ проповѣдникомъ у евангелистовъ - баптистовъ — развозя Христовы притчи по всѣмъ частямъ свѣта: отъ Китая до Огненной земли... Россію онъ любилъ, какъ всѣ, прикоснувшіеся къ ея родникамъ, искренней любовью; хотя, какъ всѣ иностранцы, считалъ ее въ сущности интересной, но безполезной частью свѣта; любилъ цитировать Розанова: «изгадили одну шестую часть суши». Однако, къ ея недостаткамъ онъ относился, пожалуй, наивно: что вотъ, дескать, послушать бы его и — разъ, два — все уладится. Онъ именовалъ себя другомъ русскихъ: и былъ имъ въ дѣйствительности. Помогалъ многимъ и многимъ эмигрантамъ; даже не всегда изъ фонда Миссіи — предназначен-

наго на обращеніе православныхъ, — а изъ своихъ, сложной гимнастикой собранныхъ, деньжонокъ.

— Христіанство удачно разрубаетъ всѣ эти узлы, — повторилъ о. Жанъ.

— Да. Католичество хоть умѣло быть безпощаднымъ, — криво поддакнулъ поручикъ. — Кстати, аббатъ, я замѣтилъ на оградѣ христіанскаго храма, тутъ поблизости, плакатъ, возвѣщавшій, что всякій наклеивающій объявленія на эти стѣны, будетъ караться судомъ. Не покажется ли это вамъ черезчуръ откровеннымъ?

— Это казенная церковь, не Христова.

Поручикъ безнадежно махнулъ рукой.

— Побѣда демократическаго строя на носу, — убѣждалъ Шелехова журналистъ. — Рабочая партія Англіи...

— Знаю, — повернулся къ нему поручикъ. — На стѣнахъ республиканскихъ, переполненныхъ тюремъ вы можете прочесть, тщательно выписанныя печатнымъ шрифтомъ, слова: свобода, равенство и братство...

— Чего же вы, однако, хотите? — возмущенно освѣдомился докторъ.

— Вѣроятно, правды, — сказалъ поручикъ.

— Правда, — растерялся докторъ. — Правда. Правда бываетъ разная.

— Правда въ полуправдѣ, — замѣтилъ тихо поручикъ.

— Вы... идеалистъ?! — негодующе и озабоченно говорилъ Казаковичъ, какъ бы ставя діагнозъ непріятной компликаціи больному, который его ослушался и вышелъ раньше позволеннаго срока: тутъ и злорадство и боязнь отвѣтственности и растерянность. — Вы идеалистъ?!

— Идеалисты бываютъ разные, — задумчиво объяснялъ ему поручикъ. — Идеалъ урлинга это мужчины съ влагалищемъ. Ахъ, эти идеалисты!

— Надо спокойнѣе относиться къ неизбѣжному. Сердечнѣе. По завѣту Христову...

— Вамъ не стыдно, аббатъ, что докторъ Казаковичъ говоритъ о Христѣ? — спросилъ вдругъ поручикъ.

— Вы слишкомъ требовательны въ мелочахъ, — не дослышалъ его докторъ. — Согласенъ, въ будни человѣкъ смѣшонъ, преступенъ; но зато какъ величавъ, какъ святъ онъ въ великіе историческіе дни. Надо только побѣдить въ себѣ маленькаго негодяя.

— Чтобы стать большимъ мерзавцемъ?

— Вы неисправимы. Вѣдь жили: и Сократъ, и Галилей; Кантъ и Достоевскій.

— Я предпочитаю не быть геніемъ и не насиловать малолѣтнихъ дѣвочекъ.

— ?

— Вѣдь въ томъ то и страхъ, что чѣмъ крупнѣе человѣкъ, тѣмъ его непреодолимѣе тянетъ внизъ; чѣмъ умнѣе и талантливѣе — тѣмъ циничнѣе и нечистоплотнѣе.

Аббатъ: — Безъ Христа.

— Иначе не можетъ быть, — повторилъ, не слушая, поручикъ. — Умный человѣкъ, видя чужія драгоцѣнности, обязательно подумаетъ, что если взять ихъ, то онѣ станутъ его. Чужая жизнь, жена, святыня, душа? Онъ знаетъ, что по сравненію съ космическими вѣтрами это все мелочи. Самые вредные люди это талантливые; самые подлые — умные; человѣчество устало отъ зововъ; отъ геніальныхъ авантюръ. Исторія земли это отчетъ преступной дѣятельности двухъ - трехъ десятковъ героевъ. Я избѣгаю великихъ; я считаю своей гордостью: быть малымъ.

— Развѣ вамъ не кажется, что здѣсь, здѣсь... — сердито хлопалъ себя докторъ по лопаткамъ. — Здѣсь у человѣка мѣсто для крыльевъ?

— Нѣтъ. Думаю, что подъ этимъ мѣстомъ, при

неблагопріятномъ стеченіи обстоятельствъ, скопляются коховскія палочки.

Въ гостиной кто-то увѣренно взялъ нѣсколько аккордовъ. Видно было, что за піанино сѣлъ человѣкъ умѣющій, любящій и знающій, что онъ умѣетъ и любитъ играть. То начала концертировать младшая внучка Прасковьи Филимоновны, — Лариса.

Какъ ни странно, но Пронины любили музыку; знали въ ней толкъ, разбирались. Почти всѣ ихъ женщины играли; простоватыя, съ примитивными инстинктами, онѣ могли однако часами слушать значительныхъ композиторовъ. Въ этомъ сказывалась, вѣроятно, чувственная природа музыки, овладѣвающая человѣкомъ безъ участія его разума. Даже Михаилъ Евграфовичъ и тотъ любилъ засыпать, когда снизу доносился бетховенскій «Эгмонтъ». Лариса — племянница Людмилы Сильвестровны — обучалась успѣшно въ консерваторіи.

— Но она не кончитъ, — объясняла Прасковья Филимоновна громко. — Нѣтъ, Робертъ: ей не дадутъ, не дадутъ кончить. Закружатъ голову, увлекутъ замужъ... рожай и корми, — грустно и горделиво объясняла она.

Робертъ, — сынъ страннаго человѣка, богача Бозена, давно эмигрировавшаго изъ Россіи, исколесившаго круглую землю, женатаго на шведкѣ, родившейся въ царской Финляндіи, — Робертъ быстро согласился со старухой. Окинувъ внимательнымъ взглядомъ Ларису, — ея стройную фигурку, бѣлыя руки въ широкихъ, черныхъ, бархатныхъ рукавахъ на фонѣ костяной клавіатуры — онъ сказалъ:

— Да. Не дадутъ кончить, — и снова взглянулъ на нее. У него былъ молочно - розовый цвѣтъ толстыхъ щекъ. Онъ преждевременно пополнѣлъ. Такой цвѣтъ лица, ранняя лысина и дородность бываютъ обычно у людей любящихъ, — и очень много уничтожающихъ, — сладости.

Музыка запѣла гостямъ о неизбѣжномъ. — Стелятся поля. На нихъ пасутся табуны молодыхъ дѣвъ съ распущенными косами. Онѣ скачутъ, беззаботно рѣзвясь; удаляясь, шепчась съ подругами. Но вотъ появляется мужъ, прикрытый звѣринымъ мѣхомъ; дѣвушки грустно тянутся. Властною рукою онъ хватаетъ одну. Она бросаетъ подругъ, близкихъ, родную тропу и скрывается въ его логовищѣ.

— А красивая будетъ, — думаетъ Шелеховъ, глядя на молодое, вдохновенное лицо Ларисы; на ея густыя длинныя косы и упрямый лобикъ. — Только губы. Да, губы — пронинскія.

Рядомъ усаживается имянинница — Тамара: онѣ будутъ играть въ четыре руки. У нея красныя губы, большія, набухшія, алчныя, ненасытныя. Тазъ широкій, крѣпкій, какъ кровъ, какъ гнѣздо.

Какъ-то у нея вырвалось въ разговорѣ съ Шелеховымъ:

— Жизнь должна быть извивистая и розовая, — сказала она и облизнула губы. — Извивистая и розовая... — глаза ея сверкнули желтымъ свѣтомъ ночныхъ притоновъ.

Дѣвушки играютъ — —

Людскія надежды. Людская жизнь. Пѣснь планеты; свистящая жалоба земли — атмосферѣ. Молитва человѣка, упрямо стегающаго кнутомъ колесницу земли. Онъ стоитъ, выпрямившись во весь ростъ, и, круто натянувъ вожжи, правитъ на солнце. Онъ поетъ. Въ послѣдній часъ передъ тѣмъ, какъ сгорѣть, онъ поетъ:

Эго, я есть; эго, я былъ. . .
Я сынъ солнца и кобылы . . .
Я не жалѣю, что родился; какъ не жалѣлъ бы,
если бъ не родился.
Я не жалѣю, что живу, какъ не жалѣлъ бы, если бъ
не жилъ.
Я не жалѣю, что умру, какъ не жалѣлъ бы, если бъ
не умеръ.

Я сынъ солнца и кобылы.
Эго, я есть; эго, я былъ . . .

Человѣкъ поетъ, жестоко натянувъ поводья. Земля жалобно плачется сферамъ. Какъ имя, какъ заклинаніе повторяетъ она звукъ:

— Я устала . . . Я устала . . . Я устала . . .

— Ха-ха-ха . . . Хи-хи-хи . . . хе-хе-хе . . . — смѣется человѣкъ. — Хэ-хэ-хэ . . . Хо-хо-хо . . . Ху-ху-ху — хохочетъ человѣкъ. Его тѣло въ огнѣ; лицо сіяетъ и голосъ спокоенъ, — онъ исчезаетъ въ пламени.

Уухъ. . . — со стономъ падаетъ земля.

Людмила Сильвестровна очень любитъ, если ея дочкѣ апплодируютъ. Просто можетъ вознегодовать. Пришлось похлопать въ ладоши.

Дѣвушки играли.

Парадъ. Проходятъ колонны. Подъ звуки торжественнаго, медлительнаго звона маршируютъ боги. Румяные, довольные, съ вѣнками на косматыхъ челахъ; стройныя богини, голыя нимфы; уродливые сатиры, жуткіе паниссы — важно шествуютъ сомкнутымъ строемъ. За ними идутъ люди. Все что жило, оттягощало, воздѣлывало планету; все что заботилось, украшало, навозило когда либо материки,—проходитъ подъ звуки томительно - стройнаго гимна. Дикіе звѣри, рыбы и птицы, змѣи и мошкара, — съ тихимъ шелестомъ, съ жалобнымъ воемъ скользятъ мимо. Люди — вначалѣ — грубые, волосатые, со шкурами и палицами; женщины съ отвисшими грудьми, — безобразные младенцы топырятъ ихъ спины,—они гонятъ впереди себя скотъ: барановъ, верблюдовъ, овецъ и воловъ... Какъ на кинематографической пленкѣ, ихъ смѣняютъ другія толпы: люди въ желѣзныхъ латахъ, на тяжелыхъ коняхъ, размахивающіе копьями; женщины привѣтствуютъ ихъ слабыми улыбками.

Печальныя тѣни то появляются, то исчезаютъ, то снова явственно обрисовываются, повѣствуя о своемъ рожденіи, жизни и смерти: первые разсыпаются въ

прахъ; изъ глины встаетъ новая плоть, знаменуя собой тщету и радости и горя.

— Если-бъ сложить ихъ тѣла, то выйдетъ масса, большая во много разъ земли, по вѣсу и объему, — подумалъ безпомощно Шелеховъ, подходя къ окну.

На высокомъ лѣтнемъ небѣ запестрились звѣзды. Онѣ были далеко. Но стоило только немного сожмурить глаза и ихъ серебряные длинные лучи трепетно припадали къ самымъ вѣкамъ.

На дворѣ возились, шумѣли собаки. Шелеховъ выглянулъ наружу.

Больной Неронъ, окруженный собаками, медленно продвигался къ забору, бокомъ неся свой нарывъ; онъ собирался перепрыгнуть низкую изгородь: тамъ, въ садикѣ, онъ будетъ въ безопасности. Вотъ онъ приподнялъ переднія лапы... подпрыгнулъ. Но старое тѣло не послушно; къ тому же онъ это дѣлаетъ все бокомъ: морду съ оскаленными клыками оставляя повернутой къ кругомъ сходящимся собакамъ.

Музыка торжественно и скорбно вторила.

Неронъ снова привсталъ на заднія лапы; изогнулся и мягко оттолкнулся вверхъ... Но онъ совершилъ непростительную ошибку: повернулъ морду отъ обступившихъ его псовъ. Жалкая, мелкая, слабая лайка, визгливо тявкнувъ, предательски вцѣпилась сзади. За ней ринулись остальные. Былъ слышенъ короткій щелкъ бѣлыхъ, ровныхъ зубовъ, цѣпко сомкнувшихся у вздувшейся опухоли. Неронъ закричалъ, отчаянно, старчески, безсильно: казалось, онъ завопилъ. Собаки свернулись въ клубокъ, катаясь по землѣ; было слышно только довольное урчанье, злой вой, обиженное повизгиванье. Поручикъ бросился на выручку. Его бѣлыя туфли мелькали въ сумеркахъ, какъ снѣжные комья, какъ голуби. Облизываясь, собаки неохотно разбѣжались, недовольно фыркая. У нихъ былъ такой видъ, словно онѣ исполнили давно откладываемый трудъ.

Быть можетъ, гдѣ нибудь далеко, въ снѣгахъ Аляски или Клондайка, эта гибель стараго пса — загрызеннаго молодыми — имѣла какой-то особый джэкъ - лондонскій смыслъ, даже очарованіе... Но здѣсь, во дворѣ мѣщанскаго дома, рядомъ съ садомъ, гдѣ клумбочки и цвѣточки, возлѣ мисокъ съ обильной и сытной пищей этотъ бой былъ безсмысленъ и гадокъ.

— Это убійство, — брезгливо пробормоталъ Шелеховъ.

Поручикъ сердито оттаскивалъ трупъ къ забору.

— Ужинать! Ужинать, господа! — раздался слащавый, радушный голосъ Людмилы Сильвестровны.

Напиваться чета Прониныхъ не дозволяла. Не полагалось. Но выпить — и не мало — не только можно, а и должно было!

— «Раздавить баночку!» — довольно приглашалъ Михаилъ Евграфовичъ.

— Вотъ она, мать наша отъ всѣхъ скорбей, — умиленно перекрестился растрига.

— Слезы россійскія.

Журналистъ Николенька произнесъ благополучный тостъ; поздравивъ отца-мать, имянинницу, онъ выразилъ надежду, что она имъ всѣмъ доставитъ много радости.

Пошли чокаться съ Тамарой, съ родителями.

— У-у, зеньки какъ пялитъ рожа безстыжая!.. — шипѣла изъ угла Марина. Людмила Сильвестровна безпокойно за ней слѣдила: Марина была душевнобольной; во время своихъ нежданно начинавшихся припадковъ она служила оселкомъ для испытанія терпѣнія Прониныхъ; въ нормальное время — роли мѣнялись. Такъ сохранялось справедливое равновѣсіе.

— По первой не закусываютъ,—сказалъ Паисій.

— Первая коломъ! — хоромъ воскликнула обученная имъ молодежь. И продолжала:

— Дербанемъ. — Дерябнемъ. — Долбанемъ.

— Вторая соколомъ! — скомандовалъ растрига.

— Царапнемъ,—рявкнулъ хоръ.—Ковырнемъ.— Куликнемъ.

Затѣмъ послѣдовали: мухи, пчелы, осы, комары и другая гнусь. (Прониным ъэто нравилось).

— О. Паисій! Вѣдь при вашихъ способностяхъ вы бы у большевиковъ большую карьеру сдѣлали! - - кричалъ Шелеховъ. — Зачѣмъ изъ Россіи то бѣжали?

— Тогда-же бѣ пополохъ золъ по всей земли, — крякнулъ тотъ съ готовностью. — И сами не вѣдяху и гдѣ хто бѣжитъ.

— А какъ вы бѣжали?

— И пойдохъ отъ богоспасаемаго града Кіева въ землю Волоскую завемо Маладатская земля; отсель до Угоръ и до Чеховъ, отъ Чеховъ до Нѣмцевъ, отъ Нѣмцевъ...

— Какъ же вы возвращаться-то будете? — торопилъ Шелеховъ. — Не упомнишь...

— А иттить намъ, братцы, дорога не ближняя, — печально согласился разстрига и сковырнулъ прѣсную слезу. — Борщъ! — восхищенно прервалъ онъ: — Не продуешь! Наваристый.

Семенъ Викторовичъ возбужденно заерзалъ на стулѣ: онъ цѣнилъ похвалу. Борщъ онъ стряпалъ густой, малороссійскій. Впрочемъ, онъ считалъ долгомъ джентльмена не подавать виду кто творецъ этихъ блюдъ; но всей фигурой своей проговаривался.

— Бога нѣтъ, но человѣкъ — пророкъ Его, — сцѣпился Изотовъ съ аббатомъ.

По призванью артистъ, по необходимости, монтеръ - безработный, Изотовъ тянулъ не легкую лямку. Его лицо, скуластое, изможденное, калмыцкое, — со старческими, иногда тускло, иногда пронизывающе сверкающими глазками, — всѣмъ видомъ своимъ твердило о томъ, что у него нѣтъ крова, нѣтъ пищи, нѣтъ близкихъ; грязная одежда, ветхая шляпа - колпачекъ подчеркивали его трогательную обездолен-

ность, сиротливость. Собственно, вѣдь всѣмъ тяжело жилось, но онъ былъ бѣднѣе, — а можетъ богаче — какими-то качествами, необходимыми — или наоборотъ: лишними — чтобы одолѣвать. Въ послѣднее время онъ повадился бывать у Прониныхъ, часто уединяясь съ Тамарой; споря, разсуждая. Разумѣется, такая женитьба была бы для него равнозначуща наслѣдству отъ австралійскаго дяди. Но не для того рожала Людмила Сильвестровна дочь; не для того выкормила, выходила, взрастила. Слабый, немолодой оборвышъ.

— Вы къ божественному прилагаете люцской аршинъ, — укорялъ аббатъ Жанъ. — Удочкой стараетесь словить кита. «Мои мысли не ваши мысли; Мои пути, не ваши пути», говоритъ Господь. Смиритесь. Отойдите сердцемъ, оттайте; не пытайте. а внимайте. Слушайте голосъ прекраснаго: природы, весны, вашей израненной, русской души... и вы ощутите Бога; благого, любящаго Отца; великаго зиждителя и цѣлителя... съ нами. въ насъ и надъ нами... нынѣ, присно и во вѣки.

— Слушалъ. Внималъ. Открывалъ не только душу, но и пупъ, — со сдержаннымъ негодованіемъ говорилъ Изотовъ. — Но нигдѣ. Никогда не находилъ Его: благого; Его: отца. А насчетъ мыслей и путей, такъ вѣдь это ловкая петля на нашъ мозгъ! Она предательски хватаетъ всякую пронзительную мысль за узду, возвращаетъ съ полъ-пути; закрываетъ пріоткрытую было щель; тушитъ зажженную величайшими потугами лучину; вершитъ дѣтской суетой всѣ героическія усилія шагнуть за нѣкій порогъ.

— И не надо шагать. Въ самоотрѣшеніи...

— Я это все знаю, — злобно перебилъ Изотовъ. — Поймите вы, слабый человѣкъ, что я всю свою жизнь валяюсь въ этихъ болотахъ; всѣ свои излучины засорилъ этой тиной; нѣтъ ни одной евангельской мысли, мною не взвѣшенной; ни одной тропы, не исхожен-

ной; ни одной комбинаціи, не предположенной мною! И я говорю: холодъ; стужа!

— Милый. Милый мой.

— Аббатъ Жанъ! Нѣтъ ни одной идеи, ни одного вашего замѣчанія, мнѣ не извѣстнаго! И поэтому мнѣ такъ горько съ вами спорить. За все время я отъ васъ не услышалъ ничего путнаго, ничего новаго! Послушайте! — кричалъ Изотовъ. — Я васъ вызываю на дуэль: цитируйте, толкуйте мѣста изъ священнаго Писанія, свидѣтельствующія о Господѣ - абсолютѣ, о Богѣ - любви и такъ далѣе... А я вамъ буду приводить... на основаніи тѣхъ же источниковъ доказывать противное. Поймите, вы, бѣдный человѣкъ... — страстно взывалъ Изотовъ. Людмила Сильвестровна раздраженно что-то выговаривала Тамарѣ. — Поймите же: возможно, возможно присутствіе Творца, но или Онъ не всемогущъ, или не милосердъ, объ одномъ изъ двухъ свидѣтельствуетъ міръ и Его завѣты! Впрочемъ, не надо дуэли! — ужасно спѣшилъ онъ. — Будемъ такъ говорить. И не бойтесь, и не бойтесь, отецъ Жанъ, углубляться; забудьте о «тщетѣ и скудости» людскихъ извилинъ! Я знаю текстъ, бьющій это хваленое смиреніе и слѣпую вѣру! Есть!

— Какой? — спросилъ аббатъ.

— Пророка Осія, глава шестая: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговѣдѣнья болѣе, нежели всесожженій»... Боговѣдѣнья! Боговѣдѣнья! — повторялъ Изотовъ смакуя.

— Это слѣдуетъ соотвѣтствующе понимать.

— Ахъ, примѣчанія?! Запамятовалъ! Вѣдь вы раздаете паствѣ евангелья съ комментаріями. Любопытныя я тамъ нашелъ объясненія!

— Вы забываете, что я методистъ и признаю только оба завѣта, — кротко замѣтилъ ему о. Жанъ.

— Итакъ, дальше: выкладывайте, аббатъ... Крою! — весело тормошилъ Изотовъ. — О. Паисій, помогите вашему собрату.

Разстрига въ это время лилъ ромъ въ свой кисель; онъ скороговоркой бросилъ:

— Отъ Бога не спасешься. Ни-ни. Никакъ не убѣжишь, — грустно раскачивался онъ надъ тарелкой.

— Для меня каждая строфа Евангелія полна посвященія, — осторожно и вдумчиво началъ о. Жанъ. — «Ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ, что Сына Своего Единороднаго отдалъ, дабы всякъ увѣровавшій въ Него не умеръ, а имѣлъ жизнь вѣчную»... что можетъ быть выше, преданнѣе, благостнѣе?

— Да, — медленно заговорилъ Изотовъ. — Да. Я знаю это мѣсто, — онъ нервно взъерошилъ рукой волосы, помялъ лобъ. — Однако... Не кажется ли вамъ, аббатъ, что въ такого сорта искупленіи есть что-то слишкомъ связывающее, обязывающее, низводящее человѣка! Да, это жертва: страшная, щедрая плата за гнусную природу падшей души. Вѣдь не Себя — и это много! — но Сына, то есть самое близкое, дорогое, возвелъ на эшафотъ. Вѣдь такія страданья во сто-кратъ сильнѣе личныхъ мукъ! Это страшно! Это даже слишкомъ дорого! Невѣроятно! Поймите: каково-то будетъ бѣдному человѣку, когда онъ предстанетъ, послѣ продолжительной гимнастики, предъ Его сіяющимъ челомъ у святого престола. Вѣдь неловко будетъ? Сознайтесь! Не знаю, какъ вы, но мнѣ будетъ неловко смотрѣть на это великолѣпіе, радужность и сознавать, что для меня... для меня, чиряваго, Ему пришлось пережить такія муки; такія лишенія; потери; страданья! Вѣдь одной этой мыслью человѣкъ будетъ задавленъ, устыженъ. Вамъ не кажется, что тактичнѣе было бы спасти насъ какъ-то мимоходомъ, незамѣтно; безъ помпы, жуткихъ сценъ; безъ нашего же преступленья? Вѣдь неловко въ глаза-то глядѣть! Срамно! Отъ одного стыда сгорѣть можно. А вѣдь отсюда всего одно па до ненависти. Одинъ пируэтъ. Равенства нѣтъ. Права даны: числятся «ако Бози»... а

внутренняго сознанья нѣтъ. Смердъ ты, котораго облагодѣтельствовали... А если поразмыслить, къ чему это все, нельзя ли было избѣжать, то совсѣмъ злость, злость беретъ. Подумайте: только что вдохнуть Свой духъ въ едва сформировавшагося изъ глины, перваго, человѣка — полуидіота — и уже дать ему возможность искуситься. Вѣдь возможно было иными дорогами толкнуть наше бытіе впередъ.

— Идея заключается въ свободѣ, — возразилъ аббатъ. — Богъ хочетъ, чтобы человѣкъ по своей, абсолютно не связанной, волѣ сошелся съ Нимъ; Богъ не хочетъ употреблять насилія, ибо такъ обращаются со слугами, а не съ дѣтьми. Это романъ! Свобода!

— Знаемъ. Во-первыхъ, хорошій отецъ не допускаетъ дѣтей играть съ пламенемъ; а затѣмъ, не кажется ли вамъ, дрожайшій, что всѣ евангельскіе «намеки» о людяхъ, не пріявшихъ Духа Святого и т. д., о радостной судьбѣ пшеницы въ гумнѣ и соломы, пылающей огнемъ неугасимымъ, и тому подобныхъ, многочисленныхъ пустячкахъ... не насилуетъ ли все это волю человѣка, таща его на путь спасенія? Свобода выбора была бы только тогда, если бы выбравшихъ — все равно что — ждали одинаковыя условія. Аббатъ, я не знаю болѣе преступной и позорной исторіи, чѣмъ слѣдующая: «Былъ человѣкъ въ землѣ Удъ имя ему Іовъ...» Господь выражался о немъ: «нѣтъ такого, какъ онъ, на землѣ — непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющійся отъ зла; доселѣ твердъ въ своей непорочности»... И вотъ изъ-за болѣзненнаго самолюбія, искушаемый рѣчами сатаны, дескать: Іовъ богатъ, у него верблюды и пастбища, пощупать бы его, тогда увидимъ, безкорыстна ли его праведность!.. Богъ насылаетъ на него всѣ египетскія казни. Отецъ? Любовь? Развѣ есть что-нибудь краснорѣчивѣе этихъ трехъ старцевъ, сидящихъ на землѣ, въ мрачной пещерѣ, кругомъ тлѣющаго верблюжьяго помета: Іова, — скребущаго че-

репками свое прокаженное тѣло, — и его друзей... Въ сумеркахъ падаютъ слова, какъ пощечины: «Въ жизни человѣкъ наемникъ... Какъ искры летятъ вверхъ, такъ человѣкъ созданъ страдать».

— Вмѣстѣ ихъ было четыре, — замѣтилъ аббатъ. — Іовъ и три пріятеля. Однако...

— Это неважно. Богъ — Любовь? А сейчасъ Богъ — всемогущій... Вы помните это мѣсто передъ потопомъ? — Изотовъ отчетливо и напыщенно процитировалъ: — «Раскаялся тогда Господь, что создалъ человѣка на землѣ и воскорбѣлъ въ сердцѣ Своемъ и сказалъ: истреблю съ лица земли все, что Я создалъ. Ибо Я раскаялся...» шестая глава Бытія. Развѣ можетъ абсолютъ чего либо не предвидѣть? Ошибиться? Раскаиваться? Ха-ха-ха! А потомъ Онъ заключаетъ Завѣтъ, но, боясь забыть, полагаетъ радугу Свою въ облакѣ, чтобы вмѣстѣ съ дождемъ она появлялась и напоминала Ему о завѣтѣ. И не будетъ больше потопа. Забывать? Знакъ? Дѣти такъ заучиваютъ урокъ: на лѣвой страницѣ снизу находится слово «гольфштремъ». Откажитесь отъ Ветхаго Завѣта! Разъ!

— Это все, все потомъ... Я хочу вамъ напомнить о Христѣ. Вонмите, — просилъ о. Жанъ. — Не словамъ, не дѣламъ, а только Его фигурѣ и вы обрѣтете покой, миръ. Однако...

— Спасенье основано на неморальномъ поступкѣ: на убійствѣ. Я не могу принять жертвеннаго тѣла Христа; не могу строить своей жизни вѣчной на Его скорби, крови. Принимая эту жертву, я косвенно прилагаю и свою руку къ грубымъ ударамъ римскихъ легіонеровъ: ихъ преступленіе пріобрѣтаетъ смыслъ; больше — необходимость! Подвигъ! Благодаря ихъ убійству я спасаюсь! Мнѣ дарятъ вѣчность цѣной цѣлаго ряда несоотвѣтствующихъ моимъ убѣжденіямъ проступковъ. Я не могу. Два!

— Вы сегодня, какъ всегда, противорѣчите утвержденіямъ, выдвигаемымъ вами давеча! — воскли-

нулъ аббатъ, приподымаясь. — Надо понять, что убивать можно только человѣка; животныхъ или Бога не убиваютъ. Милый Изотовъ: вы ближе ко спасенью, чѣмъ предполагаете. Мистеріи всѣхъ народовъ...

— Въ такомъ случаѣ, не было Голгоѳы. Не впадайте въ старинную ересь. Если не было человѣческихъ мукъ, то ничего не было.

— Что вы скажете о нашей бесѣдѣ? — пригласилъ Шелехова аббатъ, видимо желая прекратить споръ. — Что скажете, Романъ Константиновичъ?

— Грустно, — сказалъ Шелеховъ. — Весь конфликтъ между человѣчествомъ и Божествомъ заключается въ томъ, что Богъ создалъ человѣка для Себя: для славы, развлеченія, хвалы, обожанія; а человѣкъ призналъ Бога для себя: обезпечить свое благосостояніе, безсмертіе и т. д.. Вотъ въ этой взаимной эксплоатаціи, своеобразной классовой борьбѣ и заключается самое грустное и безысходное.

— Ну, ужъ это слишкомъ, — недовольно поморщился Изотовъ: себѣ онъ позволялъ всякія ереси, доходилъ порой даже до кощунственныхъ вольностей, тѣмъ болѣе смѣлыхъ, что сынъ вѣрующихъ родителей онъ былъ очень привязанъ къ православію, говѣлъ даже когда-то по два раза въ годъ: великимъ и успенскимъ постами... Но если кто-нибудь начиналъ на эту тему импровизировать, — даже только поддерживая высказанное имъ, — Изотовъ начиналъ гнѣваться, пыхтѣть, тутъ же мѣняя фронтъ, бросаясь защищать атакуемую цитадель, съ которой несмотря на всѣ разочарованія былъ онъ связанъ неразрывными узами; смертельной хваткой. — Это навѣтъ! — твердилъ онъ.

Къ счастью ужинъ кончился. Заскрипѣли, зашумѣли отодвигаемые стулья.

— Заходите, заходите ко мнѣ! — успѣлъ просительно бросить о. Жанъ Изотову и Шелехову. — Побесѣдуемъ.

Забренчали струны балалаекъ. Затренькали. Полная, статная Александра Сильвестровна (мать Ларисы) выплыла на середину; запѣла.

— «На заводѣ томъ Сеньку встрѣтила,
И какъ только услышу гудокъ...»

— Такъ, такъ, — кивала головой Прасковья Филимоновна.

— «Руки вымою и бѣгу къ нему,
По дорогѣ накину платокъ...»

— Да, да. Платокъ, — понимающе шептала старуха въ тактъ.

— «Такъ встрѣчалась съ нимъ кажду ноченьку...» — вся изгибалась Александра Сильвестровна.

— Кажду ноченьку!.. — не выдержала старая.

— «Гдѣ кирпичъ образуетъ проходъ.
Ахъ, за Сеньку я...»

— Да, да, за Сеньку я...

— «За кирпичики,
Полюбила я этотъ заводъ»...

— Полюбила я этотъ заводъ, — тихо вторила, какъ знакомую быль, Прасковья Филимоновна.

Затѣмъ «выплыла» къ кафельной печкѣ сама Прасковья Филимоновна; сѣдая, сложивъ сморщенныя, дряблыя руки на широкой груди, она затянула пѣснь.

Отяжелѣвшіе гости устало развалились. Неприбранный столъ, въ крошкахъ и пятнахъ; крики и споры, — начинали постепенно печалить, коробить... Наташа яркими словами рисовала Шелехову безцѣльность ея жизни. Онъ цѣловалъ ея руку. Въ одномъ углу хмѣльной Паисій въ слезахъ цитировалъ Симеона Полоцкаго:

— Всякъ человѣкъ въ мірѣ семъ есть борецъ или воинъ; ибо искушеніе или брань есть житіе человѣческое на земли: брань же съ плотію, съ міромъ, съ демономъ, — брань о отечествѣ небесномъ.

Усталость и грусть преображались въ злобу... Въ другомъ углу шофферъ Гиргъ — бывшій морской

офицеръ — сцѣпился, ругаясь, съ Граціанцемъ.

Послѣдній находилъ, что новая орфографія облегчила народу доступъ къ грамотности. Гиргъ страдальчески шипѣлъ:

— Никогда, дура!

По его словамъ, первымъ дѣломъ послѣ паденія большевиковъ займутся введеніемъ стараго правописанія.

— Шишъ! — говорилъ Граціанецъ, выставляя впередъ локоть. — А это видалъ?!

— «Стрѣла» черезъ ять, это совсѣмъ другое слово, — мечтательно восклицалъ Гиргъ. — Какое-то праздничное! Нарядное, какъ въ фатѣ! А «стрела»! Чушь! Плебейство! Пишетъ мнѣ братъ: «я оселъ въ Казани»... Что такое? Оказывается: осѣлъ! Каково! Сволочи!

— Конечно, батенька! Въ Россіи вамъ уже не хозяйничать! — саркастически подмигиваетъ Граціанецъ.

— Увидимъ, армянское чучело!

— А деникинское движеніе было безполезно!

— Что? — реветъ Гиргъ. — Единственно здоровый, честный выходъ для молодежи. Куда же было идти? Бѣжать, не пытаясь сопротивляться? Или дать себя разстрѣливать? Эта страница спасаетъ нашу честь предъ иностранцами.

— Значитъ, вы спасали свою честь?

— Россіи, бука!

— Ахъ, вотъ какъ! Вы спасали честь Россіи, но не Россію; продавая ее иностранцамъ, заливая братней кровью ея поля. Если это патріотизмъ, то избави насъ Богъ отъ такихъ радѣтелей! Вы больше пользы принесете нашей родинѣ, занимаясь фотографіей и пляской гопака! — Какъ извѣстно, Граціанецъ имѣлъ личные счеты съ добровольческими отрядами.

У стола, подперевъ руками животъ, Семенъ Викторовичъ грустно разсказывалъ стереотипными абзацами о болѣзни своего желудка:

— Сестра, говорю, дайте мнѣ вина, я умираю. Она отвѣчаетъ: вамъ вино запрещено давать... — Извините, я всегда подчиняюсь, но сейчасъ чувствую, что въ немъ мое спасеніе, такъ какъ я, сестра, начинаю холодѣть. Пощупала она меня: вѣрно, холодѣю. «Хорошо», говоритъ, «хоть не имѣю права, но такъ и быть, разъ вы просите, я васъ послушаюсь». Приноситъ, дѣйствительно, стклянку краснаго. Отпилъ я съ полъ рюмки и чувствую огонекъ такой въ животѣ, какъ бы печку растопили; еще подъ рюмки хлебнулъ: теплота этакая поползла, разлилась вверхъ, внизъ, да по жиламъ. Хорошо, — сладко улыбнулся Семенъ Викторовичъ, вскидывая очки. — Засыпаю. Утромъ врачъ на обходѣ замѣчаетъ вино: «Что такое?», — говоритъ. — «Въ чемъ дѣло? Кто позволилъ?» Извините, говорю, докторъ, сестра здѣсь не причемъ; это я настаивалъ, такъ какъ чувствовалъ себя очень худо. И сейчасъ, докторъ, я васъ попрошу мнѣ прописать немного вина. «Какъ?», — говоритъ, — «Что?» Подумалъ немного, потомъ заявляетъ: «Я знаю, что при вашей болѣзни вино — ядъ; но разъ вы настаиваете, я не прекословлю; медицина часто ошибается». Каждый день приписывалъ по сто граммъ. Если бы я не сообразилъ тогда, въ ту же ночь околѣлъ бы. Холодѣлъ. А въ другой разъ я чуть не доконалъ себя свѣжей колбасой... — медлительно повѣствовалъ Семенъ Викторовичъ.

Марина невнимательно его слушала, слѣдя завистливыми, горящими многими цвѣтами, — какъ хрусталь, — глазами за Тамарой.

— У-у, безстыжія зеньки, — шептала она, облизывая сухія губы.

Пристукивая каблуками, то присѣдая, то подпрыгивая, Прасковья Филимоновна заливалась слабымъ тоненькимъ фальцетомъ.

Старая, она пѣла о цвѣтахъ, о вдовьей страсти, о женской долѣ; о парняхъ, дожидающихся вечерами

у воротъ, о дѣвкахъ, впервые внимающихъ ихъ заговорамъ.

Было печально слушать ея дрожащій, срывающійся голосъ; зрѣть дряхлыя губы на сморщенномъ лицѣ, повѣствующія о любви, о черныхъ ночахъ, о весеннихъ травахъ, о дѣвушкахъ и молодцахъ, уходящихъ въ лѣсъ.

III

Домой Шелеховъ пріѣхалъ къ часу ночи.

Его сожитель и ученикъ — рабочій Павелъ — только что вернулся; другого сожителя, медика, еще не было. Въ комнатѣ хозяевъ, по обыкновенію, шумѣли.

Хозяева состояли изъ — умирающей вдовы, ея 50-тилѣтняго брата: холостяка и калѣки... третій былъ Жоржикъ, сынъ старухи.

Тамъ разыгривалась обычная сцена. Жоржъ требовалъ ѣсть: себѣ и мамѣ. Разбитый параличемъ, кривой дядя, маленькій, скрюченный, шамкалъ беззубымъ ртомъ, — шлепая губами какъ мокрыми тряпками — то пища, то визжа:

— Ѣли уже. Лопали.

Въ домѣ пахло дымомъ, сыростью, мокрыми грибками и еще какимъ-то особымъ запахомъ не то черной нужды, не то плѣсневѣющей въ углу, большими тюками сложенной, бумаги. На низкой желѣзной печуркѣ лежалъ черный тощій котъ, злобно желтѣя одинокимъ глазомъ. Его спина въ шрамахъ и полосахъ; лѣвый глазъ вытекъ; усы и мѣхъ вылѣзли. Весь его мрачный и ожесточенный видъ повѣствовалъ о невѣроятно тяжкой, безрадостной жизни, полной горестей, заботъ и униженій.

Вошедшаго Шелехова встрѣтилъ пискъ калѣки:

— Лопали уже! Лопали! — испуганно вращалъ онъ бѣлками.

Когда-то онъ былъ литераторомъ, редактировалъ

поволжскій листокъ. Теперь онъ по буднямъ продаетъ старыя газеты на развѣсъ; въ праздничные же дни устраивается на церковной паперти: шапка на землѣ, на груди дощечка — «помогите инвалиду великой войны»...

Внезапно на постели заворочалась старуха. На исполинскомъ глубокомъ ложѣ, въ кучѣ темныхъ подушекъ завозилось что-то. Приподнялось и, наконецъ, выглянуло ея равнодушное, одутловатое лицо съ пьяными, круглыми очами. Спокойно, толково, она сообщила Шелехову, что ее посѣтилъ дѣдушка Василій и долго бесѣдовалъ; а также бабка и другіе райскіе жители. По ея словамъ выходило, что въ небесахъ расчудесно и, главное, тихо; дѣдъ Василій очень праздниченъ; вотъ только одно: надо быть отпѣтой! Она умоляетъ Шелехова повліять на брата, чтобы ее, наконецъ, похоронили. Такъ лежать не годится. Всѣ люди мертвецовъ прячутъ. Чего-же ей такъ лежать? Отчего не желаютъ предать землѣ? — выражала она свое изумленіе коснѣющимъ языкомъ.

— Встрѣчали ли вы, Романъ Константиновичъ, трупы, которые бы съѣдали въ день по двѣ булки, по четыре яйца и полъ-литра молока? — ехидно спросилъ братъ. — Хи-хи-хи-хи, — залился онъ довольнымъ смѣшкомъ, язвительно кривя свой разодранный ротъ сладострастника и садиста: — Хи-хи-хи, — захлебывался онъ, торопливо ловя рукой брызжущія слюни. И вдругъ испуганно грохнулся на кровать.

Жоржикъ съ перекошеннымъ лицомъ, свирѣпо ринулся на него.

— Убью, — вопилъ разъяренный подростокъ.

— Щенокъ поганый! Прыщъ! — визжалъ литераторъ, задравъ волосатую ножку, обутую въ туфлю безъ чулка, другая ножка, парализованная, лежала недвижно. Онъ отбивался, трясся, дергался, хрипло и клекотно бранясь.

— Я тебя во снѣ задушу, — захлебывался онъ. — Соплякъ, помяни мое слово.

Кое какъ ихъ растащили.

— А рты у нихъ одинаковые, — задумчиво сказалъ Шелеховъ Павлу, прикрывая за собой дверь ихъ комнаты.

— У кого?

— У калѣки и Жоржика. Чайку бы испить.

— Дѣло.

— Ей Богу! Только керосина, кажется, скупо, — вспомнилъ Шелеховъ.

Попытали примусъ: пустой.

— Можетъ, достать?.. — нерѣшительно предложилъ Павелъ.

— Гдѣ, ночью-то?

— А тамъ... въ клозетѣ.

— Тогда я лучше схожу.

Павелъ оказывалъ ему часто денежныя услуги. Шелеховъ занимался съ нимъ по «политической экономіи», но кромѣ того старался, гдѣ могъ, услужить. Павелъ этого не любилъ, опасаясь, что за это придется лишній разъ предложить взаймы.

Шелеховъ выбѣжалъ.

Въ общей зловонной уборной, расположенной въ самомъ центрѣ стариннаго двора теплился огонекъ керосиновой лампы. Надо было изловчиться: украдкой перелить керосинъ въ бутылочку изъ этой высоко висящей свѣтильни.

Шелеховъ всталъ на мокрыя доски, вытянулся что было мочи и началъ осторожно отвинчивать машинку.

— Завтра куплю и отдамъ, — успокоилъ онъ себя. Онъ потушилъ лампу и торопливо наклонилъ. Въ это время раздался грубый, знакомый голосъ сторожа, — одинаковый во всѣхъ подворьяхъ всѣхъ странъ:

— Какого чорта тушатъ?!

Шелеховъ торопливо чиркнулъ спичкой и зажегъ фитиль.

Тяжелыми шагами застучалъ по каменному полу сторожъ. Долго мочился у стѣны: харкая, сплевывая, ругаясь и почесываясь. Потомъ зѣвнулъ и ушелъ.

Шелеховъ снова погасилъ свѣтъ; обжегся пальцами о горячее стекло, вывернулъ машинку. Забулькала пахучая нефть. Наполнилъ бутылочку; ввинтилъ и зажегъ.

— Надо будетъ обязательно отдать, Павелъ, — попросилъ Шелеховъ, тяжело переводя духъ. — Хватитъ ли только? Маловато что-то.

Влили керосинъ въ машинку; поставили воду.

— Какая разница между ленинизмомъ и марксизмомъ? — спросилъ озабоченно Павелъ.

— Что, будемъ сегодня заниматься?

— У меня завтра собраніе ячейки.

— Ленинизмъ это процентъ съ Капитала Маркса, — сказалъ Шелеховъ задумчиво.

— Ну?

— Что?

— Дальше.

— Дальше? Дальше это скучно, — взмолился Шелеховъ.

— Мнѣ надо знать, что такое діалектическій методъ.

— Діалектическій?

— Да. Какъ исторія развивалась.

— Это я могу, только не знаю, пригодится ли это тебѣ, — сознался Шелеховъ.

— Ничего, кати, — рѣшилъ Павелъ раздраженно.

Шелеховъ заговорилъ, вначалѣ небрежно и капризно, но постепенно все больше и больше увлекаясь.

— Нельзя придавать серьезное значеніе событіямъ. Люди невѣжественны и самоувѣренны. Исторія развертывается спиралью: серіей себѣ подобныхъ до мелочей круговъ съ уменьшающимся радіусомъ и потому преодолѣваемыхъ съ увеличивающейся скоро-

стью. Люди ломаются на подмосткахъ, торопливо мѣняя имена и костюмы къ поднятiю занавѣса. Они дергаются, ноютъ, спорятъ и сражаются по своему, но жизнь ими вырисовываетъ свои фразы, мало заботясь о томъ значенiи, которое можно придать отдѣльному слову, или отдѣльной буквѣ.

Въ дѣвственныя, суровыя горы углубляются переселенцы. Это, быть можетъ, просто бѣжавшiе изъ населенныхъ странъ преступники. На нихъ мѣшки съ кожанными ремнями, тяжелое оружiе и мокрая одежда. Своими руками они вывозятъ изъ канавъ увязшiе фургоны; извлекаютъ изъ овраговъ задыхающихся муловъ. Бьютъ громы. Сверкаютъ зарницы. Въ обрывахъ шипятъ гады, дожидаясь сорвавшейся жертвы; въ заросляхъ рыщутъ звѣри и кометами тлѣютъ ихъ гнѣвные глаза. Переселенцы робко жмутся другъ къ другу. Вотъ идетъ грубый пiонеръ. Его лицо загорѣло и сурово. Губы сжаты, ноздри хищно раздуваются. Одна рука небрежно обмотана окровавленной тканью. Вдругъ его конь шарахается въ ужасѣ: толстый удавъ свисаетъ надъ ихъ головами. Копыта коня выбиваютъ искры, скребя по твердому кремню; сѣдельный ремень лопнулъ; грузъ сбивается въ сторону и конь, потерявъ равновѣсiе, скользитъ въ бездну. Пiонеръ въ мгновенiе ока вонзаетъ въ исполинскiй кедръ свой топоръ; обматываетъ поводъ; оглядывается: помощи не будетъ. Конь барахтается, гребя ногами по крутой стѣнѣ. Осторожно, цѣпляясь всѣмъ тѣломъ за кусты и разсѣлины, пiонеръ спускается къ лошади; отвязываетъ дорогой мѣшокъ: тамъ порохъ, свинецъ, инструменты... Треплетъ коня по шеѣ. Ежеминутно рискуя сорваться, выползаетъ обратно съ мѣшкомъ; подходитъ къ дереву... выдергиваетъ топоръ; уходитъ, не оборачиваясь, въ догонку ему несется тихое, обрывающееся ржанiе.

Устало бредутъ переселенцы. Старики ропщутъ и бранятся: они не знали, что это такъ трудно. Уже луч-

ше вернуться. Что имъ до золота, если нѣтъ хлѣба! Или къ чему нефть безъ воды! Ихъ лица вспухли отъ укусовъ мошкары; раны ноютъ. «Отдохнемъ! Отдохнемъ здѣсь!» раздается ихъ кличъ. Они бросаются на землю, разнимаютъ свой скарбъ.

«Впередъ! —шепчетъ піонеръ. — Впередъ». Его лицо страшно и спокойно. Жизнь дается тѣмъ, кто не прочь умереть.

«Зачѣмъ? Зачѣмъ впередъ?» — съ ненавистью обступаютъ его колонисты.

Онъ не можетъ объяснить. Всѣмъ тѣломъ своимъ, всѣми связками онъ это знаетъ; каждая клѣтка его настойчиво твердитъ: впередъ! Быть можетъ, затѣмъ, чтобы слабые отстали. Онъ исчезаетъ въ заповѣдномъ бору, нѣкоторые слѣдуютъ за нимъ. Оставшіеся провожаютъ ихъ язвительной бранью, (они погибнутъ). Ушедшіе впередъ одолѣваютъ грозныя препятствія: переплыли стонущія рѣки; перешагнули горы.

Предъ ними страна залитая цвѣтами и солнцемъ. Богатые лѣса; тучныя нивы. Съ шумомъ спадаютъ воды. Впереди много труда. Надо выкорчевать лѣсъ; строить фермы; огородить частоколомъ сады отъ хищниковъ.

Съ карабинами и топорами они выползаютъ изъ шатровъ. Отъ зари до поздней ночи перекликаются ихъ тяжелые удары. Піонеръ работаетъ сметливѣе всѣхъ; онъ упрямъ и силенъ. Онъ пользуется заслуженнымъ авторитетомъ. Его примѣру слѣдуютъ всѣ.

Фермы построены, жены привезены, звенятъ бубенцы на шеяхъ козъ; беззаботно играетъ дѣтвора. Но, чу... Свистъ. Пронзительный и требовательный. Съ гикомъ налетаютъ враги, потрясая луками. Стучатъ затворы берданокъ. Поселенцы отстрѣливаются, женщины отважно припадаютъ къ амбразурамъ. Изнемогающіе, они сражаются до послѣдняго вздоха. Враги угоняютъ скотъ, поджигаютъ амбары и, бро-

сивъ проклятіе упрямцамъ, пропадаютъ за горизонтомъ. Колонисты выходятъ изъ укрѣпленія. Дома сгорѣли; скотъ пропалъ; много раненыхъ и убитыхъ. Причитаютъ бабы.

Но вдругъ раздается знакомый мужественный гласъ:

«Впередъ! За топоры!», — то кричитъ піонеръ. Въ его голосѣ чудятся нотки побѣды. Это человѣкъ, въ которомъ силы отъ удачи удваиваются, но отъ неудачи — утраиваются.

Поселенцы принимаются за работу; скрипятъ пилы; падаютъ стволы. Но нѣкоторые ропщутъ: они устали. Имъ обѣщали золотыя горы. Можетъ быть, но это слушкомъ трудно. Опять все сначала? А тамъ снова нападутъ хищники! Нѣтъ! Къ тому же у нихъ пропали всѣ орудія. Они хотятъ ѣсть.

«Хорошо! — говоритъ имъ піонеръ. — Хорошо!» — Его голосъ крѣпнетъ, спина выпрямляется. — «Я васъ буду кормить! Я васъ буду поить! Я дамъ вамъ кровъ у себя! Вамъ и вашимъ женамъ. А вы выходите со мной на мои поля; стройте мой домъ и заботьтесь о моемъ скотѣ. Я дамъ вамъ инструменты».

«Ладно!», — соглашаются тѣ. — «Только въ праздникъ мы будемъ отдыхать!»

На часахъ исторіи бьетъ колоколъ. — —

Они построили корабли; нашли пути къ морю; сплавляли лѣсъ; возвели мельницы и храмы.

Прошло триста лѣтъ. Переселенцы умерли. Ихъ дѣти продолжаютъ трудиться. Владѣнія Піонера увеличились. Они росли, какъ поганки послѣ дождя, цѣлыхъ двѣсти лѣтъ. Они такъ возросли, что уже не могло быть желанія ихъ еще умножать. Дѣти Піонера занялись науками, искусствами. Они выписывали ученыхъ для бесѣдъ; корабли заходили въ бухты, чтобы доставить имъ новое произведеніе поэта. Изъ ихъ среды вышли знаменитые философы,

епископы и зодчіе. Они уже не стяжательствовали, а когда богатство не растетъ, оно начинаетъ таять. Это очень досадно. Піонеры теперь именовались — графами. Средства изсякали, а тратить они должны были больше предковъ. Сыны всегда тратятъ больше отцовъ. Ихъ руки бѣлы; глаза близоруки; женщины блѣдны и смотрятъ съ любопытствомъ на простолюдиновъ. Каждый шагъ ихъ малыхъ туфелекъ отрѣзывалъ десятины пахотной земли; каждый прыжокъ скаковой лошади отсѣкалъ угодья. Заводы останавливались, — чѣмъ чаще трогались яхты въ увеселительныя прогулки; трубы переставали дымить, когда надъ крошечной трубкой появлялось облачко опіума; мастерскія переходили въ руки скупщиковъ и разночинцевъ. Можно было подумать, что тонконогіе, гладкіе бокалы опорожняли не бутылки Моэта, а сумрачные котлы чугуно и стало - литейныхъ заводовъ; эти нѣжныя, слегка накрашенныя губы пили раскаленный сплавъ, сосали малымъ ртомъ расплавленныя руды; крошили фіолетовыми ногтями желѣзныя трансмиссіи. Орѣховаго дерева треножный столикъ, на которомъ съ шелестомъ разлетались карты, не подогнулся подъ тяжестью тысячествольныхъ, пятиобхватныхъ лѣсовъ. Приходится подумать о плебейскихъ пошлостяхъ. Простое мужичье съ тупой смекалкой отказывается дать еще денегъ. Этотъ толстосумъ сказалъ, что скоро онъ приметъ въ приказчики одного изъ сіятельствъ.

«Съ меня вексель?» — кричитъ изумленный старый графъ. Онъ подымаетъ хлыстъ и яростно бьетъ по спинамъ. Онъ хватаетъ дорогой винчестеръ и стрѣляетъ вдогонку. Увы! Онъ попадаетъ въ проходившихъ мимо школьниковъ.

Толпа растетъ, угрожающе завывая; летятъ острые камни. Стражники неувѣренно уговариваютъ разойтись. Испуганный графъ освѣдомляется у нахлѣбниковъ, не показаться ли ему на террасѣ? Можетъ, эта милость ихъ удовлетворитъ? Но въ это время

графу доносятъ, что войска, высланныя губернаторомъ, приближаются.

«Что ни говорите, — замѣчаетъ графъ. — Губернаторъ, хоть изъ плебеевъ, но добра не забылъ».

Падаетъ дождь вмѣстѣ съ сажей. Всадники лютымъ аллюромъ несутся на чернь.

«Стоять! Не бояться!», — раздается страстный, умоляющій приказъ агитатора.

Но толпа, испуганно вздрогнувъ, разступается.

Вскорѣ... Кто бы могъ ожидать?! Все было, какъ всегда. Только бы побольше осторожности и мудрости проявили правители! Люди въ плащахъ, съ синими лицами кружатъ на грузовикахъ. Поютъ флаги и женщины строятъ баррикады. Вотъ регулярныя войска. Люди наводятъ пулеметы. Цѣлый день ноетъ свинецъ. Дула ружей раскалились отъ огня; гимназисты мочатъ тряпки въ холодной водѣ и прикладываютъ къ стволамъ.

«Мы устали», говорятъ нѣкоторые, когда смерклось, «отдохнемъ немного!» «Привалъ», — раздается въ другомъ концѣ. Но въ это время доносится громовой, жестокій голосъ:

«Впередъ!» — то кричитъ піонеръ! Его лицо страшно и спокойно. — «Впередъ!» Къ нему присоединяются нѣкоторые. Прихрамывая, перевязанный окровавленной марлей, онъ проносится дальше. Это одинъ изъ тѣхъ людей, въ которыхъ отъ удачи удваиваются силы; но отъ неудачи утраиваются.

На башнѣ исторіи бьетъ барабанъ.

Торопливо смывается гримъ; кладутся новыя бѣлила, иные наряды; рабочіе несутъ декораціи, стуча сапожищами по деревяннымъ подмосткамъ. — —

Шелеховъ смолкъ.

Павелъ напряженно о чемъ-то размышлялъ.

— Гдѣ-же истина? — спросилъ онъ погодя.

— Истина? Въ катакомбахъ, вѣроятно, — сказалъ Шелеховъ.

— А когда она выходитъ на свѣтъ?..

— Она перестаетъ быть истиной.

— Гдѣ-же истина?

— Все въ катакомбахъ, — устало усмѣхнулся Шелеховъ.

Наступило молчаніе. Павелъ спросилъ:

— А эти катакомбы мѣняются? Углубляются? Расширяются? Или занимаютъ все то же мѣсто?

— Можетъ быть, — отозвался тотъ. — А вѣдь машинка сейчасъ потухнетъ! — вспомнилъ онъ.

Дѣйствительно, керосина не хватало. Пламя трепетно рвалось, стелилось, то замирая, то вновь тоненькой кисточкой гладя дно чайника. Они молча наблюдали. Было что-то героическое въ этой непосильной борьбѣ слабаго, скуднаго огонька, — изъ послѣднихъ силъ тянувшагося припасть, согрѣть покрытую гарью посуду: отдать ей свое тепло. Дрожа, цѣпляясь, какъ плющъ, почти молясь, пламя изступленно не уступало, силясь побѣдить.

— Ишь, глупый, — сказалъ Павелъ. — Не сдается. Изнемогаетъ. Не знаетъ, что гибель: керосина нѣтъ. Безсмысленно какъ старается.

— Такъ и человѣкъ, — нравоучительно замѣтилъ Шелеховъ.

Помолчали.

— Постой! — вскричалъ Павелъ. — Потухнемъ-то мы потухнемъ, если не влить керосина, но вѣдь не безсмысленно же упрямиться: успѣемъ вскипятить нѣкую воду! Вдругъ успѣемъ! А тамъ, пускай гибель! — восторгался онъ. — Что? Вѣдь воду, можетъ, вскипятимъ!

Шелеховъ быстро на него взглянулъ. Опять помолчали.

— Кто знаетъ...—сказалъ, наконецъ, Шелеховъ, — что этотъ чай для благостныхъ дѣлъ; что должно его вскипятить.

Молча слѣдили за машинкой съ какой-то затаенной жалостью.

— Нѣтъ! Не могу! — простоналъ Шелеховъ и за-

дулъ изнемогающее пламя. Такъ воинъ пристрѣливаетъ смертельно раненаго друга.

Пришелъ третій сожитель. Медикъ. Онъ недовольно разсказалъ, что былъ въ гостяхъ: даровой ужинъ! Но... пришлось платить сторожу! Двумъ сторожамъ! Затѣмъ ему навязали провожать двухъ барышень! Четыре трамвая и два ночныхъ автобуса!

— И это называется даровой ужинъ, — говорилъ онъ, изумленно пяля глаза: малые, выпуклые, какъ желтки. — И это называется даровой ужинъ, — удивленно и возмущенно все повторялъ онъ.

Улеглись. Медикъ долго теръ носками межъ пальцами ногъ, подносия время отъ времени руки къ носу. Потушили свѣтъ. Въ сосѣдней комнатѣ калѣка кричалъ Жоржику, чтобы прекратилъ чтеніе и гасилъ огонь.

Жоржикъ улегся на свой горбатый, съ выбоинами диванчикъ (убитый тюфячекъ онъ сбросилъ тутъ же на полъ, такъ какъ кромѣ блохъ въ немъ мало, что осталось). Почесывая въ темнотѣ ноги, онъ сталъ молиться:

— Отче нашъ... — зашепталъ онъ внятно, неторопливо, вслушиваясь, какъ бы вглядываясь, въ каждое слово. — Иже еси на небесѣхъ, — это малопонятное слово «иже» онъ воспринималъ, несмотря на все сопротивленіе, какъ нѣкое предположеніе, неокончательность; такъ эта фраза въ немъ оставляла слѣдъ, словно звучала она: Отче нашъ, если ты есть на небеси... — Да святится имя Твое... — продолжалъ онъ настойчиво до изнеможенія. — Да пріидетъ царствіе Твое. Да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли... — это предложеніе онъ произносилъ менѣе отчетливо, съ робостью и безотчетнымъ страхомъ. Дальше опять, очень медленно, произнося каждую букву съ усиліемъ, какъ-бы гипнотизируя: — Хлѣбъ

нашъ насущный даждь намъ... — онъ останавливался; погодя добавлялъ: — денно... — слово «днесь» его не удовлетворяло; онъ страшился, всѣмъ своимъ тѣломъ содрогался, помня и мысля о завтра тоже. — Дай намъ денно, — внушая, твердилъ онъ до безсилья. — И остави намъ... — онъ дѣлалъ большіе интервалы—долги наша... якоже... и... мы...—казалось, въ эти длинныя томительныя паузы онъ успѣваетъ обозрѣть всю свою жизнь, обиды, горести; сдѣлать смотръ всѣмъ знакомымъ, перебрать въ памяти всѣ униженія. Потомъ твердо, радостно завершалъ... — оставляемъ должникомъ нашимъ. И не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго, — это мѣсто онъ произносилъ скороговоркой, небрежно, почти не понимая. — ...Твое есть царство; и сила; и слава; во вѣки. Аминь,—торжествующе и умоляюще, какъ заговоръ, какъ заклинаніе, закрѣплялъ онъ. Такъ каждый вечеръ.

Заснуть онъ не можетъ. Горячій, вспотѣвшій, съ лихорадочными искрами въ глазахъ, онъ ворочается, мечется по ложу. Готовится ко сну, какъ къ трудной работѣ, какъ къ прыжку; изгибается: у него ощущеніе, будто надо просѣяться сквозь сито; куда-то проскользнуть. Взбудораженная кровь ищетъ выхода. Онъ начинаетъ импровизировать молитву. Онъ шепчетъ взволнованно, горячо, долго. —

«Господи Боже Іисусе. Вотъ я, юный, еще совсѣмъ молодой; и все у меня молодое. Спасибо Тебѣ, что я такой юный. Знаю, Боже, что я хорошій, что я честный. И я ни о чемъ не прошу. Я бы хотѣлъ дѣлать людямъ много добра. Я знаю, что меня ждутъ бѣды; что въ жизни всѣмъ скверно. Но ничего; я постараюсь остаться всегда хорошимъ! Навсегда. Будетъ за лѣтомъ зима. Боже, спасибо Тебѣ и за это. Я буду жить. Я буду любить. И все, что ни увижу,—буду знать: хорошо оно, потому что могло бы и не быть. Ты знаешь, Отецъ, у меня будетъ жена! Красивая! Будетъ ночь и я ее буду цѣловать. Спасибо Тебѣ,

Господи, за жизнь! Спасибо за ночь! Спасибо за меня! Я знаю, что буду несчастливъ, сиръ! Меня будутъ казнить. Но жена меня будетъ утѣшать; она меня полюбитъ больше всѣхъ. Когда я стану зрѣлымъ, я пойду къ людямъ. Плакать и всѣмъ твердить: я люблю васъ, люди, я люблю васъ всѣхъ. Боже, отчего бы мнѣ ихъ такъ любить? Они мнѣ будутъ наносить раны и дѣлать больно. Я знаю, что они всѣ другъ другу дѣлаютъ больно. Но какъ они несчастны! Какъ они опутаны! Всѣ хорошіе, но у нихъ много горя и каждый забываетъ о тяжести другого. Знаешь ли ты, Іисусе, что мама моя не должна умереть! У нея еще не было радости. Ты слышишь, я плачу, Господи! Я тутъ совсѣмъ одинъ. И я хочу имѣть маму. Не забирай ее пока! Господи, какъ мнѣ Тебя жалко! Оттого, должно быть, такъ Тебя люблю! Ты одинъ. И я почти одинъ. Ты на небѣ; я на землѣ. Что хуже? Одному тѣсно; другому просторно; одинъ: слишкомъ, другой: мало. Какъ тяжело. Каждый день свой, Господи, каждый часъ свой хочу отдать Тебѣ. Помочь! Знай: сердиться на нихъ нельзя! Слышишь? Въ этомъ я убѣжденъ. Они смѣшные, обездоленные. Я еще не мужъ, но говорю Тебѣ: не сердись. Недавно одинъ сказалъ: «Отдай мнѣ деньги, что мать заняла». Говорю: «нѣтъ у меня ничего. Душа есть: купи». А онъ гогочетъ: «такихъ душъ много»... и ушелъ. На нихъ сердиться нельзя! Господи! Мнѣ такъ жалко, мнѣ ихъ такъ жалко, что мнится; пора! Ей, Боже? Не пора ли уже?!. А, можетъ, и не пора? Можетъ, нельзя? Не знаю точно. Подумай. И если Ты уже когда-то объ этомъ долго размышлялъ... и постановилъ, то снова подумай! Опять! Нельзя ли измѣнить рѣшенія? Не жалѣй трудовъ; не дожидайся. А я, Господи, отдаюсь имъ! Клянусь Тебѣ; вѣрь мнѣ. Я никогда не буду негодовать. Что бы ни случилось. Я выдержу горе, которое меня поджидаетъ. Я такъ счастливъ. Такъ счастливъ. Что люблю ихъ. Всѣхъ. Но только мамы не отбирай!.. Помни... Это одно хочу я для себя. Только для себя.

А тамъ отдаюсь Тебѣ. Благодарю, Создатель, за это счастье. И за міръ. И за службу. Безкорыстную. Ни чего не желаю: ни тутъ, ни тамъ. И знаемъ мы (съ женой!), что ничего, кромѣ горя не заслужимъ. Но мы отдадимся людямъ, потому что мы ихъ любимъ и кромѣ этого ничего сдѣлать не умѣемъ. Прости меня, Отче. Я молодъ, но другимъ никогда не буду. Я устаю. Твоя сила, Твоя слава. Аминь!..» — изнеможенно умолкаетъ Жоржикъ.

Осторожно приподнявъ голову, калѣка напряженно вслушивается въ тишину. Затѣмъ, волнуясь и торопясь, сбрасываетъ съ себя одѣяло; хлопотливо суетится. Изогнувшись штопоромъ, болѣзненно разодравъ ротъ, онъ застываетъ, судорожно уставившись въ одну точку. Его глаза свѣтятся сухимъ, алчнымъ и горькимъ огонькомъ голоднаго, взирающаго черезъ окно на обильный трапезный столъ. Изгибаясь, онъ ритмически покачивается. Потомъ бревномъ падаетъ на перину. Его парализованная нога, дрыгнувъ, взлетаетъ вверхъ; другая соскальзываетъ на полъ: растопыренныя руки цѣпко прижаты къ животу. Онъ шумно глотаетъ воздухъ. Его глаза утомленно и неудовлетворенно закрываются.

Большой, черный котъ, полуслѣпой, старый, въ ссадинахъ и шрамахъ, съ длинной повѣстью земной жизни, старательно выведенной на его впалыхъ бокахъ, — тѣнью скользитъ у постели. Злобно урча, онъ до суха лижетъ густыя, жирныя капли, падающія съ корчемъ сведенныхъ пальцевъ калѣки. Котъ ѣстъ, мурлыкая, зловѣще сверкая своимъ желтымъ выпуклымъ глазомъ. Онъ злобно поетъ; жгуче и назойливо. Онъ проклинаетъ.

IV

Утромъ Шелеховъ, плетясь съ урока, столкнулся съ Михаиломъ Евграфовичемъ. Тотъ былъ очень блѣденъ, растерянъ и удрученъ.

— Ахъ, какое несчастье случилось! — залепеталъ онъ, тормоша Шелехова. — Какое несчастье!

— Въ чемъ дѣло?

— Ахъ, несчастье! Несчастье какое!

— Да, что такое? — взревѣлъ Шелеховъ, поддерживая его.

— Бозена перерѣзалъ грузовикъ.

— Какого Бозена? Отца? Роберта?

— Только что! Какое несчастье! — бормоталъ Михаилъ Евграфовичъ.

Онъ зналъ о существованіи смерти какъ-то теоретически; но кончина любого знакомаго дѣйствовала на него какъ немилосердное предупрежденіе. Ему, лично. Раскачивающійся перстъ. Онъ очень боялся умереть.

Шелеховъ оставилъ его и вскочилъ въ проходившій мимо трамвай.

«Отца или сына?» — рѣшалъ онъ. Его лицо выражало какое-то особенное легкомысліе, слишкомъ явное, чтобы быть подлиннымъ; во всемъ тѣлѣ была сугубая легкость, только глаза неповоротливо вращались, не совсѣмъ повинуясь ему. Онъ ощущалъ страхъ; тѣмъ, можетъ, ужаснѣе, что его еще не было, а существовало только предчувствіе, что вотъ-вотъ онъ нахлынетъ.

«Неужели Робертъ? Только вчера онъ засталъ его обнимающимся съ Музой. У нихъ были комичныя и озабоченныя лица. А, можетъ, папаша?» Шелеховъ усмѣхнулся мысли, что вотъ тамъ, одинъ изъ нихъ безапелляціонно мертвъ, а для него то одинъ, то другой воскресаютъ. «Чехарда какая. Однако, интересно, — отмѣтилъ онъ. — Смерть приходитъ только вслѣдъ за знаніемъ. Вслѣдъ». Не безъ нѣкоторой радости онъ вдругъ представилъ себѣ, что сейчасъ припадетъ къ мягкой и такой неподатливой рукѣ г-жи Бозенъ.

У Бозеновъ въ это утро проснулись по обыкновенію — рано. Отецъ отправился дѣлать свой обычный моціонъ; мать поѣхала по магазинамъ; Робертъ собрался въ давно жданный пикникъ: съ музыкой и молодежью.

Домой г-жа Бозенъ рѣшила пройтись пѣшкомъ. Она отправила автомобиль. Мысль объ обѣдѣ ее раздражала. Ахъ эта глупая Дарья. Русская холопка. Ничего, то-есть, ничего не смыслитъ. Добро еще, что не бывшая принцесса. И не догадается солгать.

Есть люди, на которыхъ достаточно мелькомъ взглянуть, чтобы предположить за ихъ плечами бурную жизнь. Это не исключаетъ возможности самаго сѣраго прозябанія.

Г-жа Бозенъ многое видала. Въ ея прошломъ не все было открыто, даже ея супругу, встрѣтившему ее молодой дѣвушкой. Обрусѣвшая шведка или чухонка, она производила на мужчинъ впечатлѣніе какого-то значительнаго, исключительнаго существа. Женщины ее ненавидѣли. На улицѣ ее принимали за молодую дѣвушку. Жена, мать тяжеловѣснаго Роберта; съ уже сѣдѣющими кое-гдѣ прядями, она владѣла такимъ чистымъ и содержательнымъ лицомъ, что глядящимъ становилось совѣстно за свою жизнь: тоскливо и грустно. (Такъ скорбитъ ребенокъ въ разгарѣ праздничнаго гулянья, вспоминая о приближающихся будняхъ).

Г-жа Бозенъ любила молчать. Особенно ловко, значительно и незамѣтно. Казалось, что она говоритъ мудрѣйшія вещи, — не произнося ни слова. У нея были отважные, честные, свѣтло - зеленые, умные, — и потому знающіе о предательствѣ — глаза.

Недалеко отъ дома хозяйка гастрономическаго магазина, кланяясь и присѣдая, задыхаясь отъ нетерпѣнія первой возвѣстить, — крикнула навстрѣчу:

— Задавило! Грузовикомъ задавило!..

— Кого задавило? — любезно спросила г-жа Бозенъ, не останавливаясь.

— Вашего... Вашего... Я не знаю, кого, — съ сожалѣніемъ созналась лавочница. — Не то мужа, не не то сына.

Казалось, что бѣжитъ тяжелая, разгнѣванная, птица, быть можетъ, простреленная дробинкой и оттого такъ ненужно много тратящая силъ, чтобы одолѣть незначительную преграду.

Робертъ или мужъ?

У нея хватило рѣшимости спросить: кого лучше? Но тутъ-же почти съ радостью подумала, что ей не дано выбирать.

Дома плачущіе и совсѣмъ незнакомые люди сообщили осторожно и громко, что убитъ мужъ, что Дарья подобрала трупъ и повезла въ больницу.

Появилась Дарья: она привезла снятую съ барина одежду. Костюмъ былъ изорванъ, въ кускахъ мяса и хрящей; но туфли совершенно сохранились, чистыя, лоснящіяся. Пальто Дарья его укрыла. Тамъ очень холодно и неуютно. Въ больницѣ. Она его укутала плэдомъ. Дарья сердобольная баба и любила своего барина. Беззвучно всхлипывая, она снова и снова объясняла это, все оправдываясь.

Шелеховъ зашелъ къ нимъ почему-то чернымъ ходомъ. Увидѣвъ его, г-жа Бозенъ поспѣшно запахнула полы бѣлой кофты и пошла къ нему навстрѣчу. Онъ молча склонился надъ ея рукой; попро-

бовалъ взглянуть, но тотчасъ же отвелъ глаза. Стыдно, но эта холеная женщина, сановитая, съ бѣлымъ тѣломъ и мягкими жестами, съ такимъ открытымъ и благороднымъ, дѣвственнымъ лицомъ, — будила въ немъ самые низменные инстинкты. Въ его возрастѣ всякая не противная женщина могла быть желанной; но тотъ вихрь похоти, захлестывавшій его, сонмъ разнузданнѣйшихъ представленій, какъ спрутъ охватывавшій и душившій, — страшилъ его своей внезапностью и опредѣленностью. Имъ изступленно владѣло желаніе схватить, сжать, ударить; броситься на нее, впиться зубами, кусать, сдирать тѣсное бѣлье. До кощунственности хотѣлось харкать, бичевать, гадить, испачкать эту благоухающую фигуру съ такими элегантными манерами и привычками. Минутами онъ чувствовалъ, что теряетъ сознаніе, не владѣетъ собой; это не было желаніе: это была необходимость; недугъ, психозъ. Шелеховъ боялся себя выдать; временами онъ чувствовалъ себя какъ пойманный воришка. Но отъ чего уже совсѣмъ становилось ему не въ мочь: это отъ ея взгляда, тяжелаго, задумчиваго, что-то вспоминающаго, къ чему-то прислушивающагося, удивленнаго, — казалось, въ немъ было и пониманіе и материнское прощеніе и ласковое успокоеніе, укоръ и еще что-то, отъ одного предчувствія чего Шелехову становилось жутко.

Сейчасъ она встрѣтила его, какъ близкаго, не чужого. Радушно и ровно взглянула чуть-чуть покраснѣвшими глазами. Они прошли въ комнаты. Онъ пойдетъ съ нею, не правда ли? Робертъ вернется къ вечеру. Она хочетъ къ его пріѣзду уже успѣть попрощаться съ усопшимъ. Уже быть послѣ всего.

— Послѣ всего, — сказала она.

Шелеховъ ее всячески отговаривалъ.

— Пусть онъ лучше останется въ вашей памяти здоровымъ, крѣпкимъ, красивымъ.

— Нѣтъ. Я себѣ это никогда не прощу, — замѣтила она просто.

— Я боюсь за сердце. У васъ синія губы.

— Это сейчасъ пройдетъ, — объяснила она нехотя и какъ-то дѣланно: такъ взрослые притворяются серьезными съ дѣтьми. — Это сейчасъ прокорректируется.

Черезъ минуту она вошла одѣтая въ черное; въ траурной шляпѣ. Ея губы были красны.

Автомобиль долженъ былъ остановиться, не доѣзжая къ больницѣ: тамъ чинили мостовую. Имъ пришлось пробираться грязной, загородней тропинкой. Взбираться на мокрые, свѣже насыпанные валы земли. Шелеховъ крѣпко держалъ ея кисть, всѣми силами стараясь сосредоточиться на мысли: не соскользнуть, не растянуться.

— Я должна быть спокойной. Я должна быть спокойной, — замѣтила г-жа Бозенъ, досадливо отворачиваясь отъ сочувствующихъ и назойливыхъ взглядовъ спѣшившаго къ больничному городку люда съ кульками, свертками, корзинами...

Въ холодной, пустынной камерѣ брошено было на каменный полъ нѣсколько соломенныхъ тюфяковъ; на одномъ изъ нихъ лежалъ г-нъ Бозенъ, укрытый по голову плэдомъ. Съ плеча сползъ бортъ тонкой резиновой матеріи и могло казаться, что лежащій внизу тщится выглянуть черезъ щелку.

Завѣдующая не соглашалась ихъ впустить.

— Не нужно. Не нужно, — шептала она Шелехову, мигая таинственно и обезпокоенно; всячески стараясь дать понять, что этого не дѣлаютъ, что это приводитъ къ дурнымъ осложненіямъ.

Ихъ впустили.

— Я должна остаться одна, — сказала г-жа Бозенъ.

Шелеховъ вышелъ. Сталъ возлѣ дверей.

— Что вы сдѣлали! — отчаянно взмолилась завѣдующая. — Нельзя оставлять! Никакъ нельзя!

— Ничего. Отъ горя не умираютъ, — цинично

успокаивалъ ее Шелеховъ. Несмотря на общую подавленность, онъ чувствовалъ какое-то особенное веселіе, граничащее съ наглостью; онъ былъ почти доволенъ, что присутствуетъ при такомъ событіи, играетъ нѣкую роль; сейчасъ посмотритъ на распиленное мясо знакомаго человѣка.

Шелеховъ постучалъ; открылъ дверь. Г-жа Бозенъ поднялась съ колѣнъ, поправила плэдъ, прикрыла; и, прямой не гнущейся походкой, направилась къ выходу. У порога она остановилась и какъ-то по особенному, какъ только умѣла она, мягко взметнувъ длинными, загзагообразными бровями, уронила, косо еще разъ оглядывая трупъ:

— Прости меня! — и вышла.

Навстрѣчу имъ попался коренастый господинъ въ форменной фуражкѣ.

— Тутъ убитый? — освѣдомился онъ.

Подбѣжавшая сидѣлка отвѣтила утвердительно.

— Бозенъ? А имя какъ? — Онъ досталъ записную книжку. — Изъ полиціи, — сообщилъ онъ небрежно.

— Бездѣльники. Бездѣльники. За чѣмъ вы смотрите! — яростно заспѣшила г-жа Бозенъ. Казалось, она обрадовалась, увидя, что есть кого обвинить. Горе не научило ее плакать, но отъ злобы на ея глазахъ затеплились слезы. — Бездѣльники! Пьяницы!

Чиновникъ поперхнулся, хотѣлъ что-то сказать очень нелестное, соленное; но только махнулъ рукой и, ожесточенно отвернувшись, бросилъ:

— Тутъ ужъ мы ничѣмъ помочь не въ состояніи.

Сидѣлка понимающе кивнула головой.

Домой они вернулись поздно. Прискакавшій уже Робертъ успѣлъ опять скрыться: разсылать телеграммы, письма, готовиться къ похоронамъ. Знакомая молодежь считала долгомъ явиться засвидѣтельство-

вать свое соболѣзнованіе. Боясь быть безтактными, назойливыми, они долго расхаживали возлѣ особняка, заглядывали въ окна; потомъ неувѣренно звонили и спрашивали тотчасъ, не помѣшаютъ ли.

День угасалъ сѣро и холодно. Сумерки комнатъ, пустынные тротуары, виднѣющіеся черезъ окна, робкіе шаги, множили грусть и пустоту. Всѣ говорили шопотомъ. Такъ говорятъ, когда въ сосѣдней комнатѣ покойникъ. Но рядомъ трупа не было. И этотъ шопотъ и эти люди, ненужные и напуганные, еще больше подчеркивали нелѣпость и безсмысленность, — на первый взглядъ, — происшедшаго.

Стадно шептались люди, липко шагали: жались другъ къ другу, безпомощно и растерянно. Все случилось слишкомъ внезапно. Что имъ за дѣло до г-на Бозена? Но это слишкомъ просто. Если-бы онъ захворалъ; проболѣлъ недѣлю и скончался. Все было бы понятно. Къ этому надо постепенно привыкнуть.

Г-нъ Бозенъ былъ человѣкомъ широкаго пошиба; планетарнымъ дѣльцомъ; задолго до войны могъ числиться новымъ человѣкомъ. Кѣмъ онъ былъ, какой національности, какъ звался, — никому не извѣстно. Такъ разсказывалъ Робертъ. — Изъ Россіи онъ уѣхалъ во время японской эпопеи. Собственно, бѣжалъ, — заподозрѣнный въ шпіонажѣ. Во Франціи онъ себя заявилъ политическимъ эмигрантомъ, но очень скоро исчезъ. Объявился гдѣ-то на островахъ Океаніи — богатымъ плантаторомъ, выписалъ туда невѣсту изъ Финляндіи. На его груди и рукахъ были выжжены фіолетовыя печати. Это тавры морской службы. Но кое кто поговаривалъ, что онъ бѣглый каторжникъ съ Кайэны. Что они бѣжали цѣлой оравой, перебивъ, во время бури, надсмотрщиковъ; плыли и ползали подъ ненасытнымъ солнцемъ, пересѣкли знойную Гвіану; убивали другъ друга изъза глотка воды и горсти хинина; метали жребій и жарили на вертелѣ шашлыкъ изъ человѣческаго мяса.

Какъ бы тамъ ни было онъ былъ всѣми уважаемъ на своемъ архипелагѣ. Но онъ не былъ лежебокой. Четыретысячетонный бригъ бросалъ его съ полушарья на полушарье; пересѣкалъ моря и суши; говорилъ онъ на нарѣчьяхъ многихъ вымирающихъ народовъ (Робертъ, бывало, не скупился на краски).

О ту пору молодой перуанецъ, исключенный изъ сенъ-сирской школы за невзносъ правоученія, возвращался домой. По дорогѣ онъ вздумалъ попытать счастье въ одной изъ южно - американскихъ республикъ, знаменитой тѣмъ, что она мало кому извѣстна. Онъ окружилъ себя людьми, которыхъ только смерть могла спасти отъ висѣлицы. Потрясая старинными кольтами, они объявили старый строй низвергнутымъ, — обѣщая всѣмъ льготы и облегченія, а озорникамъ колъ. На этотъ разъ они выиграли. Впрочемъ эта затѣя должна была кончиться какъ было принято въ тѣхъ географическихъ широтахъ, — новой революціей, не менѣе, но и не болѣе кровопролитной подъ благосклонное молчаніе притаившихся сосѣднихъ державъ, тихо посасывающихъ изъ чужого рожка. Но въ дѣло вмѣшался Бозенъ. Онъ дастъ деньги! Только, чтобы все находилось подъ его контролемъ. Онъ будетъ руководить финансами. Нужно все реорганизовать. Бывшему сенъ-сирцу оставалось только согласиться. И онъ не ошибся. Благодаря канцлеру удалось продержаться около года. Въ чемъ заключалась законодательная реформа Бозена, Робертъ не зналъ; только деньги, дѣйствительно, появились. Все что можно было продать — продали; упразднить — упразднили; выжать — выжали! Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ г-нъ Бозенъ разсудилъ, что пора принять мѣры предосторожности; свезъ на берегъ пожитки, бумаги — золото было давно переправлено — и поселился на своемъ бригѣ. Онъ приказалъ его обновить; покрылъ броней; выписалъ изъ Англіи нѣсколько усовершенствованныхъ орудій. Онъ снял-

ся съ якоря какъ разъ въ тотъ день, когда правительство падало; и успѣлъ привѣтствовать взвившагося на реѣ сенъ-сирца — пушечнымъ салютомъ. Онъ увезъ съ собой чинъ генерала, нѣсколько звѣздъ, имѣя на банковскихъ счетахъ всего міра крупные вклады.

— Добывать должно всюду, тратить только въ Европѣ, — сказалъ онъ супругѣ.

Они зажили тихой уединенной семьей.

Чего могъ бояться этотъ смуглый, молчаливый кондотьеръ? Исколесившій всѣ страны; знавшій всѣ ремесла; владѣвшій всѣми родами оружія; чуть ли не по канату плясавшій надъ Ніагарой.

Онъ размахивалъ дорогимъ стэкомъ, пересѣкая улицу, когда почувствовалъ позади себя тяжелое тѣло. Не успѣлъ обернуться — бросился бѣжать. Не было времени увернуться въ сторону. Тутъ же за нимъ горячо рокотала махина. Хоть бы новой сложной марки. Но нѣтъ: старинный, допотопный пэжо.

— Мы звонили. Гудѣли. Свистали, — клялся гортаннымъ альтомъ шофферъ. Потомъ торопливо зарыдалъ и принялся цѣловать трупъ. Онъ былъ сильно пьянъ.

Звонили новые знакомые. Тамара встрѣтила Изотова ласково, — какъ родного. Они вчера поссорились. Мягко ступая, она довѣрчиво вслушивалась въ его взволнованную, страстную рѣчь.

— Ко мнѣ... Наконецъ... Пора... — убѣждалъ онъ.

Она согласилась. Она даже не кивнула головой. Но онъ сразу смолкъ, неистово стиснулъ ея локоть и, чуя подъ собой сладковато-слабо ноющія ноги, сталъ неуклюже искать ея шапочку. Шелеховъ указалъ г-жѣ Бозенъ на нихъ взглядомъ. Она приподнялась и взглянула по направленію корридора; и тотчасъ же понимающе кивнула ему. Потомъ улыбнулась задумчиво, непріятно.

Шелеховъ мягко, успокаивающе, гладилъ ее по волосамъ.

Въ сосѣдней комнатѣ кто-то разсказывалъ, что встрѣтилъ Бозена, когда онъ проѣзжалъ въ автомобилѣ; его обнимала Дарья... Растерянно поклонился, — не зналъ, что кланялся мертвецу.

Ласково, вкрадчиво, Шелеховъ гладилъ ея густыя волосы; изрѣдка дотрагиваясь къ холенной, горячей, кожѣ. У нея бѣлая, полная шея, уходящая за кофту; ему мерещится узкая двукрылая тѣнь — должно быть, межъ грудьми. Онъ наклоняется и не спѣша, вдумчиво, припадаетъ къ ея лицу, цѣлуетъ... Потомъ рѣзко отстраняется, испугавшись.

Она не обратила никакого вниманія. Просто не замѣтила.

Зажгли свѣтъ. Сразу наступила ночь. Зеркала сумрачно и самодовольно блестѣли. Въ нихъ долженъ бы еще жить образъ, отражаемый ими до сегодня. Вчера вечеромъ; всю ночь; въ это утро — здѣсь ходилъ, пѣлъ, спалъ, ѣлъ человѣкъ. А теперь заставляли испуганно вздрагивать даже слабыя нити, тянувшіяся еще отъ него... Такъ, принесли ломберный столикъ, имъ заказанный; прислали табакъ, выбранный имъ за полъ часа до смерти; на столѣ лежало начатое имъ письмо и брошенная недокуренной сигара.

Чужіе начали прощаться, радуясь, что сейчасъ уйдутъ.

Всякій старался какъ-нибудь однимъ словомъ, послѣднимъ взглядомъ: успокоить, развлечь. Это требовала ихъ совѣсть.

— Смерть это обыкновенная вещь, — созналась одна дама.

Ея мужъ кивнулъ авторитетно головой. Онъ былъ очень боленъ.

Шелеховъ и Муза остались ночевать. Первый

устроился съ Робертомъ; Муза въ спальнѣ г-жи Бозенъ.

— Было-бы гораздо утѣшительнѣе, если-бъ мы помѣнялись партнерами, — подумалъ Шелеховъ. — Для всѣхъ, — онъ осклабился.

— Возьми одѣяло, — сказалъ тихо Робертъ. — Нѣтъ, помѣняемся: то мое. Можетъ быть, мнѣ покажется, что еще ничего не случилось.

Потушили огни.

— Мнѣ нельзя плакать, — разсказывалъ шопотомъ Робертъ. — Я знаю. Мнѣ даже нечего сказать. Я обмывалъ папу и вдругъ черепъ у него разошелся вдоль трещины. Сухо хрустнулъ, разступаясь; а у меня будто ножемъ — вотъ здѣсь — покрутили. Это я запомню. Я когда-то читалъ, какъ одинъ мальчикъ, послѣ смерти отца, изнасиловалъ мать. Я его понимаю.

— Да? — переспросилъ Шелеховъ. — Неужели?

— Вотъ вчера въ той постели они еще лежали рядомъ, а сейчасъ онъ тамъ.

— Почему вы его не перевезли?

— У мамы слабое сердце. Они лежали; онъ былъ здѣсь; воздухъ полонъ его дыханіемъ; тамъ...

— Брысь, пошла, брысь... — свистяще шептала Дарья изъ темноты. — Брысь, окаянный.

— Собачку гонитъ? — растерянно спросилъ Робертъ.

Въ сосѣдней комнатѣ застонали. Слабый голосъ Музы неубѣдительно просилъ:

— Ну перестаньте. Перестаньте же.

Раздались торопливые шаги босыхъ ногъ и въ дверяхъ показалась перепуганная, простоволосая, Дарья.

— Кто-то ходитъ. Кто-то ходитъ въ кладовыхъ! — зашептала, зашипѣла она.

— Ходитъ, ходитъ, — подхватила мать.

— Ходитъ, ходитъ! — таинственно и растерянно убѣждала Дарья.

Ея паническій страхъ сообщился всѣмъ.

— Съ вечера еще стучался тамъ, а теперь какъ заворочается, загремитъ углями. Слышите? Вонъ, вонъ, — ея глаза выпучились шарами.

Дѣйствительно, оттуда донесся шумъ.

— Хозяинъ! Хозяинъ! — зелепетала Дарья и,присѣвъ на стулъ, закрестилась и забормотала молитвы.

— Надо поглядѣть, — сказали мужчины.

— Надо.

— Только возьмите револьверъ. — сказала г-жа Бозенъ, появляясь въ дверяхъ.

Они проходили мрачными комнатами: настороженно крались вооруженные. Если-бы имъ встрѣтилось привидѣніе — г-нъ Бозенъ съ голымъ черепомъ, драпирующійся въ простыню, — они бы не слишкомъ изумились. Но ему пришлось бы худо.

То бѣдная сторожиха, рѣшивъ, что въ эту ночь иностранцы будутъ слишкомъ поглощены другимъ — рѣшила накрасть припасовъ. Ключи у нея были. Вотъ и все.

Она рыдала громко и обиженно. Она пропала, если ее лишатъ мѣста. Ея сынъ учится въ университетѣ.

Невѣдомо какъ, — Дарья очутилась впереди. Она покажетъ этой шлюхѣ.

— Пошла, — кратко бросилъ Шелеховъ. — Катись. Смѣните замки, — посовѣтовалъ онъ.

Они молча возвращались. Было впечатлѣніе, будто они что-то похоронили. Теперь только они почувствовали пропасть разверстую у ногъ. Ее не перейти: не смогутъ, да и не совсѣмъ пожелаютъ.

Они заснули.

V

Въ долгіе дни горестныхъ буденъ предавались воспоминаніямъ. Есть что-то сладостное въ возвращеніи съ кладбища, — мокраго, съ липкой пристающей глиной, — усталыми, отъ слезъ и хлопотъ; растянуться на мягкомъ диванѣ и, тихо скорбя, чувствовать всѣмъ животнымъ нутромъ, что хлопоты закончены, трупъ преданъ землѣ и сейчасъ заслужено бездѣйствіе и отдыхъ.

Погребли г-на Бозена на лютеранскомъ кладбищѣ.

Не потому, что къ этому были спеціальныя основанья. Въ его папкахъ хранились бумаги, доказывающія принадлежность ко многимъ и многимъ разнообразнѣйшимъ вѣроисповѣданіямъ, культамъ и сектамъ. Но того хотѣла г-жа Бозенъ.

Худой пасторъ съ чахоточнымъ кадыкомъ кидалъ горсти чистой, холодной земли, возвѣщая:

—Ибо прахъ ты и въ прахъ обратишься. А мы отдаемъ землю землѣ... Пепелъ пеплу... и прахъ праху.

Вернувшись съ похоронъ, пили чай съ бисквитами, впервые за всѣ послѣдніе дни открыто радуясь теплу и краскамъ. Потомъ усѣлись всѣ кругомъ г-жи Бозенъ, — Муза съ Робертомъ на одномъ креслѣ. Она разсказывала о дѣтствѣ сына. (Ея нѣжность къ нему — утроилась).

Робертъ былъ очень впечатлительный ребенокъ. Отецъ въ немъ души не чаялъ. Однажды въ холод-

ный и свирѣпый осенній штормъ онъ вынесъ изъ дому всѣ одѣяла; снялъ съ постелей: дорогія, бархатныя, шелковыя, ватныя... и, выбѣжавъ къ собакамъ, укуталъ ихъ тепло. Всѣ покрывала испортилъ.

Онъ до страсти обожалъ кинематографъ. Чувствительный, онъ дрожалъ какъ камертонъ отражая всѣ перипетіи... Дѣвочка выбѣжала въ паркъ, оступилась... упала въ прудъ. «Мими, Мими» кричитъ добрый дѣдушка, проходя мимо... Поворачиваетъ на другую аллею. «Она въ пруду!» истерически кричитъ маленькій Робертъ... Вотъ авантюристъ измывается надъ семьей; убиваетъ мужчинъ, разбиваетъ головы ребятъ о камни. Рѣшительный бой: отрокъ бросился, очертя голову, защищать свою мать. Они катаются по землѣ; опрокидываютъ мебель; бьютъ посуду. Изнемогаетъ отрокъ. Свирѣпо гаркнувъ, Робертъ кидается изъ ложи на помощь. Онъ мечется у экрана, ловя ускользающія тѣни, — какъ мухъ на стеклѣ. Увы, экранъ продрался въ двухъ мѣстахъ, но бандитъ продолжаетъ свое кощунственное дѣло.

— Прекрасно! — вскричалъ Шелеховъ. — Вѣдь это демонстрація правильности не пресѣканія зла зломъ!

— Почему? — спросила г-жа Бозенъ, не глядя на него.

— Сядь ближе, Музочка, — упрашивалъ Робертъ тихо свою пріятельницу.

— Когда мы злое кроемъ злымъ, мы повреждаемъ только фонъ! Себя! Отнюдь не дурное! Ибо оно не впереди насъ, гдѣ оно намъ является, а гдѣ-то сзади, въ иномъ планѣ!

— Ближе, ближе, — твердитъ Робертъ свое.

— Жаль! Ты немного измѣнился, — замѣтила Муза: они въ эти дни перешли на ты. — Вѣдь за такіе поступки полагается рай.

— Мы всѣ будемъ въ раю, — серьезно сказала вдова.

Шелеховъ разсказалъ о игрѣ, въ которую, онъ замѣтилъ, играютъ мѣстныя дѣти. Классы... первый квадратъ — земля; послѣднiй — рай. Межъ ними находятся разныя препятствiя, препоны. Когда одна отворачивается, вторая дѣвочка мошенически передвигаетъ свой черепокъ ближе къ небу.

— Чортъ возьми! Онѣ упражняются! Вѣдь въ этомъ вся наша жизнь. Вся исторiя! — засмѣялась г-жа Бозенъ впервые за эти дни. — Превосходно.

Такъ они коротали время. Вчетверомъ. Шелеховъ забросилъ свою комнату, благо: мало уютную. Какъ-то само собой случилось, что они начали дѣлиться на пары. Робертъ съ Музой изсчезали.

— Сейчасъ ихъ время, — говорила г-жа Бозенъ съ той особенной задушевностью, которая свойственна еще могущимъ нравиться женщинамъ, когда онѣ упоминаютъ о своемъ возрастѣ.

Шелеховъ осторожно нагибался и цѣловалъ ее. Обнималъ. Притягивалъ къ себѣ. Безжалостно.

— Что вы? Что вы? — строго шептала г-жа Бозенъ.

— Я не могу. Я не могу, — довѣрчиво объяснялъ Шелеховъ. Терзая ее, сажая на колѣни; впиваясь сухимъ ртомъ въ неприкрытое тѣло.

Его пальцы настойчиво скользили подъ платьемъ, обжигаясь ея тѣломъ. Она вздрагивала, безшумно и сильно защищаясь.

Онъ гладилъ ея животъ. Скользкiй, мягкiй, нѣжно-податливый. Хищно наклонялся надъ ней.

— Романъ Константиновичъ! — горестно звенѣла она, отстраняясь.

Въ это время обычно приходила ей на помощь собачка. Визгливо, удивленно топчась и пофыркивая, она вдругъ начинала громко и злобно лаять. Шелехову становилось противно. Пугался шума.

Однажды г-жа Бозенъ раздраженно прикрикнула на шпица:

— Тише ты! Брысь. Не шуми такъ.

Тогда Шелеховъ приподнялся, схватилъ пушистый хвостъ суки, — бросилъ ее за дверь; потомъ поглядѣлъ на г-жу Бозенъ и шагнулъ къ ней.

Онъ сдиралъ съ нея платье методически; почти равнодушно. Онъ производилъ впечатлѣніе ненормальнаго.

— Не надо. Не надо, — молила она жалобно и непонимающе.

Онъ началъ раздѣваться. На немъ было плохое бѣлье: онъ отошелъ подальше въ уголъ. Разоблачившись, поспѣшно юркнулъ въ широкую кровать.

— Посмотри, какая я, — сказала вдругъ г-жа Бозенъ. Ея голосъ совершенно преобразился: высокій, истерическій, не то плачущій не то смѣющійся. — Погляди!

Она гладила себя по пухлымъ частямъ; плескала по животу; вертѣла задомъ, извиваясь то передъ Шелеховымъ, то передъ зеркаломъ.

— Полюбуйся! Вотъ здѣсь посмотри. А здѣсь? Неужели стара?

Шелеховъ ожесточенно отвернулся.

Осторожно, неумѣло ступая слегка раскаряченными негнущимися, босыми ногами, она подошла къ балконной двери, отдернула занавѣсъ и выглянула на вечернія улицы. Потомъ шумно распахнула дверь и, что-то звонко крича, исчезла въ темнотѣ.

Шелеховъ устрашенно застылъ. Неужели спрыгнула? — ужаснулся онъ; безпомощно оглянулся, схватилъ кальсоны, хотѣлъ было ихъ натянуть, но раздумалъ — спряталъ ихъ зачѣмъ-то подъ матрасъ, — и вдругъ сразу опомнившись, голый, ринулся на балконъ.

Г-жа Бозенъ прыгала по верандѣ, то ссовываясь внизъ, то пятясь назадъ, мечась, словно подвѣшенная за ноги птица; ея груди взлетали какъ подбрасывае-

мое тѣсто. Она хлопала себя по тѣлу, щипала, царапала; и кричала, какъ вѣдьма:

— Смотрите, люди! Смотрите, какая вдова! Смотрите на невѣсту.

Шелеховъ коршуномъ низвергнулся на нее. Откуда только силы взялись. Схватилъ за волосы, какъ щепку швырнулъ на кровать.

— Шлюха! Шлюха ты! — испуганно, возмущенно и какъ то ужасно обиженно кричалъ онъ.

Она лежала усталая, изнеможенная, тихо вздрагивая, всхлипывая. Ея животъ порывисто то впадалъ, то вздувался. Онъ задумчиво его погладилъ. Нѣжный и податливый. Онъ осторожно потянулъ одѣяло.

— Не надо. Не надо, — зашептала она, мягко обвивая руками его шею.

И вдругъ онъ почти потерялъ память отъ ея рѣзкаго, страстнаго вскрика.

— Не тамъ... Ниже... Еще... Ахъ!

VI

Ну и разыгралась же плоть! И пошла крутить, плясать, прясть, хмелѣть и все пить, — изъ темныхъ истоковъ.

Видно, не случайно въ ногу со смертью вспыхнула похоть съ такой непоборимой мощью; видно, есть прочная связь между ними; и на первое, какъ смутная надежда, какъ послѣдняя защита отвѣчаетъ скользкое и слѣпое, вѣковое сѣмя. Сумеречнымъ, колѣнно-сводящимъ корчемъ; темнымъ предземнымъ извивомъ, — безъ жалости и безъ сознанія, — къ самому суку міра ведущимъ; изначальной судорогой ногъ и спинного хребта, — откликается жизнь.

— Я, кажется, страшно боленъ, — сообщилъ Изотовъ Шелехову. — Я застрѣлюсь.

— Ну что ты, что ты, — успокаивалъ его Шелеховъ. — Когда не надо было, ты могъ вѣдь. Это просто нервность.

Они жили когда-то вмѣстѣ; спали въ одной постели, и Шелеховъ цѣльную ночь брезгливо отодвигался отъ его настороженнаго тѣла.

— Устроится. Устроится, — уговаривала г-жа Бозенъ.

— Чертъ возьми! — ругался Изотовъ. — Надо знать, что да какъ! Проклятые понаставляютъ въ романахъ многоточія, а ты расхлебывай кашу. Позоръ! Тутъ курсы нужны.

И ночь пришла, парная, влажная. Потной бабой разметалась земля. Какъ сороколѣтняя дѣва, кото-

рая ждетъ, чтобы съ нея впервые содрали одежды. Они лежали на полу. Тамара покорно повиновалась; сквозь прикрытыя двери ея комнаты доносились голоса домашнихъ.

— И какъ она это терпитъ, — печально подумалъ Изотовъ, неумѣло и безпорядочно хлопоча.

— Спокойнѣе, спокойнѣе, — пробовала его учить Тамара.

Вскинувъ глаза, она испытующе глядѣла вверхъ, на потолокъ, съ тѣмъ особеннымъ выраженіемъ, какое бываетъ у людей, когда они долго смотрятъ на небо съ горы или съ большой площади.

Вдругъ скрипнула дверь. Протяжно и визгливо.

Сильно оттолкнувшись, не смѣя поднять глаза, Изотовъ слабо прислонился къ стѣнѣ, сдавивъ руками свой животъ, отставивъ ногу, — все еще стараясь придать себѣ оттѣнокъ независимости.

Тамара осталась лежать на полу, боясь шевельнуться, оглянуться.

Быть можетъ, прошло мгновеніе; быть можетъ, вѣка.

Изотовъ согнулся. Могло казаться, что онъ принялъ на спину невидимый грузъ. Всѣмъ существомъ своимъ онъ какъ бы ощутилъ громадную землю подъ ногами; тяжелую атмосферу надъ собой; крышу, доски потолка; вѣсъ мебели кругомъ. Ему казалось, что голый онъ всходитъ на ярко освѣщенный эшафотъ, а кругомъ необъятная тьма съ ненасытно и молча глазѣющимъ людомъ.

Быть можетъ, прошло мгновеніе; быть можетъ, вѣка. Кто знаетъ.

Наконецъ, онъ поднялъ голову. Дверь была полуоткрыта; за ней никого не было видно. Тамара вскочила, быстро оправила платье, волосы. Какъ ни странно, но на нее это произвело меньшее впечатлѣніе.

На цыпочкахъ подошла, выглянула, за дверь; прошлась на развѣдки.

— Ничего не замѣтно, — сообщила она. — Не знаю, можетъ, это кошка. Боже, Боже, я боюсь мамы.

Наконецъ, рѣшились выйти, со смѣшаннымъ гнетущимъ чувствомъ стыда и страха. Тамара проявила большое мужество; но увидѣвъ, что на нихъ никто не обращаетъ вниманія, Изотовъ тоже немного успокоился, хотя былъ очень тихъ и печаленъ. Почти тотчасъ же постарался стушеваться.

У Прониныхъ въ эти дни были непріятности и безъ того.

Ивановъ, офицеръ генеральнаго штаба, кавалеръ двухъ орденовъ, котораго они приняли какъ родного: позволяли танцовать съ ихъ дамами, довѣрили всѣ ключи, которому вставили на свои средства золотыя коронки, — Ивановъ оказался проходимцемъ, трефовымъ валетомъ и отплатилъ имъ черной неблагодарностью. Не въ томъ суть, что молодость свою онъ провелъ не въ академіи, а въ тюрьмѣ; бѣда въ томъ, что онъ ихъ обокралъ. Хуже! Систематически и злостно обкрадывалъ. А не вмѣшайся, не догадайся старуха Прасковья Филимоновна, чортъ знаетъ, къ чему дошло бы. Всего дома лишиться бы впору.

Странный человѣкъ Ивановъ. Худой, блѣдный, со птичьей грудью и мечтательными глазами. Онъ цѣлый день орудовалъ на кухнѣ, жарилъ рыбу, мылъ тарелки и скребъ дверныя ручки. Вечерами же занималъ дамъ, даже кой за кѣмъ пріударивалъ.

— Олимпіада Сильвестровна! Какъ вамъ нравится сей альбомъ? — галантно изгибался онъ.

— Хорошій альбомъ.

— Можете оставить себѣ на память.

— Тамара Михайловна, это для васъ ноты. Можете пользоваться.

Въ домѣ Прониныхъ онъ познакомился съ мадьяркой. Сама Олимпіада Сильвестровна отрекомендовала его своей подругѣ:

— Ивановъ, прекрасно танцуетъ. Прошу любить и жаловать, — сказала она.

— Ивановъ, безъ занятья, — буркнулъ онъ самъ, тотчасъ же по обыкновенію поспѣшно пятясь назадъ.

— Видите этотъ чекъ? Видите всѣ нули? — спрашивалъ Ивановъ. — Это мое! Мадьярочка дала, — радостно взвизгивалъ онъ и бросался дальше. — Прасковья Филимоновна, посмотрите, пожалуйста! Хи-хи! Это мое!.. — онъ размахивалъ чекомъ; поднималъ вверхъ, поворачивалъ; и бѣжалъ дальше.

Пришедшая навѣдаться эмигрантка, (недавно пріѣхавшая изъ Россіи, оставившая у Прасковьи Филимоновны, — старой пріятельницы ея покойной маменьки, — свою корзину), признала альбомъ, подаренный Олимпіадѣ, за свой.

Позвали Иванова. Онъ былъ очень блѣденъ; покоренъ.

— Я его здѣсь нашелъ, — скороговоркой выпалилъ онъ, озираясь на дверь. — Вонъ здѣсь.

— А ноты.

— Ноты мои, — твердо сознался онъ.

— А это что? — отогнули обложку, показали замысловатый эксъ-либрисъ съ фамиліей дамы.

— Ноты не ваши, — испуганно, но непреклонно настаивалъ онъ. — Ноты не ваши.

— Гдѣ-же вы ихъ взяли?

— У товарища. Товарищъ такой.

— Скажите его адресъ?

— Улица Свободы 136, — выпалилъ онъ, не задумываясь.

Тутъ вдругъ у Людмилы Сильвестровны мелькнуло одно страшное подозрѣніе, — догадка. Мгновенно на лицѣ ея выступили махровыя пятна. Она были испугана и разъярена.

— Подождите, — крикнула она и бросилась наверхъ.

Тамъ въ гардеробной стояли шкапы. Тяжелые,

дубовые, некрашенные. Русскихъ кустарей; древнихъ мастеровыхъ — издѣліе. Въ нихъ хранилось приданное Тамары. Бѣлье, кружева, истканья, шубы. Эти мѣха скупилъ еще Михаилъ Евграфовичъ въ обильной Сибири; тамъ голубыя шкуры лисицы, горностаевъ, куницъ, продавались на пуды. Мѣнялись: на водку и дробь. Чесуча; лучшая, подлинная. Она покупалась у барышниковъ, пріѣзжавшихъ на ярмарку чуть ли не изъ Кьяхты. Шелка. Тюки мягкіе, какъ перышки. Съ тонкими, затѣйливыми силуэтами японскихъ артистовъ, — безыменныхъ. Дорогіе пуховики; украшенія, монисты; вычурныя кружева.

Рѣдко отпираемые замки ржаво заскрипѣли.

Да, здѣсь хозяйничали. Чьи-то глупыя, сразу видно мужскія, безтолковыя, руки рылись. Тянули, что поярче, да потяжелѣе.

Помчалась внизъ Людмила Сильвестровна. По дорогѣ столкнулась съ матерью. Словомъ не обмѣнялись, а та все поняла. Вмѣстѣ вбѣжали въ гостиную. Среди комнаты, какъ подсудимый, дожидался Ивановъ; блѣдный, покорно сутулясь и въ то же время упрямый.

— Воръ! — завопили мать и дочь. — Ворище!

— Обокралъ! Кого обокралъ? Сир... — поперхнулась Прасковья Филимоновна: она хотѣла сказать сиротъ, да спохватилась. — Дѣтей обобралъ! Приданное! Ворюга! Въ морду его! На вилы! Зубы ему вставили? Выбьемъ сейчасъ зубы, выбьемъ; выколупаемъ коронки, выколупаемъ.

Михаилъ Евграфовичъ очень перепугался. Не понялъ даже.

— Что ты, что ты? — попенялъ онъ, хлопая по плечу Иванова. — Отдай вещи! А то, братецъ, самъ знаешь: худо будетъ!

— У дѣтей, не посрамился? Приданное?!..

Въ это время въ покой ворвалась, — нѣтъ: вкатилась! — больная Марина. Старая дѣва, душевно

больная, дальняя родственница, проживающая у Прониныхъ изъ милости, — которую окупала непрерывнымъ трудомъ отъ разсвѣта до поздней ночи, да и то не могла покрыть. Потрясая въ воздухѣ широкимъ, снѣжно бѣлымъ, полотенцемъ съ крупной, красной монограмой, она стенала, что ее ограбили, обездолили, украли три простыни, а сколько скатертей она и сказать не можетъ, такъ какъ никогда не считала.

— Сироту! Сироту? — торжествующе завопила Прасковья Филимоновна.

Какъ преслѣдуемая сворой собакъ лиса — Ивановъ пятился въ уголъ; наконецъ, запертый стѣнами, остановился, попеременно глядя въ ротъ каждому изъ кричащихъ.

Комната набивалась все новыми людьми.

Журналистъ Николенька, поручикъ — приняли живѣйшее участіе въ событіи. Кто обнаружилъ пропажу золотого, самопишущаго пера, американскаго и вѣчнаго; кто галстукъ, кто флаконъ одеколона, а кто просто мелочь: коробку папиросъ, бритвенный ножикъ, пару подвязокъ.

Глаза Иванова начали багровѣть. Гдѣ-то пало зловѣщее словцо: полиція.

— Караулъ! Бьютъ! — заскулилъ вдругъ Ивановъ, оборачиваясь во всѣ стороны. Оскаливаясь и огрызаясь, онъ кричалъ, что не бралъ полотенецъ сироты. Не бралъ.

Потомъ звонко зарыдалъ. Обильно и какъ-то неубѣдительно. Онъ плакалъ и клялся, что все отдастъ; что онъ не бездушная скотина, умѣетъ цѣнить ласку. Все! до послѣдней пуговицы, — вернетъ!

— Вы увидите! Въ субботу назначаю свиданье! — захлебывался онъ. — Все соберу и возвращу! Въ субботу найдете!

— Смотри, братъ! Полиція! — нерѣшительно

помахалъ пальцемъ Михаилъ Евграфовичъ. — Въ два счета.

Женщины немного разступились. Ивановъ направился къ выходу. Какъ вдругъ Михаилъ Евграфовичъ хлопнулъ себя по лысинѣ и гаркнулъ:

— Стой! Стой! Вернись!

Ивановъ тотчасъ же обернулся, какъ бы это ожидая. Шагнулъ обратно равнодушно, безразлично.

— Подпишешь бумажку, — сказалъ Михаилъ Евграфовичъ. — Ишь ты, — и началъ выводить:

«Я, нижеподписавшійся, выдававшій себя за Иванова, офицера генеральнаго штаба, свидѣтельствую, что послѣ моей уборки въ гардеробной. обнаружилась пропажа многочисленныхъ и музейной цѣнности предметовъ, каковые обязуюсь къ субботѣ доставить».

Подумавъ немного, Михаилъ Евграфовичъ добавилъ:

«Никакихъ претензій къ господамъ Пронинымъ не предъявляю».

Ивановъ охотно, чуть ли не съ удовольствіемъ, подмахнулъ свою фамилію, — съ бравымъ ловкимъ росчеркомъ въ концѣ. И скрылся.

Въ это время и приключился очередной припадокъ Марины. Обычно тихая, прибитая, она бывала временами овладѣваема приступами сумасшествія, мирными и нѣсколькодневными, хотя и очень назойливыми. Впрочемъ, иногда они тянулись подольше, переходя въ буйство, но это случалось рѣдко и кончалось обычно уже въ больницѣ.

— Ей бы надо... — началъ врачъ, котораго во время перваго припадка, было, позвали.

— Я знаю, что ей нужно, — отрѣзала Людмила Сильвестровна.

Докторъ взглянулъ на ея крѣпкую грудь, широкія бедра и смолкъ.

— Кто-же ее возьметъ? — спросила его хозяйка.

Тѣмъ и окончилось лѣченіе. Припадки эти совпадали обычно съ какой нибудь другой непріятностью. Какъ на зло: всегда неожиданно, какъ градъ среди бѣла дня; (но потомъ всѣ соглашались, что это должно было ожидать)... Обычно за нѣсколько дней до того Марина отказывалась принимать пищу. Ее попрекаютъ каждымъ кускомъ. Да. Злые, хитрые гады. Да. Она работаетъ, какъ волъ, но ѣсть ей не надо чужого. Вотъ вамъ.

— Марина бастуетъ, — многозначительно докладывали другъ другу.

Скоро съ ней начинались рвоты, судороги больного пищевода. Наклонившись надъ миской, она со стонами и тягучими вздохами старалась опорожниться, страдальчески озираясь. Было такое впечатлѣніе, будто она стремится вывернуть свои внутренности на изнанку. Изъ пустого желудка вытекала слизь.

— Когда у нея мѣсяцъ? — живо интересовался Михаилъ Евграфовичъ.

Если приближаются регулы, то припадка уже не миновать; (весной и осенью они бывали особенно жестоки).

Разыгривалась кара Божія... Весь день сверху, изъ ея клѣтушки, несся назойливый, металлическій, крикъ:

— Людмила, уходи! Уходи, Людмила! Уходи пожалста. Закрой дверь!

Она рѣшительно отказывалась отъ одежды; мытья; пищи. Иногда поражала слушателей удивительно мѣткимъ сравненьемъ, образомъ. — Если не выпустить дымъ папиросы, то онъ пройдетъ черезъ мозгъ. Она обожглась мороженымъ. Можно ли сломать чулки?

Отдѣльныя фразы у нея были построены безукоризненно логически; но онѣ были связаны межъ собой неестественно, не по обычному. Скачки; боль-

шія трещины отдѣляли одну ея мысль отъ другой, но почти всегда, если вдуматься, можно было найти объясненіе. Надо было только идти по ея рѣдкимъ слѣдамъ и вѣхамъ; находить ихъ. У нея была слишкомъ, — болѣзненно, — развита способность ассоціаціи. Вотъ почему она стремилась соединить далекія въ обычномъ представленіи понятія. За чайнымъ столомъ она заговаривала о полярныхъ медвѣдяхъ: видъ бѣлаго кускового сахара ее наводилъ на эту мысль. Порой она напоминала кроткаго, разсудительнаго, вдумчиваго ребенка, старающагося все понять, обо всемъ разспросить. Но въ осеннія,дождливыя недѣли, она голая скакала на одной ногѣ, воображая себя жабой, — такъ что весь полъ содрогался отъ ея большого корпуса. Вдругъ она начинала кричать, стенать горестно, обездоленно. Такъ старая мать оплакиваетъ умершаго сына. Стоя у окна, раскачиваясь, простоволосая, съ опухшимъ отъ слезъ лицомъ, почернѣвшимъ, какъ-бы посыпаннымъ пепломъ, она выкрикивала однообразно, рѣжуще и заунывно, жалобу - молитву, (какъ бы оплакивая своихъ близкихъ и родныхъ; всѣхъ людей и себя). Ея голосъ былъ переполненъ, насыщенъ предчувствіемъ гибели всего живого.

Когда умеръ отецъ Людмилы Сильвестровны, тогда всѣ женщины, — и Марина среди нихъ — слились въ одинъ хоръ, именно такимъ-же голосомъ причитающихъ родственниковъ.

— Гдѣ мой петя? — разносилось ночью по всему дому. — Не трогай моего петю!

Петей — называла она жестяную парашу, стоящую въ ея горницѣ. Она просиживала на ней часами, голая: съ какимъ-то сладострастіемъ; ѣла, пила, взобравшись на нее ногами. Потомъ раскроетъ окно и швырнетъ вонъ.

— Петя, петечка, — звала она. — Закрой дверь! Закрой дверь!

Двери были закрыты; можно было хлопать ими снова и снова; а нытье - мольба не прекращалось. Со слезами и гнѣвомъ, видимо, страдая и болѣя, она взывала:

— Закрой дверь. Сильнѣе. Держи ее крѣпко... — Она боялась: ей мнилась черная статуя подъ кроватью.

— Тамъ нѣтъ никакой статуи, — клялась Людмила Сильвестровна, боясь зайти.

— Закрой дверь пожалста! — и было трогательно и мучительно слушать, какъ яростный, испуганный и настойчивый голосъ прибѣгалъ къ слову: пожалуйста. — Супу! Дай супу! — вспоминала она. Она выливала похлебку: гремѣла о стѣны аллюминіевой посудой, все повторяя: — Дай же супу. Супу!

— Очи черныя, очи страстныя! — металлическимъ, проникновеннымъ нечеловѣческимъ голосомъ тоскливо выводила она. — Очи жгучія! и прекрасныя. Знать, не въ добрый часъ я увидѣлъ васъ! Дай карандашъ, я буду писать!

И выводила дѣтскими ломанными каракулями письмо: «Милый Петя! Здравствуйте, милый Петя! Какъ вы живете? Сколько вамъ лѣтъ? Милый Петя, сколько вамъ лѣтъ? Сколько вамъ лѣтъ? Тридцать, пятнадцать. Сколько Петинькѣ лѣтъ?»

Она гадила подъ себя. И тогда со стыда ожесточалась.

— Уходите, мадамъ. Васъ никто не спрашиваетъ. Уйди, закрой дверь. Людмила! Уйди!

Но не всегда слѣдовало уходить; иногда наоборотъ это означало, что она стыдится, что можно войти, она не прогонитъ!

Всѣ знали, что если ее выкупать съ утра, то день проходилъ спокойнѣе. Но это было очень хлопотливо. Мужчины окружали ее; начинали какъ бы играть, шутить. Она боязливо кричала, тоже однако улыбаясь въ отвѣтъ на ихъ нарочито смѣшныя

гримасы. Сопя и крича они топтались кругомъ нея. — крѣпкой и неестественно сильной. Слышалось:

— А! нѣтъ. Я не хочу бокса. А! да. Уходи, мосье...— да пофыркиванье, да постукиванье.

Стоило ей только двинуться, какъ она уже пробѣгала къ ваннѣ, но если случалось остановиться по пути — опять приходилось начинать сызнова. У нея не было воли измѣнить позицію своего тѣла: лежа, она не хотѣла подняться; бѣгая, не могла остановиться.

Булькала, плескала, брызгала вода, — точно лошади на водопоѣ.

— Еще немножко купаться! Кусокъ мыла у тебя есть, кусокъ мыла? — кричала она, отбрасывая мыло далеко отъ себя. — Дай еще кусокъ. Сколько это стоитъ? Сколько это можетъ стоить? — мучительно томилась она.

Этотъ вопросъ Марина слышала ежеминутно въ теченіе своего нормальнаго служенія. Возвращаясь съ рынка, изъ мелочной лавки, рыбныхъ ларей и фруктовыхъ складовъ, она безпрестанно сталкивалась съ этой фразой радѣющихъ о своемъ добрѣ Пронинатхъ: сколько дала? сколько стоитъ? сколько истратила?.. Жаркими письменами врѣзалось это въ ея подсознаніе.

— Сколько можетъ стоить? А это не дорого? — терзалась она.

Чиселъ она тогда не понимала: 200, 20, 50... все одинаково скользило мимо нея. Время отсутствовало. — Что, уже утро? — освѣдомлялась она, если ночью кто либо входилъ къ ней. — Что, уже надо спать? — если закрывали днемъ ставни. Годъ называла всегда 1919; другихъ не знала: то былъ годъ, въ который она заболѣла.

— Это не легко ѣсть, кого чего, мясо?! — не то спрашивала, не то утверждала она: ей было трудно глотать. — Везувій есть вулканъ. Я же вамъ говорю

не трогать! Мадамъ, это нельзя трогать! — неслось цѣлый день сверху. — Аршиномъ, кѣмъ чѣмъ, считаютъ? Дай! Дальше дай! Рубашку! Надо сверху? Юбку я не... могу! Людмила, уходи, говорю, Людмила. Закрой дверь! Не такъ. Просто закрой дверь. На аэропланѣ ты умѣешь ѣхать? Сама ѣхать? Просто ѣхать, а не ѣхать?

— Нѣтъ, — простодушно сознавалась Людмила Сильвестровна.

— А я умѣю. Сама умѣю. Мадамъ, нѣтъ не умѣю. Чешетъ! Ну, Людмила, я ухожу на базаръ. Откуда она пріѣхала? Женатая? Я хочу жениться.

Двѣ вещи могли ее угомонить. Первая: музыка. Часами она была въ состояніи слушать или сама играть на память: Скрябина, Шопена. Впрочемъ, могла упереться въ одну клавишу — и сломать ее: у нея не было силы перескочить на другую.

Успокаивало ее присутствіе мужчины: она становилась послушной. Но отраднѣе всѣхъ на нее дѣйствовалъ Ивановъ. Онъ ее одѣвалъ, умывалъ, кормилъ, причесывалъ.

— Чешетъ, — стыдливо отворачивалась Марина.

— Гдѣ?

Она указывала на грудь, губы, животъ, колѣни. Онъ ее похлопывалъ по указаннымъ мѣстамъ; чесалъ, щипалъ, щекоталъ, приговаривая какъ борову, когда его скребутъ за ухомъ:

— Аа... тыы.. аа... тыы...

Женщины тогда стихали, ходили какъ пришибленныя; многозначительно вздыхали, шептались.

— Того бишь, долго однако ихъ не слѣдуетъ оставлять, — ввязывался Михаилъ Евграфовичъ.

— Полно. Полно.

Какъ бы тамъ ни было, но наступало относительное успокоеніе.

Вотъ такой припадокъ и разразился вслѣдъ за сумятицей съ Ивановымъ. Продолжительный.

Какъ только онъ скрылся, женщины опомнились и атаковали Михаила Евграфовича:

— Ну развѣ можно было отпускать?! Ищи! Найди его теперь! Ищи волну въ морѣ.

— Что-жъ, прикажете съ нимъ въ притонъ пойти? — не сдавался Пронинъ. — Расписку оставилъ? Въ два счета его засажу.

— «Засадитъ»! — презрительно тявкнула Прасковья Филимоновна. — Такъ ему тюрьма нипочемъ; а вещи, вещи то!? Эхъ, былъ конь, да изъѣздился, — съязвила она.

Ночь на субботу спали неспокойно, походя, какъ передъ родами. На разсвѣтѣ вмѣстѣ съ бутылками молочницы нашли письмо.

«Дорогіе!! — писалъ Ивановъ. — Мнѣ у васъ было исчерпывающе хорошо, чтобы отплатить вамъ мрачной неблагодарностью... *Надѣньте очки и вы все найдете...* Только, я — бывшій офицеръ и мнѣ въ тюрьму нельзя попасть; къ тому же я боленъ чахоткой. Если вы декларируете полиціи: *знайте — живымъ я ей не дамся!...* Любящій всѣхъ Ивановъ».

— «Надѣньте очки и вы все найдете».. — нѣсколько разъ повторилъ Михаилъ Евграфовичъ подчеркнутое, безпомощно обозрѣвая притихшихъ дамъ.

— Подбросилъ! — первая догадалась Прасковья Филимоновна и, дѣйствительно, начала трясущейся рукой надѣвать пенснэ.

И пошло колесить, рыться, искать. Весь домъ просѣяли. И нашли: двѣ пачки на чердакѣ. Увы, нѣсколькихъ вещей не хватало.

— Лучшія, — сказала Людмила Сильвестровна.

— А! — яростно вскричалъ Пронинъ и захлебнулся. — Я-жъ ему покажу! — и побѣжалъ къ телефону.

Тѣмъ временемъ Олимпіада Сильвестровна до-

гадалась сбѣгать къ мадьяркѣ. — Никакихъ подарковъ та не дѣлала. Чекъ выписала за горностай. Принесъ Ивановъ нѣсколько шкурокъ, но купила она одну! Воръ? Она давно что-то подозрѣвала. Однако, у него интересное лицо. Къ концу мадьярка самымъ рѣшительнымъ образомъ попросила ни во что ее не впутывать. Ни ни!

— Не забывайте, — пригрозила она, — что это у васъ въ домѣ мнѣ представили авантюриста. Вы просили любить и жаловать! — Шкурку она отправила домой.

— Комиссаріатъ? Алло! — кричалъ Михаилъ Евграфовичъ въ трубку.

Заварилась же кашка.

Въ полиціи пришлось все разсказать. Много лишняго. Иванова нашли. Нѣсколько молодцовъ отправились къ подъѣзду мадьярки. Въ часу пятомъ и онъ надошелъ. Чистенькій, испитой, въ синемъ костюмчикѣ, томный. Не пискнулъ. Только совсѣмъ побѣлѣлъ. Известь. Шумъ; сторожиха; сосѣди; немолодая мадьярка выглянула было, да тотчасъ захлопнула дверь.

Изотовъ первый сообщилъ Пронинымъ объ этомъ арестѣ. И впрямь: рокъ. Изотовъ направлялся къ Пронинымъ. Изъ трамвая выскочило нѣсколько господъ. Изотова грубо толкнули; стали на носокъ; онъ нахмурился и оглянулся.—Коренастый упитанный человѣкъ въ кожанной, длинной курткѣ, съ бычьей шеей. Рядомъ съ нимъ вынырнулъ тоненькій какъ свѣча Ивановъ: задравъ голову, застывъ, чтобы не привлечь ничьего вниманья, какъ кукла, безжизненно, неторопливо продвигался онъ за первымъ. Вслѣдъ за нимъ снова вотъ такой же: приземистый, широкій, съ тупымъ затылковъ, съ кожанной курткой на громадной спинѣ.

Изотовъ вздрогнулъ; схватился за грудь: будто

кто-то хлыстомъ полоснулъ его по сердцу. Обмякъ. Правда, онъ въ послѣднее время очень ослабъ.

Вѣсть о томъ, что Ивановъ уже арестованъ была встрѣчена у Прониныхъ съ великимъ волненіемъ. Это всѣхъ поразило; никто этого не ожидалъ, хотя все было предпринято для того.

— Вотъ такъ полиція, — задумчиво, но съ уваженіемъ присвистнулъ Михаилъ Евграфовичъ.

Прибѣжала мадьярка. Она просила, она вѣдь предупреждала ее не вмѣшивать! Къ ней мужъ пріѣхалъ! Мужъ!

— Онъ меня убьетъ! Васъ растерзаетъ за сводничество! Вы увидите!

Это было очень непріятно. Разстроить семью? Пистолетные выстрѣлы? Никогда. Пронины были честными людьми. Той особенной, ровной, безупречной, слегка жестокой честностью, — людей, никогда не знавшихъ нужды. Счастье быть честными принадлежитъ преимущественно потомкамъ преступниковъ.

— Мой мужъ очень ревнивъ, — объясняла мадьярка.

А тутъ еще доносится надоѣдливый скрипъ Изотова. Въ четвертый, пятый разъ описываетъ онъ, какъ вели Иванова. Это произвело на него сильное впечатлѣніе. Какъ ударъ хлыстомъ по душѣ. Онъ бродилъ и размышлялъ и вдругъ носомъ къ носу напоролся. Померкли, поблекли сразу всѣ его думы. А раньше ему казались великими, нужными, — откровеніями!

— Вотъ она подлинная, неприкрытая реальность! Бррръ.

Тоненькій, какъ спичечка, человѣкъ послушно и примиренно слѣдуетъ за двумя красными, низкими, громадными... въ кожаныхъ пальто. Всѣ они одинаковы, тождественны. Отъ романовскихъ охранниковъ до совѣтскихъ чекистовъ — чрезъ Францію, Америку и Китай; освѣжеванные жеребцы, выдресирован-

ные вепри. Полиція въ штатскомъ. Изотовъ снова и снова повторяетъ:

— Вотъ она подлинная, неприкрытая реальность. Бррръ.

Людмила Сильвестровна шлепнула себя ладонью по головѣ. До чего дошло: развѣ можно такое откладывать!

— Молодой человѣкъ! — подошла она тихо къ Изотову. — Съ вами у меня есть одинъ разговоръ, — въ это время ее позвали къ Маринѣ. — Сейчасъ. Сейчасъ, — предупредила она Изотова, выбѣгая.

Вошедшій Михаилъ Евграфовичъ засталъ Изотова на диванѣ въ полуобморочномъ состояніи: съ нимъ начались спазмы, отрыжки, слезы и истерическій хохотъ, — слабый, едва слышный.

— На помощь! Человѣку дурно! — скомандовалъ Пронинъ.

Его обрызгали водой, одеколономъ; натерли спиртомъ, уложили въ постель. Рѣшили, что это желудочное. И Михаилъ Евграфовичъ, выпроводивъ всѣхъ изъ комнаты, собственноручно поставилъ ему клизму. Изотовъ умолялъ, отбивался какъ могъ; въ дверяхъ мелькали взволнованныя лица женщинъ. Вкатили; но что постыднѣе всего: клизма эта дѣйствительно помогла. Изотовъ сходилъ, куда слѣдовало, и вернулся здоровымъ, только икота осталась. Нервная.

Тогда Людмила Сильвестровна выступила впередъ и спросила дребезжащимъ голосомъ:

— Тамара, сказать ему?

— Да, мамочка.

— Изотовъ, оставьте нашъ домъ, — предложила она.

— Иди, иди, не солоно хлебавши, — поддержала Прасковья Филимоновна.

— Мама! — удержала ее съ упрекомъ Людмила Сильвестровна.

Пронинъ недоумѣвающе потиралъ лысину, хра-

ня гробовое молчаніе: онъ не понималъ, но довѣрялъ супругѣ! Самъ онъ и не пробовалъ разобраться въ нѣкоторыхъ дѣлахъ. Онъ радовался даже своей ограниченности, чувствуя, что она вѣрнѣйшій залогъ его благосостоянія. Людмила Сильвестровна справится. Изотова онъ почти любилъ: привязался; но опять таки только до той минуты, пока жена не растолковала ему, что это не выгодно. Почему не выгодно, онъ тотчасъ же забылъ, но самый фактъ усвоилъ быстро и твердо.

— Оставьте нашъ домъ, — повторила Людмила Сильвестровна.

Изотовъ медленно вышелъ.

Пронина вызвали въ полицію: Ивановъ началъ признаваться. Насчетъ зубовъ правильно накаркала старуха: выбили ему коронки, вылущили.

Всего коснулся вскользь Ивановъ; даже слишкомъ многаго: о гуляньяхъ ночью; о дансингахъ, джазъ - бандѣ; о такси съ занавѣсками. Чортъ.

О своей Олимпіадѣ Сильвестровнѣ сама мать, старуха Прасковья Филимоновна, говаривала:

— И какъ у ней мозоли на губахъ не выскочатъ?

На что та имѣла обычай огрызнуться:

— А что, завидно?...

Поручикъ снова заметался, какъ объѣвшійся беленой.

— Что такое? Что такое? — онъ рвалъ на себѣ волосы. — И тутъ?! И тутъ?! Я его изъ полиціи выкуплю, правду узнаю!

Только сейчасъ Пронины на семейномъ совѣтѣ нашли умѣстнымъ ударить отбой. Людмила Сильвестровна побожилась, что вещи почти найдены: недостающія вѣдь были преподнесены къ свадьбѣ сестры поручика! Рѣшили освободить его; пообѣщать даже вознагражденіе, только бы взялъ обратно компрометирующія женщинъ показанія; и главное — смолкъ! Ни гу гу.

Вспомнили про Шелехова: какъ тотъ невзначай сообщилъ, что познакомился съ пріятелемъ Иванова. Чрезъ него и рѣшили дѣйствовать. Можетъ, тотъ сможетъ угомонить разошедшагося во всю Иванова; образумить.

Шелехова нашли у Бозеновъ.

— Пущай возьметъ назадъ показанья насчетъ дамъ! — толковалъ ему Пронинъ.

— Такъ вы сами, Михаилъ Евграфовичъ! Евгеній, курьеръ студенческой столовки, его другъ. Халуи. Они васъ оберутъ.

— Ничего не значитъ. Я заплачу. Ивановъ со мной говорить отказывается, палачъ! — настаивалъ Пронинъ. — Дѣйствуй.

Шелеховъ направился къ трамваю. По дорогѣ онъ неожиданно столкнулся носомъ къ носу съ тучнымъ, прихрамывающимъ, дурно одѣтымъ, человѣкомъ. Онъ привлекалъ всеобщее вниманіе: въ дырявой шляпченкѣ на макушкѣ, что-то сосущій, говорящій самъ съ собой, сплевывающій, ухмыляющійся и хромающій, — онъ являлъ собой удивительный образъ чего-то чистаго, допотопнаго, обездоленнаго.

— Чудо-юдо-рыба-китъ! — восторженно вскричалъ Шелеховъ. — Игнатію Карловичу нижайшее!

— Чудо-юдо-рыба-китъ? переспросилъ тотъ, сосредоточенно жуя. — Какъ ты смѣешь? — и тотчасъ же радушно сунулъ свою пухлую руку.

Съ Игнатіемъ Карловичемъ Шелеховъ познакомился давно, и полюбилъ его чрезвычайно; тотъ тоже благоволилъ къ Шелехову, хотя это было трудно замѣтить, такъ какъ Игнатій Карловичъ относился съ почти нечеловѣческой ровностью къ людямъ.

— На юридическомъ факультетѣ лейпцигскаго университета было всего три великихъ человѣка: Лейбницъ, Гете и я, — такъ начиналъ обычно Игнатій Карловичъ свою бѣсѣду съ новымъ знакомымъ.

Это было странное, безпомощное, несчаст-

ное существо; взрослый вундеркиндъ; неудачный мудрецъ съ улыбкой маніака.

Сорокалѣтній студентъ, двадцать лѣтъ посѣщающій университеты Европы. Толстый, тучный — какъ бы вздувшійся, — съ маленькими ножками и руками, покрытыми гладкой, смуглой, лоснящейся отъ сала кожей. Онъ былъ одѣтъ... Въ клѣтчатыя, засаленныя брюки, разстегнутыя у развѣтвленія ногъ, (тамъ болтался рядъ длинныхъ хвостиковъ съ узлами, свидѣтельствовавшихъ, что на этомъ мѣстѣ въ свое время были пуговицы). На туфли — стоптанныя и странной, выпуклой формы, ниспадали носки, — черные съ ватными шариками, — открывая смуглыя, волосатыя голени съ краемъ чернаго, разстегнутаго манжета кальсонъ. Самъ по себѣ жирный, онъ становился гомерически упитаннымъ, вспухшимъ, благодаря глубокимъ, обильно нагруженнымъ карманамъ. Пальто, старое, полинявшее, всегда разстегнутое, — лѣтомъ и зимой, дома и на улицѣ не снимаемое, — было натянуто поверхъ пыльнаго, теплаго пиджака, изъ подъ котораго выглядывали наружу: и углы сѣраго жилета въ чернильно - коричневыхъ пятнахъ; и разъѣзжающая изъ стороны въ сторону накрахмаленная манишка (иногда, впрочемъ, грязная, шелковая рубаха); и полоска волосатой, блестящей отъ пота, груди. На шеѣ — твердый, широчайшій, высочайшій, отливающій лакомъ воротникъ: удивительнѣйшей формы, похожій на вѣнокъ. Лицо жирное, породистое, казистое, выбритое до синевы; маленькій носикъ, осѣдланный большими, въ желѣзной оправѣ, пенснэ; широкій лобъ съ благообразной лысиной. Только глаза странные: неувѣренные, подслѣповатые, виновато и близоруко мигающіе, разслабленные, идіотски - тупо сосредоточенные. Маленькій ротикъ безпрестанно жующій, богатый слюной, гнилыми корешками и золотомъ. Неприкаянная душа; вѣчный бобыль.

Выпаливая свое очередное хвастливое замѣчаніе.

вродѣ: — Я внѣ эпохи... — или что-нибудь подобное, онъ самъ первый начиналъ беззвучно посмѣиваться, забрасывая вверхъ свой черепъ, осклабя ротъ: такъ смѣются иногда большія, умныя собаки или дѣти. Потомъ добавлялъ: — чему ты смѣешься?! — и поразительно было то, что каждый его парадоксъ имѣлъ хоть тѣнь вѣроятности; всякое самопревзношеніе было не совсѣмъ абсурдно. А вѣдь говорить ему случалось разное!

Подозрительный, мнительный, выродившійся сынъ очень богатыхъ, обрусѣвшихъ нѣмцевъ, — по материнской линіи: ростовщики, — онъ былъ почти боленъ не только маніей величія, но и преслѣдованія. Всюду ему мнились козни, интриги, покушенія. Въ столовкѣ онъ подозрѣвалъ кельнершу въ желаніи его отравить.

— Почему?

— Почему? Можетъ быть, она въ меня влюблена.

Скрытный до истерики во всемъ, что касалось его средствъ къ существованію, имущества, онъ однако съ Шелеховымъ бывалъ откровеннымъ, угощалъ его пивомъ, передавалъ о самомъ сокровенномъ своемъ — послѣ денегъ: — половомъ безсиліи; и даже однажды пригласилъ къ себѣ переночевать, — когда тотъ былъ безъ квартиры.

Ну и ночь же провели они.

— Я тебя предупреждалъ, — равнодушно настаивалъ Игнатій Карловичъ. — Развѣ я тебя не предупреждалъ? — и успокаивался только, когда Шелеховъ подтверждалъ это. — Меня всѣ обокрали. Родственники больше чужихъ, — цѣдилъ онъ, потягиваясь съ неуклюжей ловкостью медвѣдя.

По пріѣздѣ изъ Россіи, отецъ Игнатія Карловича, предпріимчивый, изворотливый инженеръ снялъ ему комфортабельную квартиру. Къ себѣ онъ его пригласилъ навѣдываться изрѣдка. Женатый вторич-

но, — онъ развелся съ матерью Игнатія Карловича еще задолго до ея смерти, — инженеръ разумѣется давно махнулъ рукой на своего первенца.

— Ты имѣешь свой надѣлъ. Живи, какъ хочешь, денегъ больше у меня не проси, — вотъ приблизительно что выражалъ его взглядъ, когда онъ встрѣчалъ сына.

А Игнатій Карловичъ былъ гордъ и самолюбивъ; честный до абсурда онъ даже не могъ бы заикнуться, попросить взаймы. Отца своего онъ любилъ, уважалъ и даже почиталъ, но избѣгалъ: обидѣлся.

Квартиру свою богатую, помѣстительную онъ тотчасъ же сдалъ въ наемъ: врачу Казаковичу. Не то чтобы только сжадничалъ, но и впрямь жутко вѣдь одинокому холостяку! Въ малую квадратную комнатушку онъ снесъ какія только могъ вещи со всего дома и зажилъ — возвращаясь только на ночь домой (въ никогда не стеленную кровать, со сломанной ножкой, прислоненную къ стѣнѣ). Докторъ Казаковичъ, приглядѣвшись къ Игнатію Карловичу, категорически отказался признавать его хозяиномъ, вносить плату. Игнатій Карловичъ не только не спорилъ, но даже началъ подумывать бросить все, — съѣхать съ квартиры: онъ опасался, что ему привьютъ неизлѣчимую болѣзнь.

— Н...да, — потянулъ носомъ Шелеховъ, какъ только они вошли въ его комнату.

— Ты можешь лечь со мной въ постель, — предложилъ тогда Игнатій Карловичъ. — Но долженъ предупредить, что я по ней хожу штиблетами. Вотъ такъ. Такъ, — онъ показалъ какъ именно.

Шелеховъ поблагодарилъ. Это хуже, чѣмъ спать подъ мостомъ.

На полу устроиться не было возможности: паркетъ грязный, въ пыли, паутинѣ и мусорѣ. Въ углахъ грудами возвышались разныя трубки, лохмотья, одежда, — арсеналъ, изъ коего Игнатій Карловичъ

черпалъ свой туалетъ. Тамъ встрѣчались дорогія вещи, старомодные шлафроки, стэки, зонтики, галстуки, фуфайки. У него было семьдесятъ двѣ верхнихъ рубахъ — никогда не стираемыхъ! — съ полъ сотни картузовъ, шапокъ, котелковъ.

— Погляди, купилъ куртку, за пятерку?! — указалъ тогда самодовольно Игнатій Карловичъ. — Что ты смѣешься? — возмущенно забросилъ онъ назадъ все свое короткое, тяжелое, какъ обрубокъ, туловище, кривя ротъ въ свою добрую, хитрую и ребячливо озабоченную улыбку. Глаза его запали глубоко; изъ подъ смуглой жирной кожи проглядывалъ черепъ явственно и очерченно. Немощный, разслабленный, сѣдѣющій и въ то же время такъ напоминающій дитя. — Что ты смѣешься? — повторялъ онъ гнѣвно. — Это на шелковой подкладкѣ. Пощупай, англійское сукно. Это стоитъ сотни! Вотъ, что я тебѣ скажу! Хочешь, я тебѣ уступлю?!

— У меня денегъ нѣтъ, — уклонился Шелеховъ.

— Ты мнѣ вернешь! — предложилъ Игнатій Карловичъ, — скажи только, когда!? Когда ты мнѣ вернешь? Вѣдь я знаю, что ты безъ отеля.

— Я не верну!

— Какъ? Не вернешь? И долга стараго не вернешь? — изумленно забрасывалъ Игнатій Карловичъ свой черепъ назадъ. — Ты, значитъ, не джентльменъ?

— Я куртки не желаю! — запротестовалъ Шелеховъ. — А обѣщенныя верну! Будь спокоенъ, китъ.

Придвинувъ къ столу два табурета, Шелеховъ скаталъ въ узелъ свое пальто и попробовалъ устроиться на ночь. Не разъ вспоминалъ онъ потомъ это ложе.

— Ноги ты можешь забросить ко мнѣ, — позволилъ Игнатій Карловичъ, самъ отодвигаясь на край кровати. — Я на серединѣ постели опасаюсь спать. Слушай! — обрадованно вскричалъ онъ. — Какъ ты

думаешь? Если такая доска отвалится, можетъ она меня убить? — онъ указалъ на трещину въ потолкѣ какъ разъ надъ изголовьемъ.

— Не можетъ, — отмахнулся Шелеховъ. — Послушай, что это у тебя здѣсь такъ смердитъ?

— Это котъ! Кошка проклятая виновата! — возмущенно привсталъ Игнатій Карловичъ. — Повадилась ходить сюда. — Лѣкарскій звѣрь, заразу разнести можетъ. — Выхвативъ изъ кармана жилета маленькій пузырекъ, онъ началъ брызгать во всѣ стороны молочной жидкостью: подъ кровать, на кучу гардероба, на стѣны кругомъ. — Мнѣ сказали.... — передавалъ онъ, тяжело дыша, — что кошки этого запаха не переносятъ. Это не отрава!

— Коты котами, — замѣтилъ Шелеховъ. — А человѣку отъ этого запаха задохнуться очень даже просто. Что это у тебя столько пива припасено? — освѣдомился онъ, кивая на неровныя густыя шеренги бутылокъ, уставленныя вдоль подоконника. Большія, малыя, тонкія, пузатыя; разныхъ оттѣнковъ, наполненныя бурой жидкостью.

— Какое пиво?! — сконфуженно отмахнулся Игнатій Карловичъ, осклабясь. — Пиво! Что ты пристаешь! — разсвирѣпѣлъ онъ. — У меня Горинъ ночевалъ. Вотъ это человѣкъ. Атлетъ. Онъ имѣлъ громадный успѣхъ у женщинъ. Гдѣ тебѣ! Даже Евгенію далеко! Пройдетъ по улицѣ: мужчины оглядывались. А сядетъ гдѣ нибудь, сейчасъ женщины, княгини, графини, кругомъ зароятся. Онъ сейчасъ въ Кубѣ выступаетъ на аренѣ: борецъ. Такъ незамѣтно. А засучитъ рукавъ: багоръ — лапище! Толстая, красная, волосатая, все больше и больше расширяющаяся къ плечу. Вонъ, какая рука! Спалъ тутъ на стульяхъ и благодарилъ!.. Бутылокъ ты не касайся, — отрубилъ онъ немного погодя. — Еще выпить вздумаешь. А тамъ моча.

— Не ходить же мнѣ съ пятаго этажа внизъ, — толковалъ ему еще долго Игнатій Карловичъ.

— Такъ выливалъ бы. Выливай, — посовѣтовалъ Шелеховъ. — Разъ боишься пользоваться общей уборной, то выливай.

— Кому это мѣшаетъ? — отмахнулся презрительно хозяинъ. — Что ты смѣешься? — тотчасъ же осклабился онъ.

Вотъ съ нимъ-то и встрѣтился сейчасъ Шелеховъ, направляясь въ столовку.

— Ѣдемъ къ Евгенію, — пригласилъ его Шелеховъ. — У меня порученіе есть.

Игнатій Карловичъ именно туда и направляется. Пѣшкомъ, если угодно. Времени довольно.

Шелеховъ согласился пойти пѣшкомъ, хотя это совсѣмъ не близко.

Неимовѣрно толстый отъ многочисленныхъ свертковъ, наполняющихъ его карманы, — тамъ были книги, тетради; гнилые апельсины, яблоки, груши, яйца и лукъ; конфекты и лѣкарства, — Игнатій Карловичъ плылъ, раскачиваясь, то ныряя, то подпрыгивая вверхъ, похожій на почернѣвшій дубовый срубъ, гонимый весеннимъ половодьемъ; сѣменя рядомъ съ Шелеховымъ, то напирая на него брюхомъ, то откачиваясь далеко къ стѣнѣ, припадая попеременно на обѣ ноги.

— Сильно хромаешь, — замѣтилъ Шелеховъ.

— Это у меня отъ опущенія желудка, — отвѣтилъ Игнатій Карловичъ. — Чего ты смѣешься? Желудокъ отъ зубовъ расширился! Все отъ нихъ! Зубы это страшная вещь!

На этомъ вопросѣ онъ былъ помѣшанъ. Живя бѣдно, во всемъ кромѣ пищи себѣ отказывая, — да и ту скупалъ дешево: «чуть-чуть тронутую, полусгнившую» — онъ всѣ свои средства и сбереженья тратилъ на лѣченіе зубовъ. Продавалъ оставшіяся отъ матери драгоцѣнности; золото и серебро переливалъ

въ коронки; доктора Казаковича впустилъ изъ-за нихъ, проклятыхъ. Зубовъ, дѣйствительно, онъ не имѣлъ: сгнили... только черные корешки — острова, рифы — торчатъ. Изъ незащищеннаго рта ниспадали слюни. Онъ лазилъ по специалистамъ, топтался со студенческимъ билетомъ въ прихожихъ свѣтилъ. Ему вставляли коронки, дѣлали мосты... недовольный онъ уходилъ къ другому профессору. Всѣ свои болѣзни, всѣ неудачи онъ объяснялъ ими — зубами. И опять таки: самыя абсурдныя его объясненія имѣли какую-то убѣдительность.

— Память дѣлится на зрительную, слуховую, (самыя распространенныя)... — объясняетъ Игнатій Карловичъ. — И двигательную. Вундъ, мой учитель, подвязалъ одному человѣку языкъ тряпочкой и спросилъ его таблицу умноженія: тотъ не зналъ.

— Вундъ не зналъ? — освѣдомился какъ-то Шелеховъ.

— Нѣтъ. Тотъ человѣкъ! Его языкъ не могъ вибрировать. У меня тоже такая память! Двигательная! Самая рѣдкая!

— У тебя никакой памяти нѣтъ.

— Это сейчасъ! Потому что зубы мнѣ мѣшаютъ! У меня во рту нѣтъ гармоніи! Слишкомъ свободно. а съ искусственными слишкомъ тѣсно! Кабы у меня были зубы, я бы... Я былъ-бы геніальнымъ творцомъ! — сотрясается Игнатій Карловичъ.

— Въ какой области? — серьезно любопытствуетъ Шелеховъ, слегка отстраняясь.

— Въ какой области? — задумывается тотъ. — Я бы создалъ скульптуру... Я бы изваялъ: ужасъ! — Игнатій Карловичъ откатывается назадъ, взмахивая одной рукой вверхъ, другой внизъ. — Я бы изобразилъ Ужасъ!

— Какъ?

— Въ пустынѣ... нѣтъ, въ горахъ! Въ ледянныхъ поляхъ, бѣлыхъ, хладныхъ... мертвенныхъ... Я бы по-

ставилъ одинокую фигуру человѣка. Онъ стоитъ, озираясь. Онъ медленно бредетъ. Кругомъ исполинскіе глетчеры. Пустота. Молчаніе... Всякій взглянувшій на это испытывалъ бы безотчетный страхъ. Женщины кончали бы самоубійствомъ.

— Все «бы»! Все сослагательное наклоненіе! Хвастунишка!

— Какъ ты смѣешь!? — съ серьезнымъ ужасомъ и въ то же самое время кротко и хитро ухмыляясь, вскрикивалъ въ такихъ случаяхъ Игнатій Карловичъ. — Я съ тобой прекращу знакомство!

— Артистомъ геніальнымъ ты не могъ бы стать? — настаивалъ Шелеховъ.

— Я былъ-бы вселенскимъ актеромъ! Мое лицо это кладъ для экрана. Смотри ручки, подбородокъ! У меня тѣло, какъ у женщины! Бѣлое, гладкое!...

— Волосатой обезьяны.

— Нѣтъ. Мнѣ платили бы небывалые оклады. Богатыя американки... — это была мечта Игнатія Карловича — приходили бы за кулисы мнѣ отдаваться. Въ драмѣ я создалъ бы незабываемые образы. Я бы сталъ вторымъ...

— Почему-же? Почему... ты развалина?

— Зубы! Зубы мнѣ помѣшали.

Конечно, смѣшно. Игнатій Карловичъ декламировалъ скверно, съ глубокими придыханіями, старинными паузами, трагическими жестами, съ вращеніемъ бѣлковъ, съ ужасающей мимикой, шепелявя! Однако, стоило Игнатію Карловичу начать читать, какъ, съ первыхъ же словъ, подъ слушателемъ на минуту проваливался полъ, уходилъ потолокъ, стѣны комнаты превращались въ гнѣзда ложъ, взвивался тяжелый, расписной, занавѣсъ и какъ бы передъ темнымъ партеромъ проходилъ согбенный старецъ, сжимая въ рукахъ золотые дукаты, гремя ключами.

— «Какъ молодой повѣса на свиданіе» — проникновенно шепталъ Игнатій Карловичъ.

Впрочемъ, скоро голосъ срывался; поддергивающіяся щеки расплывались въ маску кретина; ему надоѣдало и онъ прекращалъ чтеніе.

Вялый, неповоротливый, полуживой; флегматичный, какъ жвачное животное, — онъ, однако, въ сердцевинѣ своей, былъ страстенъ, темпераментенъ и вспыльчивъ до самозабвенія: обида могла его привести къ поножевщинѣ. Но подлинной слабостью его былъ: Шекспиръ.

Студентъ почти всѣхъ существующихъ факультетовъ, онъ вотъ уже пятый годъ штудировалъ англійскую филологію. Критику Шекспира онъ воспринималъ какъ личную обиду. Кровную.

— Твой драматургъ шарлатанъ и плагіаторъ, — запускалъ обычно Шелеховъ, отодвигаясь.

— Ты... — (Игнатій Карловичъ нѣсколько мгновеній ищетъ подходящее возмездіе)... — Похабникъ, — и тотчасъ-же, съ испугомъ и съ удивленіемъ улыбаясь, откидывается на спинку кресла; потираетъ черной рученкой колѣно, или, опираясь локтемъ о столъ, удовлетворенно ерзаетъ во всѣ стороны, какъ бы призывая присутствующихъ въ свидѣтели. — Ты грамотный невѣжа! Тебѣ, о немъ судить?!

— Въ чемъ же заслуга Шекспира?

— Въ чемъ заслуга? — Игнатій Карловичъ нѣсколько секундъ раскачивается, жуетъ, издавая мычаніеобразные звуки, сосредоточенно и безсмысленно пяля глаза въ одну точку. — Въ чемъ заслуга, въ чемъ заслуга? — повторяетъ онъ много разъ. Такъ часовое колесо, у котораго согнулись зубцы, кружитъ само, не вращая механизма стрѣлокъ. — Въ чемъ заслуга? — вскрикиваетъ онъ, наконецъ, сознательно. — Шекспиръ — первый и единственный выявилъ безмѣрную связь человѣка съ окружающей его природой.

— Старо. А ну, прочти изъ Гамлета!?

— «Быть или не быть»... — начинаетъ Игнатій

Карловичъ, дѣлая рукой движеніе, долженствующее обозначать тяжкое раздуміе.

— Нѣтъ, по-англійски, по-британски.

Онъ декламируетъ. Заунывно, протяжно, речитативомъ, шепелявя, картавя, глотая и пуская пузырьки. Время отъ времени онъ вскидываетъ руку и подверткой вытираетъ обильно текущія изо рта слюни.

— Слюнтяй! Утрись! — рычитъ Шелеховъ. — Ты весь измазанъ.

— Измазанъ? — удивляется тотъ, быстро, нѣсколько разъ проводя пятерней по губамъ. — Измазанъ? Англійская литература величайшая во всемъ мірѣ.

— Какая вторая? — торопитъ Шелоховъ.

— Французская.

— Кретинъ.

— Они могутъ насчитать наибольшее количество большихъ мастеровъ!

— А русская?

Машетъ рукой Игнатій Карловичъ. Онъ ненавидитъ Россію той особенной жалостливой ненавистью, недоумѣвающей злобой, какую можетъ внушить, кажется, только одна Россія.

— Развѣ я могу уважать женщину, которая отдается каждому проходимцу? — восклицаетъ онъ, весь озаряясь своей безпомощной, мудрой улыбкой. — Что? Какъ ты можешь требовать??! — такъ отвѣчаетъ онъ обычно на упоминаніе о Россіи.

Изъ его словъ яствовало, что если-бы Петру I не привезли преподавателя — Лефорта... не участвовать бы Россіи по сей день въ сознательной жизни планеты; если-бы тотъ-же Петръ не купилъ за бочку рома чернаго арапченка во время одного изъ походовъ... не было бы Пушкина — родоначальника всей литературы; случись, чтобы Ленина не заразила проститут-

ка сифилисомъ, — не бывать бы большевистскому перевороту. «Что ты смѣешься?»

—Нѣтъ. Страна, гдѣ большевики удержались; гдѣ Николай ничтожный могъ процарствовать двадцать два года?! Она достойна только презрѣнья! — кончалъ онъ.

— Ты сукинъ сынъ и нѣмецъ, — отзывался добродушно Шелеховъ: гнѣваться на него нельзя было.

Мѣняя университеты чаще чѣмъ носки, Игнатій Карловичъ въ свое время встрѣчался заграницей со многими героями русскаго Октября. Онъ любилъ объ этомъ вспоминать. Ленина онъ увидѣлъ на собраніи, посвященномъ Толстому. Онъ доказывалъ, что Толстой не зналъ грамматики.

— Я только взглянулъ на него... и сразу что-то почуялъ. У него былъ страшный черепъ.

— Что-же ты почуялъ?

—Зловѣщій ужасъ. Зловѣщій, — радостно повторяетъ Игнатій Карловичъ, довольный, что нашелъ нужное слово. — Зловѣщее предчувствіе объяло меня.

(Онъ мнилъ себя провидцемъ, «волхвомъ». Описывая пальцемъ паутинообразные круги, онъ настойчиво вглядывался, увѣряя, что можетъ загипнотизировать. Или, насупившись, изрекалъ истины какъ пиѳія:

— Читаю твой жребій на бренномъ челѣ, въ Польшѣ будетъ монархія... Пьешь пиво, гляди криво; пьешь водку, закрой глотку... Человѣкъ съ характеромъ ходитъ пѣшкомъ; человѣкъ по привычкѣ ѣздитъ на бричкѣ).

Луначарскаго онъ считалъ образованнымъ человѣкомъ. Вдругъ заговоритъ о немъ:

— Не умный человѣкъ, но съ большой культурой.

Другого довольно виднаго коммуниста называлъ воромъ: приходилъ въ гости къ студентамъ и таскалъ что можно было.

— Словишь! А онъ не моргаетъ бровью: пошутилъ... заявляетъ. Такъ многихъ обокралъ. Мы его звали: Крадекъ.

Вралъ ли онъ? Нѣтъ. Но по довѣрчивости своей — могъ легко быть введенъ въ заблужденіе. Такъ Шелеховъ, разсказавъ о краѣ, гдѣ онъ родился — Закаспійскій край — и видя то радостное изумленье, съ которымъ Игнатій Карловичъ слушаетъ, началъ привирать. Даже по неволѣ, какъ-то, изъ деликатности. Спроситъ тотъ:

— А мясо людское ѣдалъ твой дѣдъ?

— Какъ-же. Какъ-же, — поспѣшитъ Шелеховъ. — Однажды цѣлую экспедицію археологическую зажарилъ.

— Не можетъ быть? — радуется Игнатій Карловичъ.

— Именно! Рѣшилъ, что это чиновники понаѣхали! Зарубилъ.

— Ха-ха. А мать ?

— Мать уже институтъ кончала, — разсказывалъ Шелеховъ. — Она мнѣ говорила, что еврейскіе мальчики рождаются слѣпые и чтобы прозрѣть имъ необходимо капнуть на глаза христіанской кровью.

— Это вѣрно. Это вѣрно, — захлебывается Игнатій Карловичъ.

— Что вѣрно?

— Что она тебѣ это говорила!

— Почемъ ты знаешь? — недовольно хмурился Шелеховъ.

— Чувствуется. Это чувствуется, — объяснялъ ему тотчасъ же Игнатій Карловичъ: — Какъ большевики продолжаютъ линію Романовыхъ, такъ ты подсознательно продолжаешь линію своей матери...

— За то, что выгнали антанту, спасибо! — такъ парировалъ обычно сей ударъ Шелеховъ. Это самое отвѣтилъ онъ и сейчасъ, заспоривъ, разумѣется, по пути съ Игнатіемъ Карловичемъ:

— За то, что выгнали союзниковъ, спасибо! — поклонился злорадно Шелеховъ витринѣ цвѣточнаго магазина. — Посидимъ немного на скамейкѣ, — предложилъ онъ, сворачивая къ скверу.

— Посидимъ! Въ васъ нѣтъ отваги духа. Россія нѣсколько разъ покорялась варварамъ; о, если-бы она разъ дала себя завоевать европейской націи! — предлагалъ Игнатій Карловичъ. — Какъ ты смѣешь?!

— Еще не ударилъ, но могу.

— Интеллигенція никогда не была патріотична.

— А теперь становится.

— Когда бы вверхъ могла поднять ты рыло... — мурлыкалъ Игнатій Карловичъ, отодвигаясь. — Пойми! Когда бы Римъ не завоевалъ невѣжественной Галліи: не было бы культурной Франціи. Вотъ! Антанта бы провела въ Россіи телефоны. Духовые оркестры играли бы, по воскресеньямъ на бульварахъ, Вагнера. Харчевни бы превратились въ школы.

Игнатій Карловичъ занимался политикой, — замысловато! Хитро!

— Только одинъ народъ можетъ уничтожить большевиковъ! — возглашалъ онъ, сидя въ скверѣ. — Если бы Великобританія отдала Германіи Польшу... Гинденбургъ въ два мѣсяца очистилъ бы Россію отъ коммунистовъ. Только нѣмцы!

— Чхать намъ на нихъ!

— Японцы это ерунда, — продолжалъ Игнатій Карловичъ. — Даже, если они выиграютъ войну съ Америкой. Китай. Вотъ кто будетъ владѣть землей! Онъ! Это самый интеллигентный народъ.

Въ саду, гдѣ они присѣли, въ эти часы отдыхали сутенеры; дремали безработные; женщины, съ испитыми лицами, безцѣльно смотрѣли передъ собой, — на лѣтнія дорожки, стоптанные башмаки, окурки папиросъ.

Румяный, мясистый мужчина, на деревяшкѣ, прошелъ мимо, стуча по камнямъ костылемъ.

— Откатишься ты отъ меня? — угрожающе спрашивалъ онъ слѣдовавшую за нимъ бабу. — Такія какъ ты за полтиникъ идутъ.

— Да, за полтиникъ, — неувѣренно обижалась та.

— Мамка, дай карамельку! — крикнула она издали Игнатію Карловичу.

— Вставай! Уйдемъ! — торопливо вскочилъ Шелеховъ. — Идемъ, — тащилъ онъ за шиворотъ Игнатія Карловича, роющагося въ своихъ карманахъ.

И увелъ его отъ опасности подальше.

Его знали всѣ проститутки, фланирующія въ теченіе дня по скверамъ, паркамъ, бульварамъ.

Игнатій Карловичъ, разумѣется, бросался всѣмъ въ глаза; онъ былъ жителемъ уличныхъ скамеекъ. Къ тому же онъ хаживалъ на пляжъ, гдѣ обмотавшись пестрымъ шарфомъ — «дорогимъ, но старомоднымъ» — торчалъ развалившись всѣмъ своимъ страннымъ, волосатымъ тѣломъ, похожій на обрубокъ. Или, стоя по икры въ водѣ, съ пенснэ, криво сидящимъ на носу, отдувался, озирался и жевалъ, уподобляясь скорѣе бегемоту, носорогу, или — еще лучше — какому нибудь давно исчезнувшему, нелѣпому сейчасъ, доледниковаго періода звѣрю, чѣмъ человѣку.

Его окружали толпы; ходили съ визгомъ за нимъ по пятамъ; щупали, дергали, тормошили. Ему это импонировало; можетъ быть, это ему возмѣщало неиспытанную — необходимую душѣ — безкорыстную, женскую ласку.

Даже на улицахъ къ нему приставали. Когда онъ, хромая, сѣменилъ со страннымъ котелкомъ на головѣ, часто присаживаясь на лавочки; то и дѣло доставая изъ кармановъ разную снѣдь; жуя, облокачиваясь — читая англійскій журналъ.

Ѣлъ онъ неимовѣрно много; почти всегда. По причинѣ ли расширеннаго желудка или зубовъ, но онъ былъ вегетарьянцемъ. Зналъ адреса всякихъ чайныхъ, закусочныхъ, гдѣ продавались особенныя, дешевыя блюда. Выхлебаетъ въ одномъ концѣ города судокъ простокваши съ картофелемъ и затруситъ на другой конецъ города — ѣздилъ онъ, только отправляясь къ должникамъ — гдѣ даютъ за четвертакъ вазу салата, только немного подгнившаго; потомъ возвратится въ столовку, гдѣ ѣстъ десертъ, чай и бутерброды. Въ промежуткахъ по пути онъ уплеталъ апельсины, луковицы, или яблоки, — только чуть-чуть тронутые плѣсенью, грибкомъ, мхомъ, — либо же сосалъ шоколадныя лепешки. Извлекалъ ихъ изъ своихъ торбъ-кармановъ слипшимися; согрѣвалъ, — какъ только могъ! — потомъ останавливался, нагибался къ ладони, на которой покоился леденецъ, обнималъ губами и, рѣзко откинувшись назадъ, сразу глоталъ, — не кусая, какъ устрицъ. Доставалъ изъ другого кармана флакончикъ съ мутной смѣсью, набиралъ въ ротъ и полоскалъ: дезинфекція зубовъ, предохраненіе. По добросовѣстности своей онъ сплевывалъ не на тротуаръ, а на подвертку руки, смахивая это затѣмъ на землю.

Проститутки съ гикомъ его обступали, развлекаясь, забавляясь имъ. Требовали конфектъ; хлопали по утробѣ, по плечамъ, сдирали котелокъ. Онъ отбивался, рѣжуще посмѣиваясь.

— Мы тебя любимъ. Идемъ, глупенькій. Мы тебя любимъ, — капризно тянули онѣ Игнатія Карловича.

Часто это кончалось грустно. Шутливо полуизбитый, съ разбитымъ пенснэ, онъ обращался въ бѣгство. Постыдно, неумѣло передвигаясь своимъ неповоротливымъ туловищемъ. Иногда его спасали прохожіе.

Поэтому Шелеховъ такъ поспѣшно его увелъ:

стоило только сбѣжаться двумъ-тремъ дѣвкамъ, какъ скандала уже не миновать.

— Постой! Не бѣги! — кричалъ Игнатій Карловичъ, припрыгивая рядомъ съ Шелеховымъ. Его огромное брюхо тряслось какъ щеки дебелой женщины.

— Не спѣши такъ. Вотъ тебѣ шоколадка. Чистая! — возмущенно увѣрялъ онъ въ отвѣтъ на брезгливое движеніе своего спутника.

— Есть Богъ? — довѣрчиво обернулся къ нему Шелеховъ. — Ты вѣришь въ Бога?

— Ахъ, оставь меня въ покоѣ съ твоими глупыми вопросами! — забрюзжалъ онъ, зигзагомъ отклоняясь къ стѣнѣ.

— Скажи, если Бога нѣтъ, то какъ же начался міръ?!

— Онъ не начался! — досадливо отмахнулся Игнатій Карловичъ. — Это только такіе невѣжественные люди, какъ ты, полагаютъ необходимымъ начало. У васъ нѣтъ интуиціи пустого времени. Онъ всегда былъ. Нѣтъ начала.

— Какъ же устроился, измѣнялся?

— Человѣкъ — это пространство, помноженное на время! Пространство, помноженное на время.

— Хорошо. Оставимъ это, — поспѣшно заговорилъ Шелеховъ. — Скажи мнѣ о смерти! Если я умру, то зачѣмъ мнѣ все! — онъ сдѣлалъ неопредѣленный жестъ кругомъ себя.

— Смерти нѣтъ, — спокойно объяснилъ Игнатій Карловичъ. — Вѣрнѣе, у насъ о ней превратное представленіе. Вотъ я живу, но я полутрупъ, развалина...

— Это вѣрно.

— Клѣтки нашего организма безпрестанно отмираютъ, начиная съ младенчества; зубы крошатся. Смерть начинается гораздо раньше, чѣмъ мы думаемъ, и кончается много позже, чѣмъ мы въ состояніи

предположить. Смерть это безконечная граница, къ которой вѣчно стремится человѣкъ, никогда не обрѣтая ея.

— Что же есть?

— Время. Время дуетъ въ наши паруса.

— Какъ же жить? — съ интересомъ спросилъ Шелеховъ.

— Звѣздное небо надъ нами и нравственный законъ въ насъ... Вотъ, это Кантъ правильно сказалъ, — гласилъ обычный отвѣтъ.

Шелеховъ безнадежно махнулъ рукой.

— Христосъ? — спросилъ онъ свирѣпо.

— Христосъ? Христосъ? — нѣсколько разъ промычалъ Игнатій Карловичъ. — Христосъ? — Потомъ напыщенно махнулъ рукой. — Два бича поразили человѣчество: христіанство и соціализмъ... оба желаютъ ему спасенья, блаженства: оба дарятъ страданья. Они задержали нашу культуру на тысячелѣлѣтія.

— Что-же есть? — замолилъ Шелеховъ.

На этотъ вопросъ Игнатій Карловичъ отвѣчалъ по разному:

— То, что непосредственно насъ касается... — либо:

— Надо уменьшить боль людей... — Также:

—Я фашистъ!

Впрочемъ, фашизмъ его привлекалъ главнымъ образомъ обѣщаніемъ вернуть ему ограбленное, крупное имущество; и былъ скорѣе протестомъ. Вызовомъ. Местью.

Не скоро они добрались до столовки. Наконецъ, осталось только пересѣчь улицу. Игнатій Карловичъ началъ принимать обычныя мѣры предосторожности.

— Иди впередъ, — сказалъ онъ Шелехову. — Я съ тобой не могу.

Ошибочно, наивно думать, что перебѣжать улицу, — легко и просто... Нѣтъ. Игнатій Карловичъ на-

двигаетъ шляпу по самыя брови, запахивается, пріосанивается; дѣлаетъ шагъ на панель... возвращается. Онъ выжидаетъ моментъ, когда вся мостовая будетъ пустынна: обѣ стороны, далеко. Озирается, какъ журавль на мели: справа налѣво, слѣво направо. Издали движется автомобиль, правда, это далеко, но не подождать ли лучшей оказіи. Игнатій Карловичъ топчется нерѣшительно въ канавѣ. Въ его глазахъ нѣтъ ни капли увѣренности, что эта авантюра благополучно кончится. Вдругъ, — пропустивъ лучшее время! — въ послѣднюю минуту, онъ камнемъ срывается съ мѣста и кубаремъ катится, — у самаго передка рокочущей машины, на другую сторону, отчаянно размахивая локтями, съ развѣвающимися полами пальто.

— Смотри, — кричитъ онъ, запыхаясь. — Вотъ эту ключицу мнѣ въ прошломъ году сломали. Лучшій хирургъ гипсовалъ!

— Не только ключицу, но и голову тебѣ свернутъ, при такой системѣ, — предупредилъ его Шелеховъ. — Обязательно. Ну и придумалъ.

Они скрылись въ подворотнѣ.

Сторожа Евгенія не легко было найти. Въ каникулярное время кухмистерская была закрыта. Курьеръ съ собутыльниками — ютился въ своей дальней клѣтушкѣ. Даже условный стукъ долго не помогалъ. Наконецъ ихъ впустили.

То была продолговатая комната съ голыми стѣнами, черными какъ бы отъ дыма; середину ея занималъ дервянныѣ столъ, на лакѣ котораго выжгли узоры пролитыя жидкости. На немъ стояло — лежало — нѣсколько бутылокъ вина, пива, водки, два пятнистыхъ стакана, нарѣзанный ломтями хлѣбъ, квашенная капуста; щетка отъ ботинокъ, коробка изъ подъ ваксы, въ которой была горсть зернистой соли; окурки и спички безъ коробокъ мокли рядомъ. Съ одной стороны столъ упирался въ желѣзную кровать. Жут-

кое то было ложе. На немъ томились простыня и подушка безъ наволочки. Въ этой постели, прикрывшись пальто, Евгеній спалъ, не раздѣваясь въ теченіе долгихъ мѣсяцевъ. Его носки промаслились, навощились — плотно обхватывая ноги, какъ каучукъ; тѣло его одного цвѣта съ бѣльемъ. Здѣсь почивалъ Евгеній. Однако: не одинъ. Казалось, страшно растянуться на этомъ ложѣ. Между тѣмъ женщины — полупроститутки, кухарки, судомойки — сюда приходили украшать свою жизнь. Безкорыстно; человѣческое сердце. Евгеній, — издающій запахъ: не повторяемый букетъ голландскаго сыра и коровьяго помета — Евгеній, бывшій сутенеръ, мужественно красивъ: смуглый, съ горячимъ притрагивающимся взглядомъ; съ черными, какъ воронье крыло, волосами... онъ нравился этимъ жалкимъ существамъ. Его лицо было для нихъ отзвукомъ недоступнаго міра. Впрочемъ, иныя и элегантныя дамы, встрѣчая его на улицѣ, бросали тотъ взглядъ, который подкрѣплялъ въ Евгеніи основной взглядъ его міросозерцанія:

— Всѣ стервы, — сплевывалъ онъ убѣжденно и радостно.

Женщины попроще его преслѣдовали.

— Не люблю ихъ, — разсказывалъ онъ Шелехову. — Послѣ, даже смотрѣть на нее не могу. — Онъ растопыривалъ руки, выкатывалъ глаза, будто видѣлъ что-то отвратительное. — Мясо. Дышущее мясо. Гоню, а не уходитъ! Пока не возьмешь за волосы, не заставишь наглотаться дряни: не отстанетъ!

— Честному дуэту привѣтъ, — поздоровался Шелеховъ, входя. — По какому поводу выпивка?

Оказалось, что Евгеній справляетъ тризну по своему братишкѣ; угощаетъ инженера Пащева.

— Убили; гдѣ Богъ? — удовлетворенно повторялъ онъ. — Они нападаютъ съ ножами, кричатъ: отдавайте деньги! Леня стоитъ въ сторонкѣ, не играетъ; видитъ, дѣло до ножа дошло, ввязывается, ста-

новится межъ ними, разнимаетъ, защищаетъ, значитъ, другихъ грудью. Разъ, разъ, ножемъ его. Не дыхнулъ. За что? Разъ, разъ... — Евгенiй показываетъ руками, будто колетъ. — Готово, можно хоронить! — отпиваетъ изъ стакана.

Онъ наливаетъ водку въ толстый стаканъ, покрытый съ низу до верху холоднымъ слоемъ жира, на которомъ отпечатались рѣшетчатые кружки многочисленныхъ пальцевъ. Придвигаетъ къ Шелехову:

— Пейте, — и — затягиваетъ безграмотную пѣсенку.

«Докторъ руки умывалъ,
Римъ-тимъ-тимъ-тимъ-тимъ.
А потомъ менѣ сказалъ:
Римъ, тимъ, тимъ, тимъ, тимъ»...

— Вы почему выступили изъ цеха сутенеровъ? — вѣжливо спрашиваетъ Игнатiй Карловичъ.

— Временно это, — объясняетъ Евгенiй... — Грѣхъ вышелъ. Проживала на одной лѣстницѣ со мной дѣвченка. Ну я ее пристроилъ. Тутъ же, на подоконикѣ. Потомъ: «Такъ и такъ, беремена! Женишься?...» «Я? Ннѣтъ! Нѣтъ, миленькая!» Пошла замужъ къ одному халую. Бывало, встрѣтишь на лѣстницѣ, возьмешь за подбородокъ: млѣетъ. «Пусти!»—силится. Не забудетъ дѣвка перваго! Никогда! Сболтнула она, однако, мужу обо всемъ. Устроили засаду. Въ ножи. Билъ я ихъ здорово. — Евгенiй останавливается и машетъ нѣсколько минутъ длинными, гнущимися какъ бы безъ костей, ручищами. Мотаетъ головой. Изгибается. Притоптываетъ каблуками; внезапно выпрямляется; шатается будто отъ чьего то удара; потомъ снова пронзаетъ воздухъ своей гибкой, тяжелой кистью... — Засимъ, говорю, — продолжаетъ онъ. — Сейчасъ я васъ крошу оптомъ, а встрѣчу, почешу въ розницу.

Нѣсколько недѣль отлеживался онъ въ больницѣ. Выписавшись, рѣшилъ на время выйти въ тиражъ.

— А много работы сутенеру? — интересуется Игнатій Карловичъ. Онъ очень любитъ такія повѣствованія. Какъ всякій импотентъ, онъ старается возмѣстить свои лишенія нарочитой грубостью, циничностью. Любитъ хвастать своей былинной мужской выдержкой, придумывая кощунственныя, по разнузданности, положенія, героемъ коихъ былъ будто-бы онъ. Завирался наивно и строптиво. — Я бы хотѣлъ стать котомъ! — упрямо заявляетъ онъ.

— Ха-ха-ха, — смѣется Евгеній мелькомъ.

— Хо-хо-хо, — посмѣивается инженеръ Пащевъ, котораго они застали у курьера.

— Что вы смѣетесь? Какъ вы смѣете?

— Если въ ледянной водѣ... — захлебывается инженеръ. — Собственно, это единственное положеніе тебѣ благопріятствующее. Хо-хо-хо!.. Въ ледяной водѣ, вѣрю.

— Хэ-хэ-хэ, — посмѣивается Игнатій Карловичъ полупольщенно. — Трудно быть котомъ? Я не смогу?

— Не легко, — сознался тотчасъ Евгеній. — Пріѣхали мы, встрѣтили насъ вилами. Ихніе кобели сиживали цѣлыми сутками за пивомъ; играли въ бриджъ. Картузъ, шарфъ - апашъ! Жестоко дрались. Мы, русскіе, плевать хотѣли на ихъ обычаи: одѣвались по обычному. Галстукъ, шляпа. И что думаете, вытѣснили. И одѣваться по нашему стали. Нынче «апаши» только для показа: гримъ. Сдружились съ ними. А раньше жестоко грѣшили.

— А какъ съ Миной? — спрашиваетъ Шелеховъ чтобы перемѣнить разговоръ и отпиваетъ изъ стакана.

— Кончено, — отвѣчаетъ Евгеній. — Я спрашиваю: «Что такое? Молчишь всегда? Дуешься? Можетъ, не нравлюсь тебѣ? Можетъ, другого хочешь? Я перестану ухаживать... Разъ на любовь пошло».

Она молчитъ. Говорю: «дай губки». Все молчитъ. Ну такое дѣло, до свиданья, значитъ, прощайте. Скучаетъ человѣкъ, что-жъ я приставать буду.

— Вѣдь вы ее любите. Такое можетъ спасти человѣка! Вознести душу! — настаиваетъ Шелеховъ. — Она честная.

— Дуракъ, — раскачивается Игнатій Карловичъ, довольно оглядываясь, какъ-бы приглашая всѣхъ во свидѣтели. — Ты ограниченный обыватель.

— Ну, ихъ любить, — жалобно протянулъ Евгеній. Онъ плескаетъ въ стаканъ желтоватую водку и, весь скривившись, какъ бы содрогаясь отъ противнаго зрѣлища, глотаетъ ее. — Ихъ надо поменьше любить, — переводитъ онъ духъ. — Поменьше. Тогда вѣшаются на шею. За что? За то, что давнулъ сразу. Всѣ стервы. А церемонишься, пиши пропало. Въ кровати же: мясо. Дышущее мясо.

— Хэ-хэ-хэ, — ухмыльнулся инженеръ Пащевъ.

— Старикъ, — бойко и капризно ввязывается Игнатій Карловичъ. — Старикъ, что ты смѣешься, нечистая сила.

— Я сегодня гнался за интересной дичью, — сосредоточенно замѣчаетъ инженеръ.

— Старикъ, а разскажи, какіе ты инструменты носишь? — проситъ Игнатій Карловичъ, раскачиваясь на потрескивающемъ стулѣ.

Лысый, поджарый инженеръ съ острымъ носомъ, какъ у борзой собаки, и съ блудливо бѣгающими глазами подъ круглыми стеклами очковъ, — началъ извлекать изъ бокового кармана разнообразныя приспособленія: большой толстый шприцъ; вату, нѣсколько пузырьковъ, баночекъ, конвертиковъ.

— Тутъ спиртъ, здѣсь пермаганцевый калій, — объяснялъ онъ. — Вотъ глицеринъ, тамъ резинки. Вотъ поясъ придумалъ, — встряхнулъ онъ широкой лоснящейся полоской клеенки. — Надѣваю на себя и не пачкаюсь. Вскрикиваетъ отъ холода. Смѣхъ.

—Ха-ха-ха, — лаетъ Евгеній.

— Хо-хо-хо, — вторитъ Игнатій Карловичъ, воодушевленно улыбаясь: онъ радъ, какъ ребенокъ, что присутствуетъ при такомъ разговорѣ.

— И вамъ не жалко ее? — замѣчаетъ Шелеховъ. — Пусть она падшая, но все же?..

— Мой молодой, но прекрасный другъ, — отвѣчаетъ Пащевъ серьезно. — Судьба ихъ во истину плачевна, но повѣрьте, что въ стократъ достойны жалости тѣ, кто съ ними связываются.

— Старикъ. Нечистый духъ, — раскачивается Игнатій Карловичъ.

Шелеховъ отозвалъ Евгенія въ сторону и зашептался съ нимъ. Пока онъ передавалъ порученіе Прониныхъ, Пащевъ разсказывалъ о другомъ своемъ изобрѣтеніи: «нѣсколько шансонетокъ заразъ ему не по карману, а необходимо»!.. Онъ уставилъ на полу три большихъ зеркала. Располагался съ ней на коврѣ.

— Со всѣхъ сторонъ окруженъ голыми, сплетающимися тѣлами. Гаремъ. Ха-ха-ха.

— Хо-хо-хо, — вторитъ Игнатій Карловичъ.

Пащева, собственно, только называли инженеромъ. Онъ былъ еще студентомъ. Талантливый, способный, ассистентъ извѣстнаго физика; авторъ нѣсколькихъ брошюръ, — онъ внезапно записался на медицинскій факультетъ, усердно работалъ, мечтая о двухъ дипломахъ.

— Мнѣ такіе горизонты откроются, что цивилизованный міръ только ахнетъ! — увѣрялъ онъ.

Женщинами онъ началъ заниматься очень рано. Сходило. Но постепенно превратилось въ болѣзнь. Навязчивая идея развращенія. И здоровье какъ-то сразу поддалось, пошатнулось. Сухой, желтый, лысый, съ жестокой, разслабленной, похотливой улыбкой, онъ, гдѣ бы ни находился, о чемъ бы ни говорили, умѣлъ въ той или иной формѣ свести рѣчь на эти знакомыя торы. Однако, онъ не бывалъ цини-

ченъ. Это тѣмъ болѣе странно, что говорилъ онъ о женщинѣ много — собственно, о двухъ, трехъ частяхъ ея — и съ той зловонной обнаженностью, которая даже у Евгенія вызывала стыдливую улыбку. Но толковалъ Пащевъ объ этомъ предметѣ какъ-то очень сухо, точно, дѣловито, безъ смакованія, — такъ малоспособный доцентъ читаетъ свой курсъ... Цинизмъ тоже требуетъ вдохновенія. Сейчасъ онъ работалъ надъ фантастическимъ трактатомъ: варіаціи на ту же тему. Заглавіе: «Фигуры Любви».

— Шестьдесятъ четыре, — сообщилъ онъ какъ-то друзьямъ.

— Но? — ахнулъ Евгеній. — Больше сорока не знаю.

— А какія? — спрашивалъ Пащевъ. Какъ поэты — былины, археологи — древности, филологи — сказки, такъ инженеръ собиралъ порнографическій матерьялъ у всѣхъ національностей, классовъ, возрастовъ, все для своего сочиненія. Его фантазія: точная, жестокая, распущенная — полового маніака — усердно дополняла пробѣлы. — Какія? — настаивалъ онъ.

Евгеній объяснялъ. Молотя своими цѣпкими, длинными, мягкими, растопыренными, какъ грабли, ручищами, онъ наглядно представлялъ, помогая себѣ разными тѣлодвиженіями. Его лицо то нѣжное, то разъяренное, изступленное, — отражало всѣ жуткіе образы, развертываемые имъ.

Инженеръ одобрительно качалъ головой. Это былъ Пащевъ.

— Наконецъ-то,—вскричалъ Евгеній, когда услышалъ, что Ивановъ арестованъ. — Скучаетъ о немъ веревочка, — и сталъ вытирать глаза. Онъ заплакалъ!

Помочь легко. Ежели деньги обѣщаютъ. Онъ уже побѣжитъ, уладитъ дѣло. Нѣтъ, онъ въ полицію не пойдетъ. Къ женѣ. Къ женѣ Иванова.

— Ивановъ не холостъ?

— Какъ же, — сказалъ Евгеній.— Черезъ нее онъ уже разъ попалъ въ кутузку.

Тѣмъ временемъ пришли новые пріятели. Многочисленная компанія. Принесли вино.

Оставивъ помѣщеніе «подъ честное слово», Евгеній нанизалъ на ноги цвѣта горчицы бурыя туфли и скрылся.

Художника Исаина инженеръ встрѣтилъ встревоженными воплями:

— Принесъ? Принесъ?

Исаинъ долженъ былъ иллюстрировать его трактатъ.

Онъ принесъ наброски. Да. Онъ думалъ издать ихъ отдѣльно: альбомъ. Но, можетъ, это дастъ больше барыша съ текстомъ Пащева. Вотъ.

Эскизы назывались «Флаги». Всѣ страны, всѣ племена въ немъ были представлены. Это былъ сложный, талантливый трудъ. Въ автоматическомъ, стаднομъ, однообразномъ актѣ, — Исаинъ поставилъ себѣ цѣлью выявить національныя черточки. Пожалуйста.

На страницѣ, гдѣ рѣяли британскіе львы, лежалъ матросъ; на немъ подъ острымъ угломъ покоилась женщина. Одной рукой матросъ ее прижимаетъ къ себѣ; въ другой держитъ брегетъ. Его лицо сладострастно поддергивается, но глаза, но большіе бѣлки зорко и озабоченно слѣдятъ за стрѣлкой часовъ. Нѣтъ, онъ не забылъ. Онъ поспѣетъ на крейсеръ къ свистку. Женщина со страхомъ и любопытствомъ слѣдитъ за нимъ.

Нѣмецкій флагъ. Дородный господинъ въ костюмѣ туриста припалъ къ мясистой, голой, спинѣ. Онъ держится одной рукой за спинку кровати. Видно его лицо съ глазами на выкатѣ и съ ровнымъ частоколомъ крупныхъ, бѣлыхъ зубовъ, вцѣпившихся въ пухлый бутербродъ, покрытый ломтями ветчины.

Элегантный офицеръ въ итальянской формѣ лег-

кимъ движеніемъ взбросилъ вверхъ маленькую женщину; улыбаясь, медленно, онъ подноситъ ея блестящія ягодицы къ своимъ раскрытымъ, алымъ губамъ, обрамленнымъ пушистымъ усомъ.

Русскій флагъ: сине-бѣло-красная лента съ махровыми пятнами серпа и молота. Голый, горилообразный старикъ съ апостольской бородой сидитъ на корточкахъ въ углу большой постели. Его шишковатый лобъ поникъ въ глубокой задумчивости, опираясь о костлявую руку; глаза горятъ мрачно и страдальчески. Въ другомъ углу хилая женщина испуганно тянетъ къ себѣ изодранную подушку, стараясь прикрыть свою наготу... Исцарапанная, окровавленная, заплаканная, съ синяками по всему тѣлу! Кровать смята, скомкана, разворочена: полемъ какой ожесточенной борьбы она была! На желтоватой шеѣ мужчины болтается бурый крестъ.

— Это очень жутко, — проговорилъ Шелеховъ, отрываясь. — У васъ талантъ. Но зачѣмъ вы связали себя съ этой падалью? — онъ кивнулъ на Пащева. (Тотъ хихикнулъ).

— Это не имѣетъ значенья, — отозвался Исаинъ, приближая свое уродливое, залитое потомъ, лицо: красное съ торчащими, какъ у лошади, ушами, съ выползающими изъ орбитъ глазищами; и острый, покрытый гусиной кожей, подбородокъ.

Онъ страдаетъ базедовой болѣзнью и когда ему говорятъ, что алкоголь вреденъ, отвѣчаетъ:

— Это не имѣетъ значенья.

Пришелъ также подающій надежды поэтъ Келицынъ. Принесъ бутылку коньяку. Бездѣльникъ, паразитъ, онъ всю свою жизнь ухитрялся прожить за чужой счетъ. Питая органическое отвращеніе ко всякому труду, къ малѣйшему усилью, онъ, однако, направляясь со знакомымъ въ гости, съ готовностью предлагалъ:—Дай, я понесу... и несъ заблаговременно припасенное товарищемъ вино; бережно, стара-

тельно. А потомъ ставилъ его на гостепріимный столъ, ничего не говоря, но съ такимъ ухарскимъ видомъ, что только ближайшіе пріятели могли догадаться, что скромно слѣдующій за нимъ Граціанецъ платилъ за напитокъ.

Разлили коньякъ. Игнатій Карловичъ съ восхищеніемъ разсказывалъ, какъ онъ въ Германіи пивалъ за мѣдяки лучшихъ марокъ вина.

— Изъ автомата, — радостно потиралъ онъ лысину.

Келицынъ всячески уговаривалъ хохла Савича купить ему на толкучкѣ поддержанныя туфли.

— За пятерку нельзя достать, — усовѣщевалъ его Савичъ.

— Иногда случается! — упрашивалъ поэтъ. — Если чуточку дороже: выложишь! Возьми! — всучичилъ онъ ему ассигнацію.

— Зачѣмъ Богъ? — воодушевленно доказывалъ Исаинъ. — Даже если-бъ Онъ былъ, Его существованіе слѣдуетъ отрицать.

— А я могу васъ убѣдить, какъ дважды два, — озорничалъ Савичъ.

— Это можно, — тихо замѣтилъ Изотовъ, не произнесшій еще ни слова.

— Вы слишкомъ легкомысленно относитесь къ нашему положенію, если полагаете, что этотъ вопросъ можно разрѣшить, — ввязался Граціанецъ.

— Истина въ полуистинѣ, — сказалъ Шелеховъ.

—Знаете, что! — предложилъ вдругъ Изотовъ. — Шахматы свидѣтельствуютъ о нѣкоей силѣ ума. Вотъ сыграемъ партію. Я съ вами, художникъ. Кто выиграетъ, значитъ, мозги того имѣютъ больше шансовъ на правильное рѣшеніе.

— Хорошо! — радостно согласился Исаинъ: онъ обожалъ эту забаву.

Начали разставлять фигуры. Изотовъ на минуту

скрылся: побѣжалъ въ уборную. Увы, она оказалась запертой.

— Чортъ! — ругался онъ, дергая запертую дверь. Потомъ заглянулъ въ залъ, ища помощи. Зимой тамъ ровными рядами тѣснились зеленые обѣденные столики—сейчасъ пусто. Его взглядъ остановился на черномъ лакѣ концертнаго рояля, стоящаго въ углу. Забѣжалъ съ боку и, стараясь не шумѣть, вымочился на рѣзную ножку инструмента.

— Начнемъ! — крикнулъ онъ, на ходу застегиваясь. — Я, значитъ, ставлю безсмертіе души.

— У меня ничего такого нѣтъ, — беззаботно отвѣтилъ Исаинъ, подравнивая фигуры. — Могу поставить десятку!

— Вы матеріалисты, — убѣждалъ Саввичъ Граціанца. — Безъ вѣры въ Бога у васъ пропадетъ все святое.

— И вовсе я не матеріалистъ, — страдальчески отбивался Граціанецъ.

— Вы эгоисты! Денежки всѣ любите. Золоту молитесь.

— Нѣтъ, я не эгоистъ! На золото я даже плевать не хочу.

— Вотъ вы все языкомъ треплете, а только къ дѣлу придетъ...

— Мнѣ денегъ не жалко, — отважно выкрикивалъ Граціанецъ. — Наплевать мнѣ, а въ Бога не вѣрю.

— Да? Докажите! Всѣ невѣрующіе скряги, ростовщики, черствѣютъ. Вотъ зачѣмъ Богъ нуженъ. Понятно?!

— Я въ Бога не вѣрю по убѣжденіямъ, — умоляюще оглядывалъ всѣхъ Граціанецъ. — А денегъ мнѣ не жалко. Могу тысячу вотъ бросить, чтобы доказать!

— А докажите. Вы только болтаете!

Граціанецъ отвернулся и, порывшись въ бумажникѣ, кинулъ на столъ пятисотенную бумажку.

— Пожалуйста! Мнѣ не жалко! Можете брать!

— Я возьму! — предупреждалъ Савичъ.

— И берите. Что-же! Деньги для меня соръ.

— Возьму, — зловѣще приближался Савичъ. Всѣ съ любопытствомъ слѣдили за ними.

— Берите! — грустно настаивалъ Грацiанецъ. — Это вы — ханжи, лицемѣры, шарлатаны. Мнѣ денегъ не жалко, только бы съ голода не околѣть.

— Въ послѣднiй разъ, уберете вы?—предложилъ Савичъ. — Помните: попросите, не верну! Никогда!

— Такъ я не прошу! — обидѣлся Грацiанецъ. — Только вы трусъ! Побоитесь взять, а то сами же предложите обратно! Извиняюсь, — сказалъ Грацiанецъ, толкнувъ его.

— Лучше дайте ихъ мнѣ! — просилъ поэтъ Келицынъ, прыгая вокругъ.

— Взялъ, — сказалъ Савичъ и сгребъ бумажку.

Отойдя къ играющимъ онъ тотчасъ-же сообщилъ, что у Исаина выиграть это — разъ - разъ!

Исаинъ обидѣлся:

— Я вамъ могу дать туру форъ и поставить кушъ! — сказалъ онъ.

— А съ турой форъ я берусь въ... — Савичъ запнулся немного, высчитывая. — Въ двадцать три хода сдѣлать матъ.

— А по сколько игра? — бросилъ вскользь Исаинъ. Савичъ назвалъ. — Идетъ! — браво продолжалъ онъ. — Изотовъ, мы съ вами въ другой разъ разрѣшимъ этотъ вопросъ. Пускай онъ даетъ матъ въ двадцать три хода!

— Тогда хоть пятерку отступного, — попросилъ Изотовъ.

Ему дали. Исаинъ и Савичъ уставились въ доску.

— Проиграешь,—страдальчески предварилъ его Келицынъ.

— Не твоя кручина, — отрѣзалъ малороссъ. — Что-жъ, твоей пятеркой и расплачусь.

— Дааа?! — заскулилъ поэтъ. — Ты не имѣешь права. У меня обуви нѣтъ.

— Ладно. Отстань.

Но Келицынъ вдругъ ужасно обезпокоился: а вдругъ и впрямь пропадутъ его выклянченныя гдѣ-то денежки. Сценка между Савичемъ и Граціанцемъ его очень взволновала.

— Послушай, — сказалъ онъ. — Я себѣ лучше самъ куплю ботинки. Буду какъ разъ тамъ, вотъ и куплю. Верни мнѣ, миленькій, кредитку.

—Отстань! — разсвирѣпѣлъ Савичъ. — Ты мнѣ мѣшаешь играть. Денегъ ты не получишь. Вотъ за твой характеръ. Вѣдь ты бы ихъ не возвратилъ?!

— Какъ это, не получу! — истерически вскричалъ поэтъ. — Какъ?

— А вотъ такъ.

— Онъ шутитъ, — усовѣщевалъ его Шелеховъ.

— Я хочу самъ купить. По моему вкусу, — объяснялъ перепуганный Келицынъ.

— Ты же сказалъ, что довѣряешь моему вкусу, — напомнилъ ему Савичъ ядовито.

— Я лучше подберу на свою ногу.

— Такъ у насъ одинъ размѣръ.

— Пятерки же мало. Не достать за пятерку! — упрашивалъ поэтъ.

— Можетъ подвернется. Немножко я могу выложить изъ своихъ, — ехидно повторилъ ему Савичъ.

— Къ чему тебѣ за меня выкладывать? — умолялъ поэтъ. — Развѣ я тебѣ родственникъ?! Я лучше самъ куплю!

— Отстань, винтъ!

— Я, значитъ, буду бить по мордѣ! — съ тоской развелъ Келицынъ руками.

— Бей, — сказалъ Савичъ, передвигая фигуру.

— Бей, бей, бей... — повторялъ Исаинъ, раздумывая надъ ходомъ.

— Выйдемъ, пожалуйста, — попросилъ поэтъ.

— Не мѣшай!

— Прошу тебя: выйдемъ внизъ, — заметался тотъ.

— Зачѣмъ я пойду? — изумился Савичъ.

— Я не могу тебя бить въ чужомъ домѣ, — грустно увѣдомилъ его Келицынъ. — Сойдемъ на улицу.

— Я сейчасъ занятъ, — отговорился Савичъ.

— Сыграемъ, можетъ, и мы? — предложилъ Шелеховъ, отворачиваясь отъ спорящихъ.

Игнатій Карловичъ когда-то игралъ превосходно. По крайней мѣрѣ, онъ такъ утверждаетъ. Сейчасъ хуже. Зубы подвели. Къ тому же ему становится скучно. Онъ всѣ возможности знаетъ, — нѣтъ интереса. Онъ могъ бы быть гроссмейстеромъ — при желаніи.

— Какой мнѣ интересъ съ тобой возиться... — цѣдитъ Игнатій Карловичъ. — Когда Каналль у меня проигрывалъ.

— Онъ Каналль, а ты каналья, — остритъ Шелеховъ. — Однако, ты мнѣ часто проигрываешь.

— Я тщательно подготавливаю пораженіе...

— Свое?

— Нѣтъ! Нѣтъ! Противника! — объясняетъ въ тысячный разъ Игнатій Карловичъ. — И когда уже побѣда предопредѣлена, мнѣ надоѣдаетъ: нѣтъ интереса играть. Тогда именно я начинаю проигрывать.

Противъ этого трудно было что-либо возразить. Шелеховъ мѣняетъ тактику: надо ему польстить. Игнатій Карловичъ очень любитъ комплименты.

— Ты, значитъ, не можешь матеріализировать свое подавляющее превосходство, — замѣчаетъ онъ вскользь.

— Да, — радостно ерзаетъ тотъ.

— Если бы тебѣ удалось реализовать твои таланты, ты прогремѣлъ бы на всю Европу. Ты геній въ потенціи.

— Это вѣрно, — соглашается Игнатій Карловичъ. — Я и есть геній.

— Импотентный генiй въ потенцiи, — не выдерживаетъ роли Шелеховъ.

— Какъ ты смѣешь? Я съ тобой прекращу всякое знакомство.

— Садись. Садись, садистъ, — успокаиваетъ его Шелеховъ. — Сыграемъ. Поучи молодого игрока. Ты вѣдь старый маэстро. Ты долженъ создать школу. Поучи молодежь.

— Это правильно, — охотно соглашается Игнатiй Карловичъ. — Ты иногда высказываешь интересныя мысли; у тебя память, должно быть, хорошая. Могу сыграть одну партiю. Только... вѣдь ты думаешь слишкомъ долго! Всѣ ослы долго думаютъ въ шахматы.

— На что играемъ?

— Не знаю. На четвертакъ. — Игнатiй Карловичъ не любитъ играть на крупныя суммы.

— Нѣтъ, на бѣлую рубаху, — сознался Шелеховъ: ночуя у него, онъ замѣтилъ среди прочаго хлама единственно годную для употребленiя вещь.

— Какую? — ужаснулся Игнатiй Карловичъ.

— Ту, знаешь. Узкую на тебѣ. Тѣсную.

— Тѣсную? Тѣсную? — помычалъ онъ. — А, эту можно. Только она простая; я лучше тебѣ дамъ другую: австралiйской шерсти.

Шелеховъ отклонилъ это предложенiе. Принесли доску.

Первую половину партiи Игнатiй Карловичъ игралъ точно, сосредоточенно, активно, — всегда имѣлъ перевѣсъ. Начиналъ хвастать, болтать. Шелеховъ незамѣтно отвлекалъ его вниманiе:

— Я на дняхъ говорилъ съ твоимъ отцомъ.

— Какъ ты смѣлъ? — пугался тотъ. — Я съ тобой прекращу знакомство.

— Ты давно у него былъ?

— Недавно, — успокаивался Игнатiй Карловичъ. —Онъ меня спросилъ: «если я тебѣ дамъ деньги, пойдешь ли ты въ баню?»

— Что ты отвѣтилъ?

— Я сказалъ: не знаю... не могу обѣщать.

— Далъ онъ деньги?

— Нѣтъ. Онъ сказалъ, что я околѣю подъ заборомъ, — задумался Игнатій Карловичъ. — Онъ правъ... Что я сдѣлалъ? Нѣтъ! — отчаянно вскрикивалъ онъ, хватая обратно фигуру.

— А ты не зѣвай.

— Это глупая игра, — обижался онъ. — Чѣмъ партнеръ тупѣе, тѣмъ онъ лучше играетъ. Изнурительное занятіе.

Предчувствуя проигрышъ, онъ начиналъ капризничать, пыхтѣть, увѣрять, что Шелеховъ сдѣлалъ лишній ходъ.

— Ты сдался! — кричитъ Шелеховъ и сметаетъ фигуры въ одну кучу.

— Что ты сдѣлалъ? — въ чрезвычайномъ ужасѣ вопрошаетъ тотъ. — Ты расшвырялъ?

— Ты проигралъ. Когда зайти взять рубаху?

— Я не проигралъ, — мрачно и обидчиво бубнитъ Игнатій Карловичъ. И послѣ паузы: — Ты ко мнѣ не ходи. Я тебѣ самъ принесу. Ко мнѣ нельзя ходить.

Савичъ проигралъ деньги: пьяный, не успѣлъ сдѣлать матъ въ назначенный срокъ. Скоро прибѣжалъ Евгеній. Дѣло сдѣлано. Супруга Иванова помчалась къ Пронинымъ. Шелеховъ его увѣрилъ, что вознагражденіе не пропадетъ. Вышли всей гурьбой.

— Зачѣмъ вы столько пьете? — спросилъ Шелеховъ, подойдя къ Савичу. — Вашъ носъ уже начинаетъ пухнуть.

— А почему мнѣ не пить? — спросилъ тотъ.

Шелеховъ не нашелся что отвѣтить.

—Я, когда пью, — продолжалъ Савичъ, — добрѣе становлюсь. Лучше. Мнѣ, чтобы стать, какъ напримѣръ, Изотовъ, надо два стакана выпить. Есть люди, что и безъ вина пьяные. Пьяный я добрый, отзывчивый; всѣхъ людей люблю; всѣмъ помогу. А

трезвымъ мнѣ тяжело: все мнѣ противно, все постыло, ненавистно. Угрюмый. Злой.

Шелехову было жаль этого симпатичнаго парня, спившагося въ конецъ. Упрямый украинецъ, оторванный отъ своихъ хуторовъ, пасѣкъ, гдѣ его предки орудовали испоконъ вѣковъ, — Савичъ самоучкой подготовился и поступилъ на математическій факультетъ. Долбилъ древнихъ авторовъ; увлекался архаическими, давно потерявшими всякое значеніе, манускриптами. Онъ былъ скорѣе чернокнижникомъ, чѣмъ ученымъ. Экзаменовъ не сдавалъ.

— Вамъ надо учиться, работать, — попробовалъ Шелеховъ.

— Учусь. Работаю, что вы?

Дѣйствительно, онъ не былъ лѣнтяемъ. Онъ много трудился. Онъ даже выдрессировалъ своего пса лакать алкоголь. Одинокими вечерами они сидѣли въ трактирѣ, попивая вино.

— Но такъ нельзя жить, — изумленно развелъ Шелеховъ руками.

— Почему? Почему нельзя?

— Надо трезвымъ встрѣчать все: жизнь и смерть.

— Такъ я никогда не теряю сознанія. Что вы? Я знаю все. И къ смерти готовъ. Вотъ вы не спокойны. Говорите о ней, а не знаете. А я хоть сейчасъ могу помирать. Я знаю, что самыя близкія мнѣ существа, — ну, жена моя, бывшая, или Изотовъ! — умрутъ. Что изъ того? Я это знаю. И готовъ хоть сію минуту, — съ трогающей до боли силой твердилъ Савичъ. — Я считаю насъ всѣхъ мертвыми. И вижу это. И не боюсь. А вы слишкомъ торопитесь! Вѣдь это черствый эгоизмъ вамъ диктуетъ. «Не пить! Не терять времени. Здоровья. Преуспѣть». Къ чему мнѣ торопиться?! Я отъ алкоголя становлюсь ближе къ Евангелію: животъ свой готовъ положить за враговъ. Христіаниномъ становлюсь.

— Такъ нельзя же. Страшно. Недаромъ вы всегда грустный! — вскричалъ Шелеховъ. — Угрюмый.

— А грустно! — подтвердилъ Савичъ. — Безъ Бога не можетъ не быть жутко. Вѣдь поймите, вся наша культура построена на гипотезѣ Бога. И когда въ одинъ вечеръ вы перестаете чувствовать ея необходимость, то у васъ ощущеніе, будто вы только что потеряли жену или дочь; прекрасную и больную. И такъ до могилы: пустота, печаль. Ахъ, воинствующіе атеисты: вѣрующіе люди! Они только сводятъ личные счеты съ Божествомъ; взбунтовались: святой гнѣвъ попираемой земли. Но истинное невѣріе страшно: оно узнается по тихой нѣжности къ имени Бога, прекраснѣйшему изъ всѣхъ сновъ, котораго нѣтъ, потому что нѣтъ. Къ чему же себя жалѣть? — Вотъ. — Савичъ сдѣлалъ рѣзкое движеніе рукой: провелъ ею по своей грудной клѣткѣ, потомъ сжалъ (какъ бы взялъ сердце свое и выдавилъ все содержимое). — И въ то же время становишься какъ-то спокойнѣе: не надо искать объясненія мерзостямъ, и предательства не возмущаютъ.

Было тягостно. Шелеховъ ничего не возражалъ.

— Савичъ! Дайте мнѣ часть денегъ... — обратился вдругъ Исаинъ. — Мнѣ полагается доля, я принималъ участіе въ спорѣ.

— Ну, вотъ. Ну, вотъ.

— Иначе я буду настаивать, чтобы ихъ вернули Граціанцу. Это безобразіе. — Они проходили мимо распахнутыхъ дверей кафэ. — Ей Богу! — вскричалъ Исаинъ: — Ихъ надо пропить! Именно пропить! Правильно и не стыдно!

— Нѣтъ, — рѣшительно отклонилъ Савичъ. Граціанецъ не спускалъ съ него тихаго, укоризненнаго взгляда.

Рѣшили зайти поиграть на билліардѣ. Отъ лысинъ Игнатія Карловича и Граціанца сразу стало свѣтлѣе въ подвальномъ помѣщеніи.

Изъ шестнадцати столовъ оказался свободнымъ «русскій», захудалый. Въ залѣ стоялъ стукъ, трескъ отъ шаровъ. Люди припадали къ зеленому сукну; на-

пряженно цѣлились, упруго выбрасывали кіи; щелкали счетчикомъ, напудренными мѣломъ руками вытирали потъ и торопливо глотали пиво, ликеръ, вино, лимонадъ, чай. Какъ фабрика, стучало помѣщеніе, — большая грохочущая мастерская со склоненнымъ надъ станками людомъ.

— Катись, сычъ! — кричалъ Исаинъ. — Граціанецъ, вамъ бы велосипедъ себѣ завести или мотоциклетъ: вокругъ стола объѣзжать.

— Тутъ она ему и говоритъ, — хвастливо примѣривался Граціанецъ. — Отче протопопе, пятый въ лѣвомъ углу, — шаръ скользнулъ въ лузу. — Ну и кій! — остался недоволенъ Граціанецъ. — Дублетъ въ середку, — скиксилъ. — У него борты какъ камень, — хватилъ онъ рукой по столу.

— За такія вещи въ Россіи бивали кіями по лысинѣ! — пригрозилъ ему партнеръ Шелеховъ.

— Мы, слава Богу, не въ Россіи, — ехидно укольнулъ тотъ.

Игнатій Карловичъ сидѣлъ за столикомъ, попивая горячее молоко съ шоколадками. На билліардѣ онъ не игралъ. Отяжелѣлъ, къ тому же: зубы мѣшали. Сосалъ сласти и вспоминалъ. Когда-то онъ дѣлалъ по двѣсти карамболей подрядъ. Что вы смѣетесь? Нѣмецкій чемпіонъ проигралъ ему. Захворалъ отъ досады. Игнатій Карловичъ его отправилъ на Кавказъ. Его и жену. Далъ деньги! Онъ могъ умереть.

Кончили играть часу въ десятомъ вечера. Граціанецъ шептался съ Савичемъ.

— Что, денегъ обратно просилъ? — полюбопытствовалъ Исаинъ.

— Нѣтъ, — отрекся Граціанецъ.

— Просилъ. Просилъ, — озорно кивнулъ Савичъ.

— Нѣтъ, я не просилъ, — вскричалъ тотъ въ сердцахъ. — Я васъ ненавижу. Вы пьяница. Трусъ. Я сказалъ только, что до ночи, Богъ вѣсть, въ какіе

притоны еще попадете, чтобы деньги не затерялись, спрятать ихъ надо! Грѣшно! — взволнованно палилъ Граціанецъ. Онъ былъ блѣденъ и удрученъ. При своей вѣжливости и мягкости такой монологъ ему могъ даться не легко.

— Что вамъ о чужомъ добрѣ кручиниться? — загоготали кругомъ.

Шли лѣтними тротуарами.

— Игнатій Карловичъ, на пару словъ, — позвалъ украдкой Изотовъ, весь вечеръ такъ и промолчавшій.

— У меня денегъ нѣтъ, — догадался тотъ. — Я человѣкъ бѣдный и больной.

— Я отдамъ, — усовѣщевалъ его Изотовъ. — Вмѣстѣ со старыми. Вѣдь я вамъ долженъ пятерку.

— Пять двадцать! — поправилъ Игнатій Карловичъ.

— Почему?

— Валюта измѣнилась. Я только на такихъ условіяхъ даю.

— Пущай, пять двадцать, — согласился тотъ.

— Вы мнѣ уже отдали.

— Что?

— Тотъ долгъ.

— Вы же сказали, пять двадцать?

— Это вы были бы должны, но вы отдали. Что вы смѣетесь?

Изотовъ только отдувался.

— Словомъ... Я отдамъ съ процентомъ, — началъ онъ снова.

— Я у васъ процентовъ не хочу, — обидѣлся Игнатій Карловичъ.

— Тогда такъ дайте: ради добраго дѣла.

— Я не долженъ творить добра, — отбросился всѣмъ корпусомъ назадъ Игнатій Карловичъ. — Мнѣ люди только зло причиняли. Неисчислимое! Почему я долженъ дѣлать добро? — искренно изумлялся

онъ. — Я могу оказать услугу только человѣку, болѣе обездоленному, чѣмъ я.

— Я не подхожу подъ эту категорію? — заинтересовался Изотовъ. — Кого вы подразумѣваете?

— Больного старца. Или, нѣтъ! Слѣпого! Вотъ! Слѣпой! Несчастнѣе моего! Я скоро тоже погибну.

— Пора бы.

— У меня плохія предчувствія и видѣнія.

— Который годъ?

— Какъ вы смѣете?! Когда вы обѣщаете вернуть?

— Погодя недѣлю. Десяточку!

— Я больше пятерки никому не одалживаю. Значитъ, въ будущій четвергъ. Нѣтъ! Лучше въ пятницу, но навѣрное?! Меня всѣ стараются подвести.

— Хотите часы мои въ залогъ?

— Я не могу взять часовъ, — радостно вскричалъ Игнатій Карловичъ.

— Отчего?

— Я разъ взялъ у одного студента и чуть не влопался въ дурную исторію. Онъ хотѣлъ убить свою невѣсту, она измѣняла ему: спала съ моимъ товарищемъ, — толково объяснялъ онъ. — На улицѣ погнался за ней и выстрѣлилъ. Оказалось, что это другая женщина: похожая! Убилъ чужую женщину, ей Богу. Его долго судили. Онъ могъ меня впутать во все это! — восхищаясь своей дальнозоркостью, взвизгивалъ Игнатій Карловичъ.

— Ну, я человѣка не убью, — со спокойной увѣренностью убѣждалъ его Изотовъ. — Развѣ что себя.

— Вотъ, вотъ! — заликовалъ Игнатій Карловичъ. — Это одно и то же. Держите пятерку, — зарылся онъ въ своихъ карманахъ. Искалъ онъ долго. хотя отовсюду доставалъ мелкія ассигнаціи; но то все были «не тѣ, не изъ тѣхъ, не для того!» Наконецъ, нашелъ и далъ.

— Что, вы хотите себя убить? — оживленно

спросилъ онъ. — Вотъ такъ дѣло. Значитъ, въ пятницу. Я ухожу! — крикнулъ онъ ушедшимъ впередъ.

— Куда? — позвалъ Шелеховъ.

— По тайнымъ дѣламъ.

— Онъ отправляется жрать, — сказалъ Савичъ.

Игнатій Карловичъ ковырнулъ своей ручкой воздухъ; описалъ ею нѣсколько кренделей, имѣвшіе обозначать, что онъ прощается и не желаетъ, чтобы за нимъ слѣдовали. И, осклабясь, — со своей неизмѣнной дѣтской улыбкой чернаго, жирнаго лица, на которомъ отчетливо вырисовывались кости черепа съ темными ямками глазъ, — запрыгалъ, засѣменилъ зигзагами, прихрамывая, притоптывая. Изумленно оглядываясь по сторонамъ: на стѣны домовъ, погашенныя витрины, фонарные столбы, на нищихъ, спящихъ у подъѣздовъ... онъ терпѣливо, долго и упрямо нырялъ по вечерней тьмѣ. Такъ бревно, почернѣвшее въ бурномъ потокѣ, не гнется и не ломается, но всему уже чужое!

Шелеховъ направился къ себѣ; онъ давно уже не былъ на своей квартирѣ. Приближаясь къ дому, онъ замѣтилъ Жоржика, понуро откуда-то возвращавшагося. Шелеховъ его окликнулъ.

— Возьми, дашь мамѣ, — протянулъ онъ Жоржику нѣсколько конфетокъ Игнатія Карловича. — Что это ты такой пришибленный?

Жоржикъ взялъ гостинецъ и, ничего не отвѣтивъ, юркнулъ въ ворота.

Дома было темно. Павелъ еще не приходилъ. На глубокомъ ложѣ полусидѣла умирающая хозяйка, одиноко блестя своими лунатическими глазами. Шелеховъ раздѣлся и легъ. Черезъ полуоткрытую дверь онъ видѣлъ, какъ Жоржикъ зажегъ свѣтъ и протянулъ матери леденецъ. Примостился возлѣ. Такъ они сидѣли нѣкоторое время молча. Вдругъ Жоржикъ растянулся на кровати и заплакалъ. Едва слышно, тоскливо, горько. Титаническимъ усиліемъ

мать приподняла свою уродливую руку въ желтыхъ пятнахъ, съ сѣткой жилокъ склерозной ткани и поднесла къ впалой щекѣ сына. Погладила. Робко. Просительно. Ободряюще. Жоржикъ еще пуще заплакалъ. Заговорилъ; быстро, захлебываясь, жаркимъ, всхлипывающимъ шепотомъ.

Онъ встрѣтился съ Афонькой и Ульяномъ Дьяченко. Пошли гулять. Они сговорились уже давно: за городъ. Тамъ вызвали изъ харчевни дѣвушку. Пухлую, смуглую. Зашли въ пустой амбаръ. Истязали ее. Сперва Афонька долго возился, затѣмъ Ульянъ. Примостили и Жоржика. Онъ не зналъ, что дѣлать. Его обучали. Женщина терпѣливо растолковывала. Затѣмъ: снова Афонька и снова Ульянъ. Погодя, начали ее бить. «Зачѣмъ ее бьете?» — жалостливо спрашивалъ благодарный Жоржикъ. — «Такъ надо. Я тебѣ потомъ объясню, — увѣрилъ его Афонька. — Бей тоже...» Онъ тоже ее нѣсколько разъ ударилъ. Жалѣлъ, но вѣрилъ Дьяченко. Показалась кровь. Женщина очень громко завопила. Ульянъ сказалъ, что надо улепетывать. Но показались люди, позвали полицейскаго. Составили протоколъ. Впрочемъ, Жоржика не записали: женщина его выгородила. Сказала: «не причемъ онъ». «Почему слѣдовало бить?» — взмолился Жоржикъ, улучивъ минуту. «Чтобы боялась и въ слѣдующій разъ, — объяснилъ ему Дьяченко. — Такъ принято»... Онъ ничего не понимаетъ. Что же это такое?!

Тихо, отпускающе, гладила его умирающая. Она не могла уже услышать, о чемъ онъ повѣствовалъ, но понимала, догадывалась, чего ему надобно и заботливо, ласково ободряла его. Движеніемъ своей почти холодной руки она старалась передать ему... о жизни, о смерти, о горѣ и нуждѣ; о томъ, что это такъ, что это не бѣда, что это даже почему-то хорошо; и еще что-то, чего нельзя высказать, но о чемъ можно развѣ только пѣть.

Пришли Павелъ съ медикомъ. Они привели

проститутку. Какъ всегда: одну. Заслонивъ свѣтъ отъ лежащаго лицомъ къ стѣнѣ Шелехова — чтобы не безпокоить его, — они, шопотомъ обмѣниваясь соображеніями, стали укладываться.

— Только чтобы товарища не разбудить! — просила проститутка. — Потушите свѣтъ.

Грубая, падшая душа, ползающая съ тюфяка на тюфякъ бѣдныхъ студентовъ и ремесленниковъ; не владѣющая ничѣмъ своимъ, издержанная въ конецъ... она въ эти минуты ужасалась мысли, что Шелеховъ — не принимающій участія, — очнется, услышитъ, увидитъ. Срамная дѣвка, истоптанная вдоль и поперекъ, она, по утрамъ вылѣзая изъ свальной кровати, отругиваясь, отбиваясь, — багровѣла со стыда, если Шелеховъ видѣлъ ея обнаженную руку. Она стыдилась.

Потушили свѣтъ.

— Не порть грудь! — взвизгнула женщина обиженно и дѣловито.

Спалъ домъ. Пахло дымомъ, сырой бумагой, немытымъ поломъ. Только старый, лысый, котъ пялилъ во тьму свой одинокій глазъ. Его бока въ шрамахъ и ссадинахъ; голодные и впалые. Онъ усталъ. Вспрыгнувъ на ржавую плиту, онъ запѣлъ, тихо колдуя. Злобно и загадочно. Въ его позѣ, въ фосфорическомъ блескѣ желтаго зрачка: ненависть, обида, жажда мести. Увѣренность въ справедливости ея.

— Проклятье. Проклятье, — мурлычетъ котъ, кружась и озираясь.

Онъ знаетъ, что одинакова участь какъ человѣка, такъ и звѣря, въ жизни и въ смерти. Онъ радъ.

VII

— Я хочу перестать у васъ бывать.

— Да? — сказала г-жа Бозенъ. — Говорятъ что ты любишь Наташу.

Шелеховъ взглянулъ на нее съ ненавистью. Бѣлое тѣло, усталое лицо, заброшенныя за шею руки. Пахнетъ мускусомъ, бѣльемъ, пудрой. Собственно, если бы онъ читалъ въ какомъ-нибудь романѣ, что герой обнимаетъ такія гладкія плечи, тугія груди и ему противно, и ему досадно, и ему хочется поскорѣе уйти, — онъ бы съ раздраженіемъ отбросилъ книгу. Пожалъ бы непонимающе плечами.

А это такъ.

— Женщина, чтобы открыть душу, должна раньше раскрыть грудь, — неторопливо продолжала г-жа Бозенъ прерванный разговоръ. — Ты понимаешь: дѣвушка, какъ бы ни любила — никому не принадлежитъ; женщина, какъ бы ни любила, — принадлежитъ всѣмъ.

Шелеховъ не отвѣчалъ. Было очень тягостно слушать ея изрѣченія.

— Повѣрь мнѣ, очень тяжело пребывать въ обществѣ человѣка, котораго сильно любишь.

— Оставь любовь, скажи что-нибудь про ненависть, — попросилъ Шелеховъ. — Ты не должна говорить о другомъ.

— Ненависть? Можетъ быть, возненавидѣть должно разъ, на всю жизнь!

— Скажи про ложь.

— Можно любить обманывая, но рѣдко, любя обманываютъ.

— Ты угорь. Что означаетъ ревность?

— И не любя ревнуемъ.

— А любя?

— И подавно. Впрочемъ, намъ, женщинамъ, иногда кажется, что это не обязательно... Ты понимаешь, какъ это страшно. На землѣ два милліарда людей. Каждую ночь распинается полъ милліарда женщинъ. Въ нашемъ городѣ, сейчасъ... Сколько ихъ...

— Сто тысячъ паръ бедеръ на станкѣ ночи, — отозвался Шелеховъ. — Мясо, дышущее мясо, — вспомнилъ онъ. — Однако, ты истеричка.

— Да. А менструація! Разъ въ мѣсяцъ милліардъ женщинъ выходятъ въ тиражъ. Развѣ можно объять эти неисчислимыя послѣдствія. Подумай... Мнѣ страшно. Я, вѣроятно, сойду съ ума.

Часы пробили одиннадцать ночи. Шелеховъ началъ причесываться, оправляться.

— Не спѣши, — прервала она.

— Я не хочу, чтобы Робертъ догадался. Надоѣло.

— Ахъ, у него свои дѣла. Отецъ Музы захворалъ воспаленіемъ легкихъ.

— Неужели!—заинтересовался Шелеховъ.—Онъ хилый! А что, Робертъ, дѣйствительно, женится на Музѣ?

— Откуда ты взялъ? Онъ обѣщалъ окончить университетъ.

— Да. Онъ говоритъ, что подождетъ.

— Ну и прекрасно. Дай, пожалуйста, папиросу. Ахъ, мой другъ... Спасибо! Ахъ, мой другъ, на тѣхъ, кому обѣщаютъ, не женятся, — холодно улыбнулась г-жа Бозенъ.

Скоро пришелъ Робертъ. Разсказалъ, что батюшкѣ Музы худо. Тамъ только женщины. Онъ и Муза просятъ Шелехова пойти туда переночевать. Ро-

бертъ бы самъ остался, но это не удобно, къ тому же онъ не хочетъ матушку оставить одну.

— А какъ больной? — освѣдомилась г-жа Бозенъ.

— У него одно легкое занято уже давно... Процессъ, а тутъ воспаленіе.

Шелеховъ рѣшилъ пойти.

Прикрывая за нимъ двери, Дарья схватила его руку и вложила, — втиснула, — твердый предметъ.

— Прочтите. Прочтите, — прошептала она и убѣжала.

— Что за чортъ? — недоумѣвающе пожалъ плечами Шелеховъ, оглядывая въ темнотѣ подарокъ. — Книжечка! Ахъ, это евангеліе! — догадался онъ сразу.

Онъ вспомнилъ, что Дарья, — баптистка. Съ жилистымъ, высохшимъ лицомъ не закрашенной иконы, съ немигающими, ничего не выражающими глазками, она держалась доской, вѣщая одноцвѣтнымъ, безъ всякихъ удареній, голосомъ: — Паръ?! Нѣтъ, не паръ, — ехидно кривилась она. — Душа тамъ, а не паръ, — и косила глазъ на свою лѣвую грудь, подразумѣвая сердце.

Шелеховъ прыгнулъ въ автобусъ.

Семья Музы состояла изъ отца, мачехи, сестры Иры, и сводной сестрички. Жили они въ большомъ, мрачномъ домѣ. Старый, темный, каменный мѣшокъ. Съ пятнами, какъ большіе кровоподтеки, на голыхъ, безъ штукатурки, стѣнахъ, съ виднѣющимися, рѣшетчато прибитыми, деревянными планками. Этотъ домъ могъ бы разсказывать много и долго о прошедшихъ чрезъ его двери: ребятахъ, взрослыхъ, — всякихъ!.. — сами ли передвигавшихся или несомыхъ ногами къ порогу. Всякихъ! Но молча и угрюмо пялилъ онъ въ небо свои окна и трубы. Когда вечерами подымается жилецъ, — лѣстница освѣщается на минуту. Черезъ окна уходящаго вверхъ корридора виденъ хребетъ перилъ съ ребрами плѣшивыхъ подпорокъ. Жи-

лецъ то появляется, то исчезаетъ, отдыхая на площадкахъ этажей. Лампа гаснетъ и снова наступаетъ мракъ.

Встрѣтила Шелехова Ирина.

— А, Романъ Константиновичъ, вы гуляете, а тутъ папа помираетъ, — грубо сказала она.

Какъ бы громко она не говорила, какъ много лампъ не зажигали бы, а въ домѣ все равно стояла та особенная, гробовая тишина, которая предшествуетъ крикамъ; сумерки, которыя гонятъ только восковыми свѣчами.

Изъ третьей комнаты, — послѣдней — доносился частый хрипъ, всхрапъ: дыханіе больного. Такъ шипитъ воздухъ, вырываясь изъ проколотой шины.

— Это ты? — привѣтствовала его Муза, появляясь въ дверяхъ. — Садись, — и снова ушла къ отцу.

Едва Шелеховъ переступилъ ихъ порогъ, какъ имъ овладѣло опять то же чувство, какое онъ испыталъ давно, когда еще только впервые сюда пришелъ: что-то смутно безпокоило, тяготило; чего то недоставало; чего-то безсознательно искалъ глазъ! Окна! Отсутствовали окна! Бѣлыя стѣны подпирали потолокъ, и во всемъ ихъ ровномъ пространствѣ ни одна щель, ни одна точка не задерживали скользящаго взгляда на привычномъ мѣстѣ. Только въ центрѣ потолка узкое глубокое окно, прорѣзанное въ отлетѣ, дѣлило ночь на ровные квадраты.

— Кончается кислородъ, — вышла къ Шелехову сидѣлка.

Онъ пошелъ съ резиновыми подушками въ аптеку. Была черная, вѣтреная ночь. Луна на ущербѣ средь облачнаго неба ныряла, какъ челнъ межъ порогами. Гремѣли жестяныя полосы старыхъ кровель.

Пришлось очень долго будить фармацевта. Полицейскій внимательно слѣдилъ за стучащимъ въ дверь на пустынной улицѣ Шелеховымъ. Наконецъ, открыли. Полу-спящій, недораздѣтый господинъ, бур-

ча и зѣвая, накачивалъ кислородъ изъ металлическаго резервуара, похожаго на большой снарядъ.

— Я вамъ дамъ одну подушку свою, — предложилъ онъ. — Чтобы на всю ночь хватило.

Шелеховъ благодарно заплатилъ.

Неуклюжій, нагруженный эластическими вьюками, — какъ двугорбый верблюдъ, — Шелеховъ испытывалъ дѣтскій страхъ, всходя по засоренной лѣстницѣ. Онъ долго прислушивался, боясь разобрать женскій плачь, несущійся сверху. Но нѣтъ: то вѣтеръ. Онъ стукнулъ клямкой; вошелъ, облегченно переводя духъ.

У него явилась потребность заглянуть къ больному. На низкой кровати лежалъ скелетъ, обтянутый кожей, со свисающими, длинными, мокрыми усами; его глаза, большіе, голубые, какъ небо, неподвижно, невидяще, глядѣли сквозь потолокъ. То не былъ уже человѣкъ, — все атрофировалось; вся жизнь ушла въ одно — дышать! Онъ превратился въ аппаратъ, насосъ. Присвистывая, тянулъ газъ, захлебываясь, — какъ будто глоталъ воду лежа. Ко рту его тянулась мягкая кишка отъ подушечки, лежащей на его животѣ. Сидѣлка — желтая, изнеможенная, безобразная дѣва — гладила костлявой ладонью подушку, осторожно нажимая. На полу возлѣ постели, у ногъ отца, сидѣла на корточкахъ Муза.

— Папочка умретъ полъ третьяго, — сказала она ему, какъ бы успокаивая.

Шелеховъ ступилъ обратно. Въ сосѣднемъ покоѣ примостилась на кровати мачеха, убаюкивая ребенка; на другой кровати лежала Ирина. Межъ ними ткала эта ночь преграду. Только этотъ умирающій ихъ еще роднилъ. Безъ него онѣ — чужія.

Шелеховъ устроился на фанерномъ диванчикѣ въ послѣдней комнатѣ. Глуповато и развязно щелкалъ маятникъ часовъ.

На исходѣ второго часа Муза сообщила, что кислородъ кончается.

— Всѣ подушки? — недовольно изумился Шелеховъ.

— Одна испорчена, — отвѣтила та. — Воздухъ не просачивается.

— Вотъ мерзавецъ, — сказалъ Шелеховъ. — Это аптекарь всучилъ бракованную.

Бѣжать сейчасъ внизъ Шелехову очень не улыбалось. Было почти страшно мысли выйти на темную лѣстницу. Къ тому же ему не слѣдовало покидать женщинъ. Онъ зналъ, что ихъ сосѣди по коридору держатъ прислугу, русскую. Рѣшился позвонить. Тысяча извиненій: нельзя ли попросить служанку объ огромной услугѣ. Человѣкъ умираетъ.

— Пожалуйста. Пожалуйста, — твердила разутая баба, собираясь. Издали донесся мужской недовольный шопотъ:

— Какое нахальство.

Пошла.

Вернувшись, Шелеховъ досталъ изъ кармана своего плаща нѣсколько пузырьковъ: валерьяновыя капли, нашатырный спиртъ, одеколонъ. Всѣмъ этимъ его снабдила г-жа Бозенъ передъ уходомъ. Разставивъ стклянки на маленькомъ шкафчикѣ, онъ приготовилъ четыре стакана съ холодной водой и влилъ туда капли. Попробовалъ, легко ли раскупориваются остальные флаконы. Въ это время въ комнату заглянула Муза. Шелеховъ заслонилъ собой эти снадобья. Ему стало стыдно. Муза метнулась обратно, не замѣтивъ его. Шелеховъ прикрылъ газетой лѣкарства. Было два часа десять минутъ. Онъ присѣлъ на край табурета въ позѣ дежурнаго швейцара, дожидающагося разъѣзда. Вдругъ онъ вспомнилъ о подаркѣ Дарьи. Вотъ кстати. Досталъ. Дѣйствительно — Евангелье. Безцѣльно перелистывалъ, не зная, откуда читать. Евангелье охотно читаютъ люди, хотя бы разъ одолѣвшіе его. Шелехову приходилось слушать «апостоловъ» въ церкви; въ дѣтствѣ благоговѣйно цѣловалъ крышку съ мистическими, древними письменами. Но

читать не читалъ. Въ самомъ концѣ книжечки онъ замѣтилъ смятую, впопыхахъ сунутую, четвертушку бумаги, разлинованную, какъ тетради, на которыхъ пишутъ школьники. Съ любопытствомъ развернулъ; съ трудомъ разобралъ, очевидно, Дарьино посланіе:

«Дорогой другъ Шелеховъ, я бы очень желалабы что когда вы прочете эту евангелие чтобы все слова осталис увашемъ серце навсегда ви былибы очен и очен шщасливи прошу прочестцъ евангелия от матфея глава 26 и 27 эти две главы доконца

Сердечни привет».

Буквы были чистыя, круглыя, какъ блины, трогательно - старательныя.

Отъ книги пахло одуряюще, — кипарисомъ и еще тѣмъ, чѣмъ пахнетъ платокъ страдающихъ флюсами старыхъ женщинъ. Приторно и скучно.

Неумѣло Шелеховъ сталъ искать указанныя главы. Нашелъ и началъ читать, — сперва какъ-то недовѣрчиво, чуть-ли не со стѣсненіемъ, но постепенно все больше и больше увлекаясь, по нѣскольку разъ перечитывая тѣ же строфы.

«Тогда говоритъ имъ Іисусъ: душа Моя скорбитъ смертельно; побудьте здѣсь и бодрствуйте со Мной!..»

Шелеховъ поднялся и нервно зашагалъ.

«Да, какъ это страшно, — думалось ему. — Нашъ Богъ. Богъ, избранный нами, людьми, на землѣ стонетъ, изнемогаетъ отъ скорбей», — онъ замоталъ шеей, какъ будто воротникъ его тѣсенъ; ему стало душно отъ наплыва сильныхъ, разнообразныхъ чувствъ. Еще разъ перечелъ.

Перевернулъ нѣсколько страницъ; взглядъ его упалъ на строки: «Или, Или! Лама савахфаніа! — то есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставилъ?»

«Ужасно. Ужасно, — заметался Шелеховъ, рукавомъ потирая свой лобъ. Онъ зналъ вѣдь, онъ помнилъ о мукахъ Христа. Но то были страданія тѣла: гвозди въ костяхъ, уксусъ, прободенныя ребра... И

впервые за всю его жизнь ему открылась иная сторона, подлинная голгофа: распятіе сомнѣніемъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, — мелькало у Шелехова. — Если бы Спаситель все время былъ убѣжденъ, что Онъ: Тотъ! Что чрезъ нѣсколько мгновеній Онъ встрѣтится съ Отцомъ, возсядетъ одесную, въ счастьи и радугѣ; что жертва Его принята, человѣчество искуплено; что предуказанное пророками наступило; что нигдѣ ошибки нѣтъ и не можетъ быть... Если бы у распинаемаго Іисуса была увѣренность во всемъ этомъ, то какія же тутъ страданія?! Какая боль? Не муки, а радость! Счастье! Почему же это искупительное закланіе? Что жалкая рана, что агонія, въ сравненіи съ безусловнымъ знаніемъ?! Это торжество! Это праздникъ! Но вотъ является сомнѣніе! Богъ на крестѣ усумнился. Душу распяли гвоздями! «Да минуетъ Меня эта чаша!» «Душа Моя скорбитъ». «Боже! Зачѣмъ Ты Меня оставилъ?!» Вѣдь тутъ, собственно, должно и начинать понимать голгофу! — уже бѣгалъ по горницѣ Шелеховъ. — Что смерть?! Умирали всѣ! Апостолы восходили на костеръ; съ пѣсней повисали привязанные внизъ главами. Конецъ Сократа мужественнѣе всего, что видала земля! Но искупительная рана; безумная! нечеловѣческая!.. Отдавшій все видѣнію, знанію: въ наиважнѣйшій моментъ оставленный имъ!.. Усомнился во всей Своей жизни! Во вся! И былъ закланъ! Да! Да! — трепеталъ Шелеховъ. — Вотъ это жертвенныя муки. Вотъ здѣсь голгофа!»

«И се Я съ вами во всѣ дни до скончанья вѣка...», — прочелъ онъ дальше. Перевернулъ жадно нѣсколько страницъ: — «Но Ѳома сказалъ имъ: если не увижу на рукахъ Его ранъ отъ гвоздей и не вложу перста моего въ раны отъ гвоздей, и не вложу руки моей въ ребра Его, не повѣрю»... — «Пришелъ Іисусъ, когда двери были заперты... Потомъ говоритъ Ѳомѣ: подай перстъ твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи въ ребра Мои...»

Шелеховъ въ изнеможеніи прислонился къ стѣ-

нѣ. Книга выскользнула и упала на диванъ. Онъ мялъ пальцы, не слыша ихъ треска, озираясь и отдуваясь. Ему было дурно. Образъ Бога, принужденнаго протянуть людямъ для освидѣтельствованія свои раны, томилъ его, какъ гноящійся нарывъ. Широкоплечій Ѳома, — за которымъ чувствовалось все человѣчество, — ощупывающій раны, казался ему плевкомъ, пощечиной, несмываемой съ лица земли. Шелеховъ былъ почти въ изступленіи;онъ ощущалъ острую, безсильную тоску.

«Въ этомъ вся наша исторія, — думалось ему горячечно. — Вся жизнь земли это ощупыванье ранъ истязуемаго нами Божества. Если бы нарисовать это... — онъ опять зашагалъ по комнатѣ: — Исхудалый, окровавленный Сынъ Человѣческій. Его лицо изнеможденно, пепельно - сѣро; Онъ шатается отъ лишеній, раны гноятся. Ему нуженъ отдыхъ: стаканъ вина, вода для ранъ. Рядомъ человѣкъ, съ честнымъ, туповатымъ лицомъ, старательно мнетъ Его раны, убѣждаясь, нѣтъ-ли обмана»...

Вдругъ Шелехову что-то почудилось. Какая-то возня, говоръ; нѣсколько громкихъ словъ. Послышался шумъ приближающихся шаговъ, стукъ женскихъ каблуковъ. И сразу въ комнатѣ стало людно.

— Папочка умеръ! — крикнула, вбѣгая, Муза и взглянула на него со слабой надеждой.

Мачеха, сестра, дитя, — все это внезапно заголосило, заметалось.

Шелеховъ испуганно ринулся къ стаканамъ.

— Пейте! Пейте! — силой вводилъ онъ стекло межъ зубами Музы. Она покорно глотнула нѣсколько разъ.

— Пейте! — бросился онъ къ Иринѣ. Та отчаянно сопротивлялась, онъ залилъ ей подбородокъ водой.

— М-м-м-мъ... Ааааа... — стучали ея зубы по стеклу.

Громко зарыдала мачеха.

— Тише. Тише... — грозно молилъ Шелеховъ. Его больше всего страшилъ крикъ, такъ жутко раздающійся среди молчаливой, поздней ночи.

Какъ укротитель животныхъ, расхаживалъ онъ межъ ними, метался, хлопоталъ. Криками, угрозами, лаской, отвлекалъ ихъ вниманіе, заставляя прервать стоны. Онъ даже не позволялъ имъ плакать; не совсѣмъ отдавая себѣ отчетъ въ происходящемъ.

— Боже! Онъ меня ударилъ! — закричала Ирина, взглядывая на него удивленно, испуганно и осмысленно. Дѣйствительно, онъ ее ущипнулъ.

На деревянномъ канапэ сидѣлка обрызгивала водой Музу.

— Успокойтесь, — настаивала она. — Успокойтесь. Онъ еще живъ.

Однимъ прыжкомъ очутился возлѣ Музы Шелеховъ и, горстями бросая на нее воду, закричалъ дико и обрадованно:

— Онъ еще живъ! Онъ еще живъ!

Его голосъ былъ такъ страстенъ и настойчивъ, что Муза съ надеждой приподняла голову.

— Онъ еще живъ, — убѣждающе повторялъ Шелеховъ, повѣривъ. Вдругъ онъ замѣтилъ предостерегающій, недовольный, озабоченный взглядъ сидѣлки, отрицательно моргающей ему. Шелеховъ застылъ съ раскрытымъ ртомъ, не въ силахъ отвести вытаращенныхъ, устрашенныхъ очей. Еле сдерживая стонъ, онъ отошелъ. Припалъ къ стклянкѣ съ нашатыремъ; глубоко вдохнулъ.

Прислонившись къ стѣнѣ, мачеха ломала свои руки, причитая:

— Ахъ, если бы кто-нибудь зналъ мою біографію! Ахъ, если бы кто-нибудь зналъ мою біографію!

Ирина, тоже что-то подвывавшая, прервала и, обернувшись къ Шелехову, бросила, объясняя:

— У нея уже второй мужъ помираетъ!.. — Осмысленно взглянула и снова присоединила свой голосъ къ ея крику.

—Тише. Тише, — уговаривалъ Шелеховъ, озираясь, ища помощи, стараясь чѣмъ нибудь произвести психологическій переломъ. Бацъ! — крикнулъ онъ и хлопнулъ однимъ стаканомъ о полъ. — Бацъ! — треснулъ другой. Женщины испуганно слѣдили за нимъ. — Успокойтесь! — гаркнулъ онъ, поводя искривленнымъ лицомъ. — Угомонитесь! — и вдругъ замахалъ угрожающе кулакомъ; онъ былъ, какъ въ бреду.

Хлопнула кухонная дверь. Робко, растерянно заглянула прислуга, нагруженная подушками съ газомъ.

— Не надо! Не надо! — замахалъ ей, какъ ужаленный, Шелеховъ. Побѣжалъ къ ней и умоляюще глядя, предложилъ сбѣгать за докторомъ. Прислуга съ грустью согласилась.

Врача она привела несчастнаго, хилаго, захудалаго, — дежурный лѣкарь филантропическаго общества. Онъ былъ похожъ на провинціальнаго актера. бездарно играющаго роль доктора.

Несмотря на это, его присутствіе подкрѣпило всѣхъ.

— Мнѣ сказали, — горестно и довѣрчиво жалась къ нему вдова, — что если бы ему своевременно впрыснули пантапонъ, то это помогаетъ? — выпрашивала она, какъ подаяніе.

Докторъ оглядѣлъ ее, какъ бы раздумывая, что для нея будетъ утѣшительнѣе, потомъ замахалъ руками, зацѣдилъ, презрительно и успокаивающе гримасничая:

— Нѣѣтъ. Это не таакъ. У него вѣдь легкія!

— Васъ надо проводить?! — съ надеждой освѣдомился Шелеховъ: ему бы хотѣлось выйти на воздухъ.

— Нѣѣтъ. Я въ такси, — отклонилъ докторъ предложеніе и, не прощаясь, безпомощно скрылся.

Свѣтало. Сѣро висѣли электрическія лампы.

— Папа тамъ одинъ лежитъ, — вспомнила вдругъ Муза. Приподнялась.

— Я пойду. Я пойду къ нему, — остановилъ ее Шелеховъ и рѣшительно направился въ комнату къ покойнику, все замедляя и замедляя шагъ.

На смятой, низкой кровати съ зеленымъ байковымъ одѣяломъ, чужимъ, холоднымъ предметомъ лежалъ человѣкъ съ безобразно костистымъ тѣломъ. Глаза на выкатѣ,чуть-чуть открытые, смотрѣли остеклѣнело и равнодушно на пыльный потолокъ; и чувствовалось, что если раздвинуть крышу, сбросить настилъ и раскрыть глубокое, волнующее небо, то такъ же безучастно и мертвенно скользнетъ мимо его взоръ. На щекахъ, на подбородкѣ противно щетинилась рѣдкая, рыжая бородка. Поперекъ его обвилась впопыхахъ брошенная простыня, и Шелеховъ долго въ упоръ разглядывалъ противно - желтыя, грязноватыя пятки и кривые пальцы, съ восковыми, блинообразными мозолями отъ долгаго хожденія по землѣ.

Маленькій, ласковый котенокъ граціозно вбѣжалъ - вкатился вслѣдъ за Шелеховымъ. Онъ съ удивленіемъ, постепенно переходящимъ въ испугъ, обнюхалъ кровать. Подошелъ ближе; сталъ на заднія лапы и полизалъ ноги, погрызъ. Затѣмъ содрогнулся, жалобно мяукнулъ и стрѣлой понесся изъ горницы. Шелеховъ тоже попятился обратно.

Скоро прибрели родственники. Какъ сумрачны, какъ сѣры людскія лица на разсвѣтѣ, когда глаза еще слипаются, щеки смяты и сны не отоспаны. Снова вспыхнули причитанія.

— Будетъ. Будетъ! — попробовалъ, было, пресѣчь Шелеховъ.

Но господинъ съ лицомъ скопца его пристыдилъ:

— Что вы, что вы? — замѣтилъ онъ. — Сейчасъ самое лучшее плакать.

— Онъ насъ бьетъ, — пожаловалась, какъ дитя, старшимъ Ирина.

— Вѣдь мы только одного папу имѣемъ въ жизни, — продолжалъ господинъ. — Вѣдь мы только од·

ного папу имѣемъ, — удивленно и недоумѣвающе нѣсколько разъ повторилъ онъ.

Потомъ начали складывать бѣлье, одежду, вещи поцѣннѣе. Во все время похоронъ, отпѣванія, оплакиванія въ домѣ толпится разный людъ:

— Никому запретить нельзя. Такое это время! — объяснялъ все тотъ же господинъ. — Слѣдуетъ все спрятать, запереть: не услѣдишь! Да и голова другимъ поглощена.

Вдова его сразу поняла. И вотъ Шелеховъ подъ ея указку сталъ таскать бѣлье, укладывать въ огромные ворохи; связалъ въ тюки пуховики: утамбовывалъ корзины, пихалъ въ шкапы посуду. Запиралъ, что можно было, остальное сносилъ къ разнымъ сосѣдямъ. Утро застало его въ этихъ хлопотахъ. Потный, тяжело дышащій, желто - сѣрый, съ синими подглазницами, онъ жонглировалъ тяжестями, не совсѣмъ отдавая себѣ отчетъ въ происходящемъ.

Пріѣхалъ Робертъ. Занялся Музой. Она покорно подчинялась. Выпила кофе; начала что-то жевать: Робертъ ей внушилъ, что такъ полагается. Но вдругъ взмолилась: она не хочетъ ѣсть. Выпила молока. Ея лицо вспухло, покраснѣло; глаза мутно поблескивали, какъ у буйвола: зло и тоскливо. Она все повѣствовала: какъ хорошо умеръ папочка, какъ она все время провела съ нимъ, у его ногъ, запечатлѣла каждый вздохъ. Вотъ только передъ самымъ концомъ она отлучилась на минуту. Какъ это жестоко.

Робертъ гладилъ ее по каштановымъ волосамъ, убѣгая взглядомъ: онъ бы никогда не вообразилъ, что за одну ночь можно такъ подурнѣть.

Шелеховъ, неожиданно для себя, задремалъ. Проснулся нѣсколько часовъ спустя. Лежалъ, стараясь не двигаться, жалѣя, что очнулся. Изъ сосѣдней комнаты доносились терпкіе голоса. Пахло ядовитой гарью свѣчъ. Прислушиваясь къ знакомымъ съ дѣтства славянскимъ строфамъ, которыя обычно были въ его представленіи связаны съ чѣмъ-то казеннымъ.

чуть ли не полицейскимъ, — онъ вдругъ содрогнулся отъ одной мысли. Ему подумалось впервые, что если неизвѣстно: гдѣ, когда и какъ... то одно уже можно сказать съ несомнѣнностью. Онъ будетъ лежать недвижно со скрещенными на пупѣ руками, кругомъ будетъ пахнуть тлѣніемъ и воскомъ; и какъ градины будутъ низвергаться именно вотъ эти, имъ сейчасъ слышимые глаголы, мучительно обнадеживающіе. горько убѣждающіе, — такъ же вотъ произнесенные: съ тѣми же вздохами, интонаціями и паузами.

Онъ приподнялся съ бьющимся до головокруженія сердцемъ. Напряженно вытянулся, прислушиваясь, какъ бы примѣриваясь.

Черезъ комнату, тяжело ступая сапогами, угрюмо прошелъ Петръ — братъ Наташи.

— Чего глядишь волкомъ? — окликнулъ его Шелеховъ. — Почему глазъ не кажешь?

— Непріятности у меня, — прогудѣлъ тотъ, подходя.

— А что?

— Отказали въ министерствѣ.

— Ну? — неумѣло посочувствовалъ Шелеховъ, вздыхая.

Петръ протянулъ ему пакетъ съ сургучными печатями.

— Прочти. Зря подавалъ. — отрывисто пробурчалъ онъ и рѣзко передернулъ плечами, какъ бы всхлипнувъ.

Шелеховъ пробѣжалъ глазами.

На одной бумажкѣ пишущей машинкой было настрочено, что, разсмотрѣвъ прошеніе Петра Несторовича, — постановили оное не удовлетворить и возвратить подателю всѣ приложенные документы. Подписано: за завѣдующаго (въ отпуску)... писарскій росчеркъ.

Другая бумажка, — было самое прошеніе Петра; старательно, видимо, нѣсколько разъ переписанное:

«Настоящимъ честь имѣю ходатайствовать о по-

лученіи льготнаго паспорта для выѣзда за границу. Мое матеріальное положеніе (свидѣтельство, завѣренное у комиссара полиціи, — прилагаю) не позволяетъ мнѣ сдѣлать иного паспорта, такъ какъ, кромѣ самой его дороговизны, — иностранныя консульства еще взымаютъ въ этомъ случаѣ оплату за визы по непреодолимому для меня тарифу. Такимъ образомъ, мнѣ приходится откладывать съ года на годъ (вотъ уже четыре года) свой отъѣздъ.

Аттестатъ зрѣлости я получилъ въ Россіи и желаю получить высшее образованіе, какъ принято въ той средѣ, къ коей я принадлежу. Но я принужденъ содержать себя собственными средствами, такъ какъ помощь оказать мой родитель мнѣ не въ состояніи. Посему я предполагаю уѣхать въ страну, гдѣ можно трудиться и заниматься; или же усиленной работой обезпечить себя на нѣсколько лѣтъ. Къ тому же въ Южной Америкѣ находится мой отецъ крестный, который мнѣ не отказываетъ въ помощи (письма его прилагаю), — присылать деньги сюда онъ не соглашается.

Вотъ уже три года, какъ я хлопочу о выѣздѣ изъ этого государства, но, по разнымъ причинамъ, имѣя предъ собой цѣлый рядъ инстанцій, — мнѣ это не удается. Время идетъ. Безъ образованія, безъ помощи, безъ всякой соотвѣтствующей будущности, — я теряю свои силы и здоровье даромъ, постепенно становясь въ тяжесть государству, пріютившему меня. Въ то время, какъ по отъѣздѣ, я трудомъ и стараніями на выбранномъ мною поприщѣ могъ бы стать полезнымъ гражданиномъ и въ той или иной формѣ приносилъ бы активную пользу.

Вслѣдствіе вышеизложенныхъ мотивовъ, а также вслѣдствіе приближающагося конца лѣтнихъ каникулъ, я прошу какъ можно скорѣе разсмотрѣть и удовлетворить мою просьбу.

Петръ Несторовичъ».

— Звѣрье, — процѣдилъ Шелеховъ, возвращая документъ.

— Дожидались со мною въ очереди другіе русскіе, — буркнулъ Петръ. — Слышалъ, одинъ другому: «надо стиснуть зубы и молчать!» А второй: «до поры, до времени». Вотъ.

— По крайности, патріотами станемъ, — согласился Шелеховъ. — Что-же дѣлать то собираешься?

— Достану денегъ, — тихо сказалъ Петръ и сжался весь, сгорбился.

Хоронили скоро; чуть ли не на третій день. Неумѣло, со стукомъ и шумомъ, сносили гробъ внизъ по томительно - длинной лѣстницѣ. Гробъ плылъ ныряя, то проваливаясь, то снова высоко взлетая. Захарканная, скользкая лѣстница пахла помоями. Узкая, какъ душа; грязная, какъ міръ.

Въ городѣ было какъ разъ торжество, — хоронили или поминали какого-то національнаго героя. Играла музыка, мимо эстрады, украшенной траурными штандартами, проходили церемоніальнымъ маршемъ войска съ приспущенными дулами ружей. Огромные рои зѣвакъ запрудили тротуары, сосѣднія мостовыя, балконы, рѣшетки скверовъ и кіосковъ. Пробки изъ такси, звонящихъ трамваевъ, гудящихъ автобусовъ, закупорили главныя артеріи; боковыми улицами медленно пробирался скромный катафалкъ. Полицейскіе, оттѣснявшіе толпу, стремившуюся къ разукрашенной площади, сдѣлали узкій корридоръ для процессіи. Нѣсколько остроумныхъ зѣвакъ присоединились къ малочисленнымъ провожатымъ покойнаго, — такимъ образомъ они выигрывали лучшія мѣста. Остальные это тоже сообразили и скоро многочисленная толпа, сорвавъ шляпы, съ сугубо траурнымъ видомъ, запрудила мостовую, чинно слѣдуя за гробомъ. Полицейскій офицеръ замѣтилъ что-то неладное; скомандовалъ задержать, оттереть часть процессіи. Какъ часто бываетъ, — злоумышленники успѣли проскользнуть и только нѣсколько под-

линныхъ родственниковъ было отрѣзано: въ томъ числѣ и Ирина. Ей пришлось долго упрашивать, даже нарочито громко всплакнуть, пока бравый офицеръ не приказалъ ее пропустить.

Въ парѣ съ Шелеховымъ шелъ поэтъ Келицынъ, Онъ махалъ кулаками, напѣвалъ, бормоталъ.

— Слушай, — крикнулъ онъ, наконецъ, Шелехову. — Новое!

И, шатаясь, какъ одержимый, онъ произнесъ заунывнымъ речитативомъ свой стихъ:

— На улицѣ махали черными руками
Траурные флаги, конца предвозвѣстители.
И черный балдахинъ на черномъ катафалкѣ;
И храпъ коня-слѣпца; и крикъ вдовы и смѣхъ
ребенка.
На улицѣ махали черными крылами
Траурные флаги, конца предвозвѣстители.

— Хорошо?! — жадно освѣдомился онъ, какъ только кончилъ.

— Ничего, — уронилъ Шелеховъ. — Однако, какъ это тебѣ иногда не опротивѣетъ?

— Что?

— А вотъ... Подбирать словечки, обожать ихъ, уважать. Какъ тебѣ не опостыло все? Тебѣ не кажется, что жизнь насъ не заслужила?

— Глупости. Это счастье: видѣть, слушать, страдать. Я знаю, есть удачнѣе комбинаціи, но мнѣ и здѣсь хорошо. Точно такъ же, какъ есть здѣсь, на землѣ, лучшія положенія, чѣмъ я занимаю, но я предпочитаю свое! Я знаю жизнь; и жизнь знаетъ меня... Бить сваи въ тушу времени.

— Ахъ, твое счастье, что ты глуповатъ немного, да и подловатъ.

— Слушай! — крикнулъ Келицынъ, не обращая вниманія. — Слушай стихъ:

«Жизнь!

Я на фронтѣ жизни. Я въ окопахъ жизни посѣдѣлъ. Я бравый вахмистръ на фронтѣ жизни. Когда, окруженный сонмомъ враговъ, люто отбиваясь, я упаду сѣрый отъ порохового дыма и очнусь на цинковомъ столѣ отъ взволнованнаго голоса: «Мы сняли вамъ руку»... Я скажу:

— Но, докторъ, удержу ли я карабинъ въ одной рукѣ?

Я понялъ поэзію жизни и битвы. Я понялъ поэзію бардаковъ; и фабрикъ; и музеевъ; и заводовъ; и дворцовъ.

Я случайный гость на нерадостномъ пиру жизни. И званный — или незванный — я разгуливаю по высокимъ, сумрачнымъ хоромамъ; оглядываю встрѣчные предметы, любуюсь дорогими коврами.

И знаю, что въ сѣняхъ, быть можетъ, уже толпятся люди, готовые ворваться, потрясая заемными письмами, и съ крикомъ: — Банкротъ!... кинуться ощупывать, оцѣнивать обстановку.

Оттого, должно быть, такой щедрой рукой разливаетъ хозяинъ свою оскоминно - прянную брагу.

И я пью.

И что мнѣ до того, что завтра, завтра, въ тяжеломъ похмѣльи я нагнусь надъ чернымъ ведромъ и въ судорогѣ пищевода отдамъ то, что принялъ сегодня... Я пью.

Я бравый вахмистръ на фронтѣ жизни и довольствуюсь малымъ. Когда чернаго отъ динамитнаго огня, въ кровавыхъ ранахъ, меня выволокутъ изъ траншеи, и я снова очнусь отъ вопроса:

— Мы сняли вамъ руку.

Я скажу: — Но, докторъ, удержу-ли я сталь въ зубахъ?

Я упрямый вахмистръ съ квадратной челюстью и вечерами, солдатомъ изъ отпуска, возвращаюсь въ окопы, унося слѣды болѣзней встрѣчныхъ женщинъ подъ своимъ нечистымъ бѣльемъ.

Съ походнымъ ранцемъ на спинѣ я выползаю

за передовыя линіи — до послѣдней зари беззаботно кроша Жизнь.

Жизнь!»

— Жизнь! — вдохновенно повторилъ поэтъ.

— Въ пѣхотѣ нѣтъ вахмистровъ, — ядовито укололъ Шелеховъ.

— Ты пошлякъ, — грустно продребезжалъ Келицынъ и, загадочно улыбаясь, отсталъ.

Показалось кладбище. Купленный въ 1921 году участокъ успѣлъ пышно заколоситься православными крестами. И если не удивительно, что скамеечки, рѣшетки, надписи такъ напоминали родные погосты, то чудеснымъ казалась легкость и быстрота, съ какой принялась чуждая этой почвѣ русская фауна. Нависла, переплелась, перевилась, закудрявилась на родныхъ костяхъ.

Изъ оконъ сторожевой хижины выглядывали испитыя, синія лица: отъ постояннаго общенія съ покойниками, могильщики начали внѣшне на нихъ походить. Какъ будто трупы встрѣчали кортежъ.

Могила еще не была готова. Двое людей, тяжело дыша, поминутно откашливаясь и сплевывая, били кирками сухую глину. Шелеховъ заглянулъ внутрь этого темнаго рва. Прямоугольный, опрятный, сумрачный домикъ.

— «Но наступило время, и для тебя отмѣрили клочекъ земли», — подумалось ему. — Во рту глина, а на глазахъ черепки. Келицынъ... — началъ онъ искать его глазами.

Потомъ побрелъ по узенькой, манящей къ себѣ тропѣ. Было уютно и сладостно тихо, несмотря на близкіе голоса. Неторопливо разбиралъ надписи на памятникахъ.

«Инвалидъ двухъ войнъ, Никита Ковалевъ, младшій», — кратко возвѣщали вырѣзанныя на крестѣ буквы.

«Усовы, Константинъ и Георгій. — Погибли отъ взрыва на заводѣ».

«Подъ симъ животворящимъ крестомъ покоятся дѣти протоіерея Ѳ. Караулова:

Викторъ — 9 м. 10 дней.
Нина — 5½ мѣс.
Афанасій — 5 мѣс.»...

«Здѣсь тихая могила прахъ мужа забрала
Жену осиротила и въ вѣчность погребла».

На жестяномъ, кругломъ, поломъ крестѣ выведены были, осыпающейся бѣлой краской, двѣ даты:

«1903 — 1929»...

Шелеховъ тщательно обошелъ эту могилу, ища еще какихъ либо слѣдовъ, имени, званія, но не нашелъ.

«Если бы крикнуть имъ: Господа! Встаньте! — размышлялъ онъ, пытливымъ взглядомъ щупая плиты. — Ударить въ ладоши и гаркнуть умоляюще - грозно: Встаньте! Господа, встаньте!.. Какъ знать, можетъ, въ данную долю секунды это возможно»...

— Встаньте! Встаньте, господа! — крикнулъ онъ вдругъ сквозь зубы. Скрючился, изогнулся, напрягъ сдержанное дыханіе, всю внутреннюю силу сконцентрировавъ на одной мысли. — Встаньте! — повторялъ онъ, хлопая украдкой въ ладоши. Потомъ выпрямился и смущенно оглянулся. Вздохнулъ. Почти тотчасъ же усмѣхнулся. «Самое комичное, — думалось ему: — Ихъ, вѣдь, незачѣмъ воскрешать! Не стоитъ!», — оглядывалъ онъ снова холмики: соборный протоіерей... И. Бахтерева... Иванъ Сопляковъ...

— Не стоитъ, — повторилъ онъ громко. — Чѣмъ отличаемся мы всѣ, еще живущіе, низкіе сопляки. вонъ отъ этихъ, уже помершихъ?! Одна грязь. Право, хорошо, что не воскресли. Къ чему и зачѣмъ они!

Кругомъ было тихо, пустынно. Шуршали листья, кое-гдѣ осыпаясь ржавымъ, сморщеннымъ тѣломъ. Издали доносились горькіе голоса, женскіе, уторопленные.

Стало тоскливо и непріятно, — почти жутко, —

бродить межъ этими холмиками. Шелеховъ поспѣшилъ на голоса и вскрики, внезапно увеличившіеся.

Оказалось, что г-жа Бозенъ встрѣтилась съ Музой. Она какъ разъ хлопотала у склепа своего супруга, на сосѣднемъ кладбищѣ. Онѣ обнялись; цѣловались, плакали. То была торжественная встрѣча: какъ бы двухъ, испытанныхъ трудами, маршаловъ на историческомъ полѣ.

Петръ широкими, сильными взмахами лопаты подравнивалъ свѣжій холмъ. Угрюмые глаза его задумчиво слѣдили, какъ осыпается земля.

— Петръ! — позвалъ его Шелеховъ. — Уступи мнѣ лопату, — и поворошилъ, поковырялъ немного глину. — Нѣтъ, я слишкомъ усталъ. Я давно уже не спалъ. Скажи, Петръ, — обрадовался онъ вдругъ: — Можетъ, у васъ можно подрыхнуть до вечера? А то у меня мѣшаютъ!

— Гдѣ же у насъ спать? — спросилъ тотъ лаконически. — Гдѣ?

— Да, — вспомнилъ и Шелеховъ. — Гдѣ-жъ у васъ. — Что ты такой блѣдный? — пожалѣлъ онъ его. — Петръ, хочешь, зайди ко мнѣ вечеромъ, меня пригласилъ аббатъ Жанъ зайти къ нему съ пріятелями. Знаешь, собраніе будетъ, проповѣдь; затѣмъ чаекъ, поболтаемъ. Они душевные люди. Не надо отчаиваться, Петръ.

— Ладно. Можетъ, зайду, — пообѣщалъ Петръ, и, отряхнувъ съ брюкъ влажный песокъ, зашагалъ напрямикъ къ воротамъ, прыгая черезъ могилы.

«Такъ, — размышлялъ онъ почти вслухъ. — Такъ. Разъ машинки нѣтъ, то напишу отъ руки? Печатными буквами? Укажу ямку у фонтана? Прійти можно будетъ, конечно. Перешагнуть... достать. Конечно... полиція! Слѣдить можетъ? Заранѣе караулить: не ставятъ ли засады! Сквэръ малый. А если они издали? Да», — вздохнулъ Петръ, тяжко и недоумѣвающе, какъ буйволъ рогами, покрутивъ лбомъ.

Потомъ досталъ изъ кармана лоскутокъ бумаги и на ходу сталъ разбирать:

«Господинъ Габріэли!

Настоящимъ доводимъ до вашего свѣдѣнія, что шайка «Черныя Тѣни», — подвиги коей вамъ должны быть хорошо извѣстны — обложила васъ налогомъ въ суммѣ ста американскихъ долларовъ, которые вы и обязаны вложить незамѣтнымъ образомъ до 12 часовъ ночи въ щель межъ камнями фонтана, что въ скверѣ «Капуциновъ». Сумма должна состоять изъ билетовъ 5-ти долларового достоинства; обвязана полотномъ и придавлена круглымъ камешкомъ, который вы тамъ найдете. Всякая попытка не исполнить вышеозначенное, а также предувѣдомленіе полиціи, — что мы узнаемъ тотчасъ же — навлечетъ неизбѣжно на васъ, на вашихъ близкихъ, на ваше добро, крайнія бѣды!.. Пожаръ, смерть и похищеніе — неповинующимся!

Атаманъ... *Секретарь...*»

«Что бы еще такое приписать?», — усомнился Петръ, расхаживая кругомъ усадьбы изъ краснаго кирпича, стоящей вблизи парка; съ большимъ интересомъ заглядывая внутрь, черезъ щели въ крѣпкой рѣшеткѣ; отмѣчая высокія ворота, желѣзныя ставни.

«Собственно, чего имъ бояться? — уныло подумалъ онъ. — За такими оградами, въ такомъ домищѣ, среди города! Какого чорта понесутъ они мнѣ вдругъ деньги, здорово живешь?! Зачѣмъ? Такъ таки устрашатся? Чего? Отошлютъ со слугой посланіе въ комиссарьятъ. Обязательно. Можетъ, не захотятъ пачкаться? Что для нихъ эта сумма?! Впрочемъ, можно еще уменьшить! Нѣтъ, — безнадежно махнулъ онъ рукой. — Съ какой стати имъ мнѣ дарить. Чѣмъ я ихъ пугну? Тутъ не Россія. Они даже не поймутъ! Кто трудомъ добрался, тотъ не любитъ отдавать! Ничего изъ

этого не выходитъ». — Еще разъ, какъ бы провѣряя впечатлѣніе, онъ оглянулся на добротныя строенія, внушительные замки, конуры для цѣпныхъ псовъ, — и медленно, уныло зашагалъ домой.

Квартировали они, какъ многіе русскіе, на окраинѣ, — въ одной комнатушкѣ вся семья. Отецъ Петра — изъ семинаристовъ, — былъ когда-то революціонеромъ; онъ быстро усвоилъ «коммунистическій манифестъ» и всей душой отдался работѣ. Былъ сосланъ. Не выдержалъ долгой полярной спячки: написалъ что-то такое куда-то... Обратили вниманіе. Въ знакъ благодарности его перевели въ мѣста уже дѣйствительно не столь отдаленныя, гдѣ онъ состоялъ много лѣтъ сельскимъ учителемъ. Въ 1905 году было напечатано въ журналѣ «Былое» его имя, отчество и фамилія, а далѣе слѣдовалъ текстъ доноса, принадлежащаго его перу. Впрочемъ, къ самому Несторовичу этотъ номеръ не дошелъ, такъ какъ жилъ онъ въ глуши, да и читать пересталъ. Былъ онъ человѣкомъ неуравновѣшаннымъ, восторженнымъ, одинаково способнымъ на разное.

— Зачѣмъ бѣжали то? — освѣдомлялся его пріятель, бывшій становой приставъ, а теперь булочникъ, Коровинъ. — Къ чему?

— Всѣ бѣжали, — упрямо отвѣчалъ старикъ.

На столикѣ у стѣны низкой комнаты была цѣлая молельня, — Несторовичъ съ годами сталъ очень религіозенъ. Темный кіотъ, запыленныя ризы, оклады. Иконы старыя, новыя, фольговыя, литографіи. И старикъ передъ ними, сѣдой, съ непохожими глазами: одинъ зеленый, другой карій... по разному глядящіе; о разномъ повѣствующіе, — какъ темные, двуглавые, византійскіе орлы, невѣдомо куда парящіе.

Когда приходилъ булочникъ Коровинъ, они брали врозь каждый образъ, крестились, подносили къ губамъ, цѣловали — ловко, на лету, — и клали рядышкомъ на постель. Затѣмъ на столикѣ появлялась литровая бутылка, два стакана и моченное яблоко.

— Бывало... — начиналъ Коровинъ меланхолически вспоминать. — Бывало, купишь...

— О, свѣтло свѣтлая и украсно украшенная земля Русская! — вдохновенно заводилъ Несторовичъ поющимъ, срывающимся голоскомъ. — И многими красотами ты обогащена! Озерами бурными, рѣками и колодезями досточестными; горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными; звѣрьми пушистыми, птицами голосистыми, городами великими, селами безчисленными; вертоградами монастырскими, домами церковными. Всего ты исполнена, земля русская, да всего тебѣ мало.

Старикъ пилъ неровно: то мало, а то набросится вдругъ и осушитъ стаканъ за стаканомъ. Въ немъ борятся два чувства: ему хочется задержать пріятеля на весь вечеръ, поэтому онъ старается, чтобы вина хватило подольше; но ему также хочется изъ этого поставленнаго имъ литра получить львиную долю, — спасти! Вино уже допивали, когда явился Петръ.

Войдя, онъ тотчасъ же сталъ собирать себѣ обѣдъ. Скоро повздорилъ съ Наташей, устроившейся на кровати со своимъ дневникомъ.

— Ѣсть нечего; хлѣба не оставили, — жаловался Петръ. — Все пишешь дневникъ малоумной, Наташа? Стихи или прозу? Сволочи всѣ, вотъ что!

— Молчать! — слабо пискнулъ старикъ.

— Катитесь. Насчетъ былины то, — упрашивалъ его булочникъ, любитель сказокъ.

— Былъ въ нѣкоторомъ царствѣ, дальнемъ государствѣ сукинъ сынъ, еретикъ, басурманинъ, правителемъ, — охотно началъ Несторовичъ. — Много отъ него померло народу христіанскаго. А звали нечестиваго Несмѣянъ Гордѣевичъ и поклонялся онъ Аполеону.

— Наполеону, можетъ? — поправилъ Петръ, жуя ѣду.

— Вотъ и не Наполеонъ! То императоръ, неучъ,

а не богъ. Именно Аполеонъ. Не мѣшай, дай дѣло говорить.

— Ахъ, Аполлону! — догадался Петръ.

— А я какъ сказалъ?! Аполенъ! — и такъ какъ получилось не то, онъ завопилъ: — Замолчишь ты, стервенецъ, или нѣтъ?! — и трусливо замахнулся стаканомъ. — Пріѣхалъ о ту пору торговать съ Несмѣяномъ Гордѣичемъ, — Дмитрій купецъ, прозванный Басарай, съ сыномъ своимъ, Добросмысломъ. Видятъ они: страдаетъ народъ; поругаемъ. Такъ и такъ предлагаютъ, давайте грѣшить; сбросимъ бунтомъ Несмѣяна Гордѣевича. А то мира у васъ нѣтъ: дымитъ край вашъ сѣрой и торговать неспособно. Былъ какъ разъ праздникъ у нихъ престольный Аполена. Аполена, — повторилъ онъ, укоризненно глядя на сына. — Созвалъ Гордѣевичъ весь честной народъ на площадь; самъ сѣлъ и, прослышавши про умышленія купцовъ сихъ, вызвалъ ихъ къ отвѣту, желая всемірно посрамить послѣднихъ; показать собственную мудрость и несказанную глупость Добросмысла, а также отца. «Скажи, пожалста, вотъ ты народъ подбиваешь, управлять желаешь, отвѣтствуй, досточтимый торговецъ Басарай, сможешь ли потягаться со мною въ мудрости и многомысліи?» «Не токмо, — отвѣчаетъ купецъ, — я, но младой мой наслѣдникъ Добросмыслъ и тотъ покроетъ зрѣлую хитрость твою языческую!» «Если такъ, говоритъ Гордѣевичъ нечестивый, то радъ я буду уступить ему скипетръ и рукъ державу. Вотъ. Такому отроку, осилившему меня—искушеннаго и зрѣлаго въ наукахъ эллинскихъ». Быть по сему! порѣшилъ народъ. И задалъ ему Несмѣянъ Гордѣевичъ вопросъ! Такой задалъ ,что мудрецы и скитники только ухомъ повели, бровью поморгали, пальцемъ почесали: ну, гдѣ-же осилить! «Много ли того или мало отъ востока до западу?» — вотъ что вопросилъ. Подумалъ купеческій сынъ Добросмыслъ, подумалъ, помолился и отвѣтствовалъ. Что отвѣтилъ, про это не сказано, только извѣстно, что встрепенулся Несмѣянъ

Гордѣевичъ, испугался, затомился въ немъ духъ; а волхвы и скитники только главами потрясли, ухомъ повели, да пальцами затылокъ поскребли. И дальше вопрошалъ нечестивецъ: «Что днемъ десятая часть въ міру убываетъ, а нощью десятая часть въ міру прибываетъ?» И опять отвѣтилъ отрокъ. Затомился Несмѣянъ. Многое еще спрашивалъ онъ: о Черногаръ - птицѣ, что колышетъ морями, объ Индрикѣ - звѣрѣ, о царѣ Китоврасѣ, что во градѣ Лукорьѣ. На все отвѣтствовалъ отрокъ. Кудесники и жрецы, риторы и эскулапы только пальцами шевелили, да лаптями притоптывали. Наконецъ, сталъ задавать Добросмыслъ загадки: «Которыя суть птицы пѣсни воспѣваютъ, а гласъ ихъ до небесъ восходитъ, а косы ихъ до земли висятъ?» «Церковный звонъ», — догадался Несмѣянъ Языческій. Вопрошаетъ отрокъ: «Стоитъ море на быкахъ. Царь рѣчетъ: потѣха моя! А царица: погибель моя!..» Молчитъ нечестивецъ. Всѣми красками озарился, а молчитъ. Нѣтъ то-есть отвѣта. Судили, рядили старцы, ничего рѣшить не могли. «Тѣло и душа!» сказалъ Добросмыслъ при всемъ честномъ народѣ. «Вотъ что это!» Несмѣянъ Гордѣевичъ затрясся. «Твоя взяла — говоритъ. — Тебѣ почетъ, дитя». Ну тутъ Добросмыслъ сразу къ народу. Такъ и такъ, въ котораго Бога хотите вѣровать? Во святую ли Троицу? Ну, разумѣется, народъ плачетъ, соглашается. Призвали патріарха; вѣнчался Добросмыслъ тутъ же на царство, женясь на крещенной дочери Гордѣевича: осьми лѣтъ была дѣва; красна и мила вельми. И правили они мудро, а народъ, конечно, былъ несказанно радъ, — закончилъ Несторовичъ.

— Такъ, — протянулъ Коровинъ, потирая отъ удовольствія руки. — А отцу значитъ честь!

— М-да.

— Почетъ и покой?

— Ничего про это не говорится.

Приставъ неудовлетворенно заерзалъ на стулѣ.

— Нѣтъ того, чтобы отцу удовольствіе! Для кого стараться? Для кого подвизаться, скажи? Мучается человѣче, изъ силъ тянетъ дѣтей на ноги поставить, а памяти нѣтъ. Стяжательство одно.

— Ну чего, чего, — успокаивалъ его Несторовичъ. — Выпей ка вотъ лучше.

— Нѣтъ, почему? — съ горечью кричалъ булочникъ, припадая къ стакану. — За что такое наказаніе?

Дѣти, это его больное мѣсто. Давно ужъ сынъ и дочь — студенты — сбѣжали изъ дому, приславъ письмо, что стыдятся, и проклинаютъ отца пристава, клянясь при случаѣ собственноручно задушить гада.

Какъ-то зимой 1920 года, онъ черезъ стеклянную дверь балкона разсмотрѣлъ приближающуюся къ его домику группу вооруженныхъ красноармейцевъ. Онъ ихъ не боялся: успѣлъ заручиться разными протекціями и удостовѣреніями. Но въ одномъ изъ нихъ онъ узналъ своего сына. Не медля ни минуты, приставъ бѣжалъ: онъ не сомнѣвался, зачѣмъ тотъ жалуетъ къ нему! Давно это было, но не забывалась боль.

Булочника приходилось долго успокаивать. Чтобы развлечь его, старикъ тащилъ всѣхъ играть въ излюбленную игру, — «вѣдьму». Для этой забавы вербовали всѣхъ. Наташу, Петра, старшую дочь Алису, зятя; казалось, будь внучкѣ больше года — и ее бы мобилизовали старики, тоскуя отъ вынужденнаго бездѣлія.

Дѣлили поровну межъ всѣми колоду. Потомъ тянули другъ у друга поочередно, вслѣпую, карты, — выбрасывая на столъ парные: тузъ и тузъ, валетъ и валетъ... Только одна пиковая дама — вѣдьма — не имѣла пары. Не смогшій потихоньку сбыть ее сосѣду — проигрывалъ.

Старый Несторовичъ съ бѣлесой синью лица, съ сѣдыми какъ птица-лунь прядями рѣдкихъ волосъ и молочно беззлобнымъ взглядомъ, немощно, какъ младенецъ заливался смѣхомъ, когда ему удавалось спро-

вадить вѣдьму. Махалъ руками, ерзалъ, подмигивалъ, душась отъ беззвучнаго хохота. Не въ силахъ наконецъ сдержаться, онъ фыркалъ, кивая плутовски Наташѣ, Петру, оглядывая всѣхъ добрымъ старческимъ взоромъ, точно приглашая ихъ забыть свои печали, — думами вѣдь не поможешь! — и отдаться вотъ такъ тихой забавѣ сообща, быть можетъ, въ предпослѣднiй разъ.

Наташѣ было страшно смотрѣть на это лицо, на трясущiяся руки, скрюченную горбомъ спину, — такъ ясно, такъ настойчиво твердящiе о смерти, о могилѣ, близкой, неотвратимой. И смѣхъ его; улыбка человѣка вотъ-вотъ обратящагося въ пепелъ, — беззлобная, ребяческая, благословляющая, — наполняли ее тоскливой, ноющей жалобой. Ей хотѣлось заплакать, обнять отца, ласкать, наговориться до сыта, чтобы ни одна минута не пропала даромъ.

— Играй. Играй-же, — нетерпѣливо теребилъ ее Несторовичъ.

Забавлялись они до сумерекъ.

— Ухожу. — Поднялся Петръ со вздохомъ. — Зря проворонилъ время.

— Почту сторожилъ? — ехидно спросилъ отецъ. — Все равно заберу. Будь покоенъ.

— Да?! — взревѣлъ Петръ.

— Такъ и знай.

— Посмотримъ. Жизни будешь не радъ. — Петръ вышелъ, сердито хлопнувъ одностворчатой дверью.

Грудной ребенокъ заплакалъ. Мать отвернулась покормить его, нерадостно напѣвая.

— Къ чему огонь? — сурово спросилъ Несторовичъ потянувшуюся къ лампѣ Наташу.

— Не могу, — взмолилась та. — Съ ума сойти въ пору. Очень грустно у насъ въ сумерки. Ребенокъ и тотъ мечется, когда темно.

Булочникъ поднялся уходить; старикъ собрал-

ся его провожать. Онъ извлекъ изъ жилета, — часы, портсигаръ, бумажникъ; затѣмъ надѣлъ черный плащъ, истрепанный, но все еще придававшій степенность его манерамъ и осанкѣ, — такія накидки носили въ Россіи мелкіе чиновники.

— Зачѣмъ карманы опростали? — полюбопытствовалъ зять.

— Ноги у меня подгибаются, — объяснилъ старикъ. — Упаду ненарокомъ, перебьется, да и стащить могутъ. Я скоро умру, господа, — сказалъ онъ тихо и внятно. Затѣмъ вышелъ.

Наташа долго сидѣла молча. На кровати сестра, съ длиннымъ усталымъ лицомъ, изо всѣхъ силъ вертѣла, подбрасывала капризно визжащаго ребенка.

— Ушелъ дѣдушка. Ушелъ, — успокаивала она дитя первымъ попавшимся словомъ. — Нѣтъ дѣдушки! Дѣдушка, дѣдушка! Гдѣ ты? Нѣтъ дѣдушки. Гдѣ ты? Нѣтъ дѣдушки. Нѣтъ твоего дѣдушки. Сѣденькій дѣдушка. Сѣденькій дѣдушка! Онъ насъ любитъ. дѣдушка. Любитъ.

Комната слабо освѣщена. Ея мужъ, Николай, лежитъ, отвернувшись къ стѣнкѣ; его подтяжки свисаютъ какъ возжи. Рѣзкимъ, непримиримымъ воплемъ, жалобнымъ и горькимъ, плачетъ ребенокъ.

О чемъ? О прошломъ ли? О темныхъ проходахъ, упругихъ каналахъ, гибкихъ лабиринтахъ, — гдѣ ему пришлось скользить? О душныхъ оболочкахъ. тѣсныхъ и мрачныхъ, гдѣ такъ страшно было вылеживаться подверженному столькимъ случайностямъ?! Или, быть можетъ, въ смутномъ предчувствіи грядущаго?

Но скорбно и горько плачетъ младенецъ.

Наташа раскрыла тетрадь и стала быстро, быстро писать.

«Наташа. Не забудь! Всю жизнь помни. Наташа. Этотъ вечеръ. Какъ ясенъ провалъ кругомъ. Не видно ни зги! Какая помощь??? Помни. Николай на постели съ чахоточными скулами. Сестра траур-

нымъ маршемъ баюкаетъ Галину. Отецъ ушелъ, — «безъ часовъ»! Темно. Голодъ. Что, что можетъ быть? Господи, какъ безысходна жизнь повергнутыхъ. Изъ холода, нужды, болѣзни и смерти взываю къ тебѣ. Господь! Доколѣ же, Боже! Кому и гдѣ повѣдаю печаль свою?! Обухомъ жизнь старается бить именно лежачаго!!..»

Въ сосѣднемъ домѣ оглушительно заигралъ грамофонъ. Томяще и зовуще. Наташа подняла голову. Она знала всѣ ихъ пластинки, — имѣла среди нихъ любимыя и забракованныя.

— Вотъ. Музыки только не доставало! — возроптала Алиса.

— Отчего? — мирно отозвалась Наташа. — Вѣдь пріятно.

— Къ чему себя напрасно волновать?! — крикнула сестра.

«Мнѣ такъ хочется поплакать немного надъ своей жизнью, — записываетъ дальше Наташа. — У меня нѣтъ ничего личнаго! Шелеховъ?.. У меня отецъ есть; я слѣдила, какъ онъ началъ старѣть. И вижу, что скоро помретъ. Мнѣ такъ хочется что-то сдѣлать, разбить эту мертвую цѣпь! Вотъ отецъ у меня. Здоровъ онъ, но знаю, чую, что онъ умретъ скоро. Я сама объ этомъ думаю и понимаю! Что-же это такое? Вотъ я знаю, что вся тоска моя старая, — все это уже давно рыдано! Боже, какъ мертво рождается наша жизнь! Что-же это будетъ? Умретъ отецъ. Умретъ! И онъ это знаетъ, онъ чувствуетъ, что въ немъ притаился нѣкто. Я не хочу выбирать красивыя словъ. Мнѣ хочется излить мою горечь, мою печаль. Я знаю, что онъ уйдетъ. И онъ это знаетъ. Намъ это понятно.

Съ бѣлымъ ликомъ онъ склоняется ко мнѣ и мы вмѣстѣ рыдаемъ, о прошломъ, о жизни, которая уже протекла; и мнѣ стыдно того, что моя жизнь еще впереди. Какъ это несправедливо. Вотъ онъ хилый, не можетъ себя утѣшить мыслью, что еще мно-

го времени впереди... Мы оплакиваемъ его жизнь. Не жалуется онъ, но знаю, что творится въ его душѣ. И такъ хотѣлось бы вернуть ему силы, жизнь... отъ себя забрать. Но страшно, страшно мысли: если-бы дозволено было мѣняться!?.. (Кто знаетъ?!). Разсказываетъ онъ мнѣ тайны его жизни. Все, все. Какъ любилъ, какъ женился, какъ тихо жили съ мечтательной мамой. Иногда въ ихъ бытъ вкрадывались звуки безнадежно прекрасной музыки. Они прислушивались къ ней. И довѣрчиво пошли... Тамъ надо было сражаться и быть упорнымъ; а двери захлопнулись и музыки больше не слышно! Они свершили гадость. Люди, остающiеся всегда на своихъ мѣстахъ, это люди ровныхъ зубовъ и толстыхъ затылковъ: грубыхъ и тяжелыхъ... Инымъ же, лучшимъ, приходится худо: ихъ уничтожаютъ. Но раньше они успѣваютъ, успѣваютъ принести много вреда... А вскорѣ умерла мама. Какъ глупо все. Папа опустился... За что... Шелеховъ погрязъ въ тинѣ?..»

VIII

Шелехова Петръ засталъ уже готовымъ. Онъ не могъ заснуть, такая обстановка. Они отправились въ помѣщеніе арміи спасенія, гдѣ долженъ былъ выступать о. Жанъ.

Въ переулкѣ у воротъ ближайшаго дома они замѣтили Дарью. Она здоровалась со всѣми проходящими на собраніе. Шелеховъ ее поблагодарилъ за св. Писаніе; сказалъ, что прочелъ. Подошелъ сторожъ этого двора, прислушался; потомъ провелъ своей рукой по груди Дарьи, пошарилъ, помялъ грубо.

— Ну, ты, — отмахнулась та спокойно; вдругъ, оглянувшись на Петра и Шелехова, она испуганно и разсерженно начала его ругать. — Что ты, что ты? — сконфуженно и плачуще твердила она.

Большой залъ собранія былъ переполненъ. Онъ напоминалъ древнее ристалище: конусообразный циркъ, высокій, простой, съ амфитеатромъ взбѣгающими скамьями.

Послѣ краткой молитвы, аббатъ Жанъ началъ проповѣдь. Онъ разсказалъ о счастьи, овладѣвающемъ человѣкомъ, когда онъ признаетъ Христа своимъ личнымъ Спасителемъ. Это ничего не стоитъ. Оно дается даромъ. Нужна однако рѣшимость. Шагнуть черезъ разверстую пасть. Развѣ недостаетъ человѣку мужество? На утлой машинѣ перелетаютъ они бушующія моря! Люди слишкомъ довѣряютъ собственнымъ издѣліямъ. Чтобы переплыть духов-

ный океанъ нѣтъ машинъ. Надо отдаться мягкимъ рукамъ Христа. Нужна вѣра. Мужество! Не бойтесь: Онъ васъ не уронитъ! Утлому пропеллеру довѣряете?..

— Какъ старые ветераны стремятся по любому поводу вспомнить, распространиться о минувшихъ взятыхъ крѣпостяхъ... такъ мы, духовные бойцы и странники, все чаще и чаще возвращаемся къ подробностямъ собственнаго спасенія, къ кампаніи со смертью, битвѣ со грѣхомъ, побѣдѣ надъ временемъ! — сказалъ о. Жанъ. Засимъ воспослѣдовала исторія его бытія, — какъ онъ выразился:

Обычная жизнь католическаго аббата. Не безъ грѣховъ. Въ лучшемъ случаѣ безъ пороковъ. Но гдѣ-же подвигъ? Гдѣ трудъ? Дѣйствующее исповѣданіе? Ибо мало вѣрить. Увѣровавшій это знаетъ! Однажды, очутившись на такомъ вотъ молитвенномъ собраніи, онъ вдругъ почуялъ — впрочемъ не впервые — что каждое слово проповѣдующаго методиста бьетъ его какъ бы по темени; всякое изреченіе подмываетъ что-то сдѣлать, не остаться безмолвнымъ зрителемъ въ этомъ героическомъ трудѣ. «Пойдите сюда! — взывалъ методистъ. — Опуститесь на колѣни, покаемся! Порвите съ неопредѣленностью! Помогайте сѣять Христа на людской нивѣ. Не медлите! Когда послѣдній человѣкъ покается: придетъ Спаситель!..» Аббату Жану хочется броситься къ алтарю; помолиться и смѣнить усталаго проповѣдника. Но вмѣстѣ съ тѣмъ робость, рабская трусость, нашептываетъ: не спѣши! подумай! Вѣдь ты пастырь церкви! Погоди немного!.. Такъ ли уговаривалъ змій Еву?!

Но, какъ птица, осеннимъ ненастьемъ, всѣми своими полыми костями чувствуетъ, что если она не сорвется сейчасъ съ мѣста, не ударитъ крылами, не противостоитъ грудью упругому вѣтру, — падутъ морозы, запорошитъ снѣгъ, низвергнется зима и не вырваться уже ей изъ смертныхъ лапъ никогда, никогда...

такъ о. Жанъ тогда осозналъ, что если онъ сейчасъ же не двинется, не сдѣлаетъ усилія разорвать дьявольскія цѣпи, не выступитъ впередъ, — не взирая на сотни любопытныхъ взглядовъ о томъ же думающихъ людей! — то онъ останется за бортомъ любви! Онъ подумалъ, что, не повиновавшись внутреннему зову, — тѣмъ самымъ потушитъ затеплившійся свѣтлый огонекъ; потеряетъ начинающуюся разливаться по груди теплоту, отъ которой онъ себя чувствовалъ преображеннымъ. И мысль вернуться въ старое, въ тусклую жизнь, сумрачную квартиру съ экономкой, съ офиціальной службой, ужаснула его! Онъ зажмурилъ глаза и шагнулъ, какъ бы въ бездну. Одинъ шагъ. Потомъ его уже несли словно крылья. Кто-то велъ его, ласково подталкивалъ, зажегъ свѣтъ въ зрачкахъ и нашелъ нужныя слова покаянной молитвы. «И се Я съ вами отнынѣ и во вѣки. Аминь».

— Такъ я превратился въ брата Жана, обрѣтя жизнь и радость. Се васъ прошу, зная все горе и отчаяніе: придите къ источнику, въ коемъ для всѣхъ хватитъ живого питія. Испытайте Бога и будете вознаграждены. Свидѣтельствую о томъ... — закончилъ о. Жанъ.

Затѣмъ онъ воззвалъ къ желающимъ отдать свою жизнь Христу, — выступить къ алтарю и помолиться сообща.

Сверху вдругъ прогремѣлъ мужественный, рѣзкій голосъ:

— Товарищи, васъ обманываютъ! — Васъ обманываютъ! — кричало уже нѣсколько голосовъ.

Свисая съ хоръ, группа мужчинъ въ синихъ, пролетарскихъ блузахъ, съ декоративно засученными рукавами, кричала:

— Товарищи, что они съ нами дѣлаютъ! Образумтесь!

Одинъ изъ нихъ, сильный загорѣлый брюнетъ со стогомъ отливающихъ вороньимъ крыломъ кудрей

вопилъ охрипшимъ голосомъ прирожденнаго митинговаго оратора:

— Васъ обманываютъ! Ему платятъ жалованье. Англійскіе фунты! Товарищи, рабочій классъ имѣетъ другіе пути! Англійскіе капиталисты, обирая угнетенныя племена, бросаютъ золото на отвлекающій пролетарьятъ отъ борьбы религіозный дурманъ! Онъ васъ назвалъ братьями: посмотрите на его шелковую сутану! Онъ спасенъ? Это понятно: онъ получаетъ сорокъ фунтовъ стерлинговъ въ мѣсяцъ! Ихъ выжимаетъ налоговой прессъ изъ тушъ трудящихся. Пролетарьятъ долженъ знать своихъ враговъ! Товарищи, обратите вниманье на его утробу! Развѣ это его пузо? Нѣтъ, это наше пузо! Друзья, то нашъ врагъ непримиримый! Не забывайте этого въ разгарѣ эпической борьбы! Всякій ищущій у нихъ спасенье, — предатель! Нашъ праздникъ наступитъ, когда застрочатъ пулеметы и на ратушахъ столицъ водворятся махровые флаги. Тогда послѣдній Богъ повиснетъ на кишкахъ послѣдняго жреца. Пусть гремитъ громъ борьбы! — закончилъ онъ, потрясая руками, какъ бы умоляя.

— Намъ музыки не надо! — подхватили хоромъ его единомышленники.

— Тамъ Павелъ, — взволнованно прошепталъ Шелеховъ Петру.

— Да, — отвѣтилъ тотъ, учащенно дыша.

— Вонмите! — старался ихъ перекричать проповѣдникъ. — Не меньшее вашего ищемъ, но большаго! Впередъ! Сюда! Ко Христу. Искушенію нельзя не быть, но горе тому, чрезъ кого оно приходитъ. Откройте двери сердецъ вашихъ на стукъ и Онъ войдетъ и сотворитъ вечерю! Шагните, братья, шагните сюда!

Залъ глухо заволновался. Топталась, шелестѣла толпа, нерѣшительно поглядывая то на проповѣдника, то на оратора. Нѣсколько человѣкъ вѣру-

ющихъ попробовало было протиснуться, показать примѣръ, но какъ-то очень нерѣшительно: они разсосались по пути; иные пытались поддержать агитатора, но тоже неумѣло.

— Мужественнѣе. Довѣрчивѣе! — молилъ о. Жанъ, стараясь встрѣтить взглядъ хоть одного изъ близъ стоящихъ.

Вдругъ толпа, гдѣ-то глубоко, начала раздаваться, передніе тѣсниться, пятиться, — въ образовавшемся проходѣ вскорѣ можно было разглядѣть осторожно пробирающуюся дѣвушку. Румяная, молодая, сильная, она шла и ея русыя, толстыя косы туго били ее по стану. Смѣлымъ, горячимъ взглядомъ глядя предъ собой, она, не замѣчая толпящихся, съ отважно поднятой головой, приблизилась къ алтарю и опустилась на колѣни, — легко, вкрадчиво бросивъ свой крѣпкій корпусъ. Пала ницъ, распростершись на полу.

Многогортанный шумъ пронесся по залу. Какой то хмель охватилъ нѣкоторыхъ, экстазъ; многіе, восторженно глядя, послѣдовали за ней. (Толпу часто вела женщина).

Какъ въ клѣткѣ метался о. Жанъ межъ потянувшимися со всѣхъ сторонъ братьями. И оттого, что онъ одинъ среди нихъ, колѣнопреклоненныхъ, стоялъ выпрямившись во весь ростъ, — бѣгалъ, хлопоталъ: тому дастъ библію, тому пѣсенникъ, — онъ казался какой-то смѣшной встревоженной птицей или нелѣпымъ звѣремъ.

Въ центрѣ этой группы, распростершись въ поклонѣ всѣмъ своимъ чистымъ, молодымъ тѣломъ, неподвижно лежала въ зеленомъ простомъ платьѣ стройная дѣвушка. Наверху протяжно разсказывалъ органъ о воскресеніи изъ мертвыхъ.

— И я бы пошелъ! — сказалъ вдругъ Петръ, насупясь.

— Чего-жъ... — сказалъ Шелеховъ.

— Чего ходить. — буркнулъ тотъ. — Православные мы.

А хоръ наверху пѣлъ о Христѣ, рожденномъ дѣвушкой Маріей.

Мучимомъ Понтіемъ Пилатомъ.

Распятомъ.

Умершемъ и Погребенномъ.

А на третій день представшемъ изъ мертвыхъ.

Своею смертью многихъ воскресивъ. —

Сильнымъ броскомъ склонилась дѣвушка въ яркомъ платьѣ, молясь. Органъ вторилъ мучительно и прекрасно. Задумчиво взирала толпа.

Послѣ собранія Шелеховъ съ Петромъ пошли къ аббату Жану пить чай.

Въ просторномъ кабинетѣ, куда они поднялись по мраморной лѣстницѣ, стоялъ большущій рабочій столъ, заваленный книгами, журналами, письменными принадлежностями, «ундервудомъ». Вдоль стѣнъ тянулись дубовыя полки, плотно уставленныя томами разныхъ форматовъ.

Усталый пастырь усѣлся въ глубокое, мягкое кресло, похожее на экипажъ, и флегматически задымилъ трубкой. Служанка незамѣтно обнесла всѣхъ чаемъ со сливками, сухими бисквитами и вареньемъ.

— Какъ надо понимать Екклезіаста? — задалъ Шелеховъ первый вопросъ. — Какъ могли канонизировать эту книгу, включить во св. Писаніе, когда авторъ чистосердечно заявляетъ, напримѣръ, что лучше псу живому, нежели мертвому льву! Вѣдь этакъ могъ выразиться только невѣрующій человѣкъ!?

Аббатъ медленно заговорилъ, постепенно оживляясь. Видно было, что онъ знатокъ теологическихъ тонкостей, любитъ ихъ и удѣляетъ этому много времени.

— Умные люди рѣже ошибаются, — закончилъ онъ. — Но если они уже вершатъ ошибку, то непо-

правимую. Ибо подсознаніе, интуиція у нихъ въ ежовыхъ рукавицахъ! Подъ спудомъ.

Шелеховъ неудовлетворенно вздохнулъ; что ему до того, что Екклезіастъ написанъ двумя людьми разныхъ эпохъ; что въ концѣ авторъ раскаивается и принимаетъ Бога. Все это не то. — Что дѣлать?

— «Скажи, какъ найти жизнь вѣчную?» — процитировалъ о. Жанъ. — «Какъ найти жизнь»... это спросилъ тюремный стражъ у заключеннаго Павла-Савла. «Увѣруйте въ Іисуса Христа» отвѣтствовалъ тотъ.

— Это ничего! — съ досадой возразилъ Шелеховъ. — Это то же самое, что посовѣтовать слѣпцу держаться такой-то и такой-то звѣзды. Я не могу увѣровать только по призыву, ибо я слѣпъ въ какомъ-то смыслѣ. Или зрячъ, — бросилъ онъ устало. — Жизнь полна ужасовъ, несправедливостей и болей. Я требую отъ Бога немедленнаго правосудія. Не любви, а правосудія: убійцѣ я не протяну руки, даже если онъ мой сынъ. И смерть, смерть дышетъ кругомъ. Смерть! — вскрикнулъ онъ.

— Да, — озабоченно замѣтилъ о. Жанъ. — Это вѣрно. Только, смерть не должна насъ пугать. Смерть для тѣхъ страшна, коимъ она возвѣщаетъ послѣдній аккордъ; для коихъ послѣ ударовъ молоткомъ по крышкѣ гроба прекращается все... А вѣдь для насъ тогда собственно и начинается подлинная жизнь. Смерть насъ не можетъ страшить.

— Вотъ вы, вы вѣдь старикъ, — вырвалось у Шелехова. — Неужели вы ничего не боитесь?!

Осторожно прихлебывая изъ чашки, о. Жанъ заговорилъ; внятно, раздѣльно съ большими паузами.

Шелеховъ слушалъ невнимательно, время отъ времени брезгливо ежась отъ словъ, часто употребляемыхъ аббатомъ: «Богъ хочетъ... Богъ не хочетъ»..

— А вы... христіанинъ? — спросилъ вдругъ о. Жанъ Петра.

— Я?.. Православный, — не сразу нашелся тотъ.

— Я знаю, — кивнулъ о. Жанъ. — Но христіанинъ ли вы?

Петръ растерянно заморгалъ вѣками.

— Какъ всѣ, — бросилъ онъ. — Вотъ какъ онъ! — нелѣпо показалъ онъ на Шелехова.

Въ сосѣдней комнатѣ стукнули дверью и мягко зашагали... Прислуга начала приготовлять на ночь огромную постель. О. Жанъ поднялся и прикрылъ дверь въ спальню.

Черезъ нѣсколько мгновеній она вошла въ кабинетъ и съ поклономъ протянула аббату запечатанный пакетъ. Шелеховъ съ Петромъ деликатно отошли къ книжнымъ шкафамъ, чтобы не мѣшать хозяину.

— Что это? Что это? — дрожащимъ голосомъ спрашивалъ аббатъ. Шелеховъ съ Петромъ поспѣшно обернулись. — Что это можетъ быть? — воскликнулъ о. Жанъ, тыча пальцемъ въ траурную кайму конверта и недовѣрчиво началъ читать. Сперва молча, но погодя сталъ испускать восклицанія: — А! О!

— Что-нибудь непріятное? — съ вѣжливымъ сочувствіемъ произнесъ Шелеховъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, — повторялъ аббатъ, видимо, обрадованный. — Даже наоборотъ.

Заглянулъ въ пакетъ и бережно извлекъ оттуда двѣ голубыя, иностранныя ассигнаціи. Молодцевато и увѣренно протрусилъ къ ящику стола. Выдвинулъ его и, доставъ вязанный мѣшечекъ, усыпанный бисеромъ, положилъ въ него голубоватыя бумажки съ той торопливостью, съ какой люди обычно при чужихъ обращаются съ деньгами.

— Наоборотъ. Наоборотъ, — все приговаривалъ о. Жанъ. — Вѣроятно, у него какой-нибудь дальній родственникъ умеръ, — объяснялъ онъ, кивая на траурную кайму конверта. — Наоборотъ. Наоборотъ.

— Скажите, развѣ необходимо вѣрить въ чудес-

ное зачатіе Іисуса Христа? — неожиданно брякнулъ Петръ.

— Первое Евангелье, — отъ Марка! — не содержитъ въ себѣ упоминанія объ этомъ, — размѣренно опять потекла рѣчь о. Жана. — Много Іудеевъ увѣровали по этому Евангелью; прожили свое время и ушли въ лучшій міръ, не зная о другихъ посланіяхъ. Признавъ Іисуса Христа своимъ Спасителемъ, ведя примѣрный образъ жизни и часто погибая за свое вѣроисповѣданіе, они естественно были христіанами! Такъ что изъ этого можно сдѣлать выводъ, что не зачатіе главное...

— Какой смыслъ имѣетъ чудесное зачатіе? — перебилъ Петръ.

— Видите ли, рожденные естественнымъ путемъ, неминуемо подвержены закону наслѣдственности грѣшащаго изъ поколѣнія въ поколѣніе человѣчества. А искупительная жертва, какъ указано въ библіи, должна быть чиста.

— Ахъ! какъ это интересно. Признаться, у меня нѣтъ библіи.

— Хотите, я вамъ подарю? — привычно подхватилъ о. Жанъ.

— Объ этомъ хотѣлъ васъ просить! — тотчасъже признался Петръ. Шелеховъ удивленно на него поглядѣлъ.

Аббатъ извинился и вышелъ въ корридоръ, позвякивая связкой ключей. Петръ медленно разгуливалъ по кабинету. Подошелъ къ стеклянной двери, ведущей на балконъ; пріоткрылъ ее, шагнулъ наружу.

— Дождитъ? — спросилъ Шелеховъ.

— М-да... То-есть, нѣтъ! — спохватился тотъ. Тихо прикрылъ дверь и поправилъ занавѣсъ. Снова зашагалъ по комнатѣ, озираясь.

— Вотъ, — крякнулъ издали о. Жанъ, хлопая оглушительно ладонью по переплету. — Вотъ, — повторилъ онъ, входя и отряхивая книгу отъ пыли. —

Пожалуйста. Собственноручнѣйшій переводъ Побѣдоносцева. А у васъ, Шелеховъ, есть св. Писаніе?

— Какъ же! — отозвался тотъ. И сталъ подыматься. — Пора и честь знать.

— Заходите на собранія, — пригласилъ о. Жанъ. — Есть мнѣ еще о чемъ съ вами потолковать. Дѣльце.

Вышли. Петръ часто оглядывался на этотъ толстый, каменный домъ, похожій на бочку.

— Поѣду къ Бозенамъ ночевать, — сообщилъ Шелеховъ. — Дома у меня жутко, милый. Хоть въ яму. Не могу глаза сможить.

— Стерлинги тамъ? А? — подмигнулъ вдругъ Петръ.

— Гдѣ?

— А бумажки! — кивнулъ онъ по направленію только что оставленнаго зданія.

— Возможно, — задумался Шелеховъ. — Они хорошіе ребята. Помогаютъ въ нуждѣ. Ты бы къ нимъ зачастилъ. Ей Богу!

— Вотъ что... — оборвалъ его рѣшительно Петръ. — Ты иди къ Бозенамъ. А я лучше поспѣшу домой. Одиннадцатый часъ на исходѣ. — И сунувъ Шелехову руку онъ побѣжалъ впередъ.

Г-жа Бозенъ была уже въ постели. Встрѣтила Шелехова радушно, однако, въ просьбѣ ночевать, — отказала: не ловко!

— Я усталъ, прахъ его дери, — уговаривалъ Шелеховъ. — Нѣсколько ночей потерялъ! Подумай!

— Не хочу. Могу тебѣ одолжить на лучшій отель, а здѣсь не хочу, — стояла она на своемъ.

— Денегъ я у тебя не возьму, — вздохнулъ Шелеховъ. — По настоящему я тебѣ бы ихъ долженъ былъ давать.

— Только безъ пошлостей.

— Не опасайся! Впрочемъ, могу тебѣ отплатить цѣннымъ признаніемъ взамѣнъ за твои истины! — ухмыльнулся Шелеховъ, что-то вспомнивъ.

— А что? — оживилась г-жа Бозенъ.

— Уходя отъ тебя въ послѣдній разъ, я это придумалъ. Слушай: покидая принадлежавшую ему только что, безмозвездно, женщину, мужчина ощущаетъ, почти всегда, этакое подленькое трусливенькое чувство: тутъ и радость, тутъ и угрызеніе совѣсти!

— Да? — задумалась она. — Возможно. А теперь убирайся.

— Да? — съ любопытствомъ освѣдомился онъ. — У тебя, вѣроятно, регулы.

— Пошелъ вонъ, — спокойно повторила г-жа Бозенъ.

Шелеховъ вышелъ. У самаго дома онъ столкнулся съ подъѣхавшимъ на автомобилѣ Робертомъ.

—Ты еще не спишь? — затормошилъ онъ Шелехова. — Вѣдь ты здорово усталъ.

— Ничего. Сейчасъ пойду къ Музѣ спать.

— Сядемъ. Я долженъ съ тобой о многомъ подѣлиться. Ты меня поймешь. Жаль, что машина пошаливаетъ: отвезъ бы тебя.

Пришлось сѣсть на скамью и слушать сбивчивыя, туманныя разсужденія Роберта. Изъ его разныхъ вздоховъ, намековъ, восклицаній, Шелеховъ долженъ былъ догадаться, что Робертъ хочетъ объясниться откровенно съ Музой. Онъ давно чувствовалъ въ себѣ какой-то разладъ. Фальшивые аккорды.

— Да, Шелеховъ! Мама права: я не долженъ жениться на Музѣ. Мы будемъ несчастливы.

Теперь, глядя на ея вспухшее отъ горя лицо, и чувствуя больше отвращенья и брезгливости, чѣмъ сочувствія, Робертъ окончательно убѣдился, что любилъ въ ней только внѣшность. Да. А жена должна быть другомъ, товарищемъ.

Къ тому же, отъ ея волосъ пахнетъ керосиномъ. Ей Богу! Гниды ли она выводитъ или другое!? Ей Богу.

Коротко говоря, Робертъ просилъ совѣта: сра-

зу ли, теперь-же, сообщить ей обо всемъ, объясниться, — клинъ клиномъ вышибить; или погодя немного, такъ сказать, самому времени предоставить дѣйствовать, подготавливая путь намеками?

Шелеховъ не слушалъ его уже давно, безцѣльно, безсмысленно какъ-то, шевеля пальцами передъ своимъ носомъ; вдругъ приподнялся и сказалъ:

— Пошелъ вонъ. Пошелъ вонъ, — и медленно зашагалъ прочь. Онъ весь согнулся въ три погибели: отъ усталости, отъ гадливости, изъ-за начавшаго моросить холоднаго дождя.

Какъ раздувшіяся бочки съ лопнувшими обручами, — стояли, насупившись, дома. У подворотенъ нетерпѣливо расхаживали проститутки. Шелеховъ пересѣкалъ улицу и вдругъ застылъ на мѣстѣ, молча слѣдя за скользящимъ мимо такси... Гудящій, ночной автомобиль вела женщина-шофферъ въ форменномъ картузѣ... Блѣдный, красивый ликъ со строгимъ профилемъ. Усталымъ, внимательнымъ, зоркимъ и какимъ-то ободряющимъ взоромъ, она скользнула по Шелехову, кистью руки указывая свое направленіе. Лицо Шелехова, искривленное почти какъ у существа, терпящаго физическую боль, разгладилось, даже посвѣтлѣло. стало добрымъ и немного дѣтскимъ. Онъ долго глядѣлъ ей вслѣдъ, потряхивая головой, что-то шепча, улыбаясь. Почувствовалъ даже на своихъ глазахъ благодарныя слезы, — отъ слабости ли, или такъ его тронулъ образъ этого тихаго и честнаго лица на твердыхъ мостовыхъ чернаго города. Автомобиль предостерегающе и мужественно трубя, скрылся въ асфальтовой перспективѣ засыпающихъ площадей. Благословляющимъ, почти молитвеннымъ взоромъ, проводилъ его Шелеховъ; нѣсколько разъ оглядывался еще, сходя по лѣстницамъ подземной желѣзной дороги.

IX

Былъ второй часъ ночи. Мелкій дождикъ продолжалъ орошать цементъ панели; холодноватый. Фонари свѣтили расплывчато и мутно. На круглыхъ стеклахъ желѣзныхъ очковъ бездомнаго нищаго застыли капли воды, и сквозь дрему ему все кажется, будто міръ усыпанъ многоугольными звѣздами.

Поднявъ воротникъ пиджака, низко нахлобучивъ картузъ, — идетъ человѣкъ. Онъ прячется у самыхъ стѣнъ, въ тѣни. Озирается украдкой, исподволь. Руки его въ карманахъ; локти крѣпко прижаты къ вздувшимся бокамъ. Вотъ онъ сворачиваетъ въ переулокъ... еще разъ. Вонъ темная уличка. Человѣкъ переходитъ на другую сторону, прикладываетъ ладонь къ козырьку и смотритъ вверхъ, — на новый каменный домъ. На балконѣ второго этажа онъ замѣчаетъ мокрый лоскутъ, — тряпку, болтающуюся маятникомъ. Человѣкъ удовлетворенно мычитъ; не сводя глазъ съ балкона, пересѣкаетъ опять темную мостовую. Достаетъ изъ подъ промокшаго пиджака узелъ веревокъ съ привязанной въ одномъ концѣ подковой; дѣлаетъ нѣсколько шаговъ въ сторону и, спустивъ подкову до колѣнъ, начинаетъ вращать веревку.

Желѣзо описываетъ упругіе круги. Нацѣлившись, Петръ выпускаетъ ее вверхъ, впередъ, — подавая лѣвой рукой распутанную бичеву. Отброшенная центробѣжной силой тяжесть птицей ударяется

о парапетъ балкона. Петръ замираетъ, припавъ къ землѣ, напрягая каждый свой мускулъ, какъ бы этимъ думая остановить, удержать на мѣстѣ, съ трескомъ срывающуюся внизъ подкову. Совсѣмъ вблизи прогудѣлъ рожокъ, послышались голоса. Петръ притаился у стѣнки. Онъ боится, что сухой стукъ его зубовъ слышенъ всѣмъ. Онъ вкладываетъ три мокрыхъ, толстыхъ пальца въ ротъ, — зубы больно ихъ рѣжутъ, судорожно сжимаясь. Опять тихо. Петръ шагаетъ въ сторону. Подкова вращается, готовясь къ прыжку. Когда-то на родной рѣчкѣ Петръ вотъ такъ забрасывалъ удочку подальше отъ берега. Для этого ниже поплавка привязывали свинцовую пломбу, — крючокъ съ насадкой уходилъ въ глубокій омутъ. Петръ улыбается: то было хорошее время. Закусивъ губу, извиваясь штопоромъ, — онъ бросаетъ! Веревка съ мягкимъ, глухимъ шумомъ бьетъ по рѣшеткѣ; грузъ раскачивается, слегка сползая и ударяясь о желѣзные поперечники. Зацѣпилъ... Выждавъ немного, Петръ пускаетъ свой конецъ шнура вверхъ, — подкова съѣзжаетъ внизъ. Но она задержалась на полу балкона. Надо дернуть обратно. Такъ нѣсколько разъ. Мелкій, настойчивый дождь орошаетъ камни. Наконецъ, Петръ держитъ оба конца въ своихъ рукахъ. Въ это время пропѣлъ пѣтухъ! Показалось ли это ему или дѣйствительно какой-то чудакъ здѣсь завелъ птицу, но Петръ явственно запечатлѣлъ его зовъ. И крикъ этотъ, близкій и понятный отъ самой колыбели, причинилъ ему теперь столько же радости, сколько и горя.

— Надо кончать, — рѣшительно скрипнулъ онъ зубами, и, перекрестившись истово, натянулъ шнуръ. Такъ крестился онъ, когда крючокъ на тонкой волоснѣ застревалъ межъ рѣдкимъ камышемъ или тростникомъ, и предстояло, быстро обнажившись, бултыхнуться въ холодную, темную заводь, гдѣ такъ славно клюетъ въ вечеру.

Упираясь сапогами о стѣнку, цѣпляясь руками за канатъ, Петръ тянулся все выше и выше. Веревки гудѣли, какъ струны, зловѣще поскрипывая.

— Ненадежная, ненадежная! — прыгало у него передъ глазами.

Собственно, она обязательно должна была уже подгнить: она пролежала въ корзинѣ со времени ихъ пріѣзда изъ Россіи. Въ темнотѣ онъ ее лишь поверхностно могъ проконтролировать.

— Ненадежная. Ненадежная, — раскачивался онъ.

Ладони горѣли; сухія, воспаленныя. Мокрыя подошвы съ шумомъ скользили по плитамъ. Наконецъ-то, онъ стукнулся плечомъ о полъ балкона. Ухватился. Взобраться, однако, не легко. Перила: желѣзная рѣшетка, высокая, — поставить ноги, утвердиться, негдѣ. Шумно, скоро, кто-то зашагалъ по сосѣднему тротуару. Въ невыносимой позѣ, — съ одной ногой, заброшенной вверхъ, другой, притиснутой къ полу терассы, вися на рукахъ, зубами придерживая болтающіяся веревки, — Петръ провелъ томительную, душунадрывающую минуту. Погодя немного, снова дернулся. Сердце толкалось о ребра; въ головѣ начинало мутнѣть. Уже не онъ, а кто-то за него сдѣлалъ рѣзкое, упругое движеніе, — какъ разъ нужное, точное! Ему удалось занести ногу; перекинуть центръ тяжести по другую сторону перилъ... Упалъ на балконъ. Полежалъ, приходя въ себя. Потъ, смѣшиваясь съ дождемъ, стекалъ по его щекамъ ручейками; онъ распахнулъ рубаху, подставилъ грудь холоднымъ каплямъ. Потомъ втянулъ за собой канатъ.

— А что, если онъ провѣряетъ запоры? — подумалъ Петръ. Онъ приподнялся, отвязалъ свой платокъ, оставленный давеча, когда былъ съ Шелеховымъ и шагнулъ къ дверямъ.

Дверь мягко распахнулась. И вмѣстѣ съ радостью онъ вдругъ почувствовалъ — именно въ это

мгновеніе — холодное, мрачное отчаяніе. Онъ присѣлъ, снялъ ботинки и положилъ ихъ себѣ въ карманъ: все, какъ обдумалъ, — съ дѣтства еще. Какъ-то отрывками, подготавливаясь, предчувствуя такую ночь. Эту ли, другую ли еще, — кто знаетъ? Нагнувъ голову, онъ ступилъ черезъ порогъ и тотчасъ же испуганно отстранился, ударившись головой объ что-то мягкое. «Гардины!» облегченно сообразилъ онъ. Прикрылъ за собой дверь. И чиркнулъ... робко, весь содрогаясь. Первая спичка не зажглась. «Ахъ, фонарикъ бы электрическій!» взмолился Петръ. Второй разъ чиркнулъ... зажегъ огарокъ свѣчи. Шагнулъ къ столу... не ногами только, — а всѣмъ тѣломъ: бедрами, плечами. Двинулъ изъ подъ низу ящикъ. Не поддается, — запертъ! Петръ извлекъ ножикъ. Складной, перочинный, — однако, онъ досталъ его изъ кармана уже раскрытымъ. Медленно ввелъ въ скважину, нащупалъ языкъ замка, поднялъ кверху лезвіе, чтобы просунуть. Ножъ лязгнулъ по стали, соскользнулъ. Петръ сдѣлалъ легкій надрѣзъ въ деревѣ, прицѣлился, давнулъ. Тонкій клинокъ сгибался. Рѣшился: еще сильнѣе нажалъ. Тихо щелкнувъ, раскрылся замокъ, — ушелъ во внутрь. Минуту простоялъ Петръ, настороженно выжидая. «Неужели сердце такъ стучитъ?» — подумалъ онъ, оглядываясь и прикладывая руку къ груди. Нѣтъ, — стукъ раздается отдѣльно. «Часы!» догадался онъ, найдя глазомъ настольный будильникъ, съ хитрымъ маятникомъ. Онъ, давеча, — сидя здѣсь, — долго любовался ихъ устройствомъ. Когда это было? Вѣдь только сегодня! Сегодня вечеромъ, — а кажется годъ! Нѣтъ, эти часы могутъ своимъ шумомъ разбудить мертваго. Петръ снялъ картузъ и накрылъ часы. Потомъ сразу, жадно дернулъ ящикъ, — выдвинулъ. Досталъ красную вышитую сумочку - кошель. Развязалъ затѣйливую петлю. Схватилъ двѣ голубенькія бумажки. Потомъ одну зеленую — американскую. Отбросилъ въ сторону документъ,

тяжелый крестъ съ брилліантами, чековую книжку, страховой полисъ. Взялъ только еще нѣсколько золотыхъ монетъ и, выпрямившись, почти успокоенный, поднялъ глаза. Противъ него, у самыхъ дверей, завернутый въ полосатый халатъ, изъ подъ котораго виднѣлись круглыя, какъ мячики, икры, въ бархатной ермолкѣ, — стоялъ аббатъ, удрученно и жалостливо улыбаясь.

— Это не мои деньги, — произнесъ онъ, наконецъ, дрожащимъ, но внятнымъ шопотомъ.

И тутъ вдругъ Петръ, выронивъ деньги и простеревъ руки, бросился къ нему, твердя:

— Отецъ. Аббатъ. Милый. Я не могу! — Его глаза заискрились свѣтло и радостно. Онъ облегченно, громко дышалъ. — Я не могу. Я долженъ, — твердилъ онъ и, схвативъ висящія плетьми руки о. Жана, началъ жать ихъ и трясти.

— Это не мои деньги, — умоляюще, но твердо повторялъ о. Жанъ.

— Я знаю. Я знаю, — поспѣшно отмахивался Петръ, какъ будто это мелочь, не въ этомъ сейчасъ суть. — Я не могу. Отецъ Жанъ, я не могу, — безтолково увѣрялъ онъ.

— Успокойтесь. Успокойтесь, — сипловато попросилъ аббатъ, постепенно приходя въ себя. Приблизившись къ столу, онъ машинально сталъ набивать свою обкуренную трубку, потомъ, оставивъ это, захлопнулъ выдвинутый Петромъ ящикъ. Неодѣтый, безъ очковъ, непричесанный, — онъ выглядѣлъ добрымъ, немного испуганнымъ, растеряннымъ дѣдомъ.

— Я не могу. Я долженъ уѣхать, — умолялъ Петръ.

— Что вы не сказали? — лепеталъ тотъ. — Я посмотрю. Мы посмотримъ. Мы увидимъ на досугѣ.

— Я не могу. Я не могу, — произнесъ еще нѣсколько разъ Петръ; потомъ осѣкся.

— Придите днемъ; посмотримъ, — поспѣшно твердилъ аббатъ, собирая деньги.

— Аббатъ, — произнесъ вдругъ угрюмо Петръ. — Зачѣмъ днемъ!? Аббатъ! Дай мнѣ одну бумажку! Я уѣду! Я отдамъ. Вотъ тебѣ крестъ, — повернувшись къ пустому углу, онъ перекрестился и поклонился. — Я пришлю!

— Это не мои деньги, — нетерпѣливо вскричалъ о. Жанъ. — Я соберу, узнаю. Придите послѣзавтра. Нельзя же сразу? — изумленно развелъ онъ руками. — Сейчасъ вотъ чѣмъ владѣю! — онъ торопливо досталъ изъ подъ сукна стола бумажку. — Пожалуйста. Свои могу дать!

Петръ грубо махнулъ рукой.

— Мнѣ валюта нужна, — сказалъ онъ. — Я не нищій. Я уѣхать хочу! — сердито опустившись на полъ, онъ извлекъ башмаки и сталъ обуваться.

Аббатъ присѣлъ на край мягкаго кресла и, не глядя на него, забарабанилъ пальцами по столу.

— Стукнуть бы тебя разъ по черепу, — буркнулъ Петръ. — Вотъ что. Ну, зовите полицію.

— Зачѣмъ? — встрепенулся о. Жанъ.

— Какъ зачѣмъ? Въ тюрьму меня.

— Я васъ не осуждаю, — проговорилъ старикъ. — И Богъ васъ проститъ, помолитесь только, — не совсѣмъ спокойно продолжалъ онъ.

— Знаю, — прервалъ его Петръ. — А ежели я пожелаю полицію?

О. Жанъ безпомощно взмахнулъ руками.

— Богъ съ тобой, аббатъ, — быстро согласился Петръ. — Выпусти меня. А подарочекъ то, можетъ, и взять? — подмигнулъ онъ хитро на аккуратно сложенную ассигнацію.

— Обязательно берите, — попросилъ о. Жанъ, направляясь съ ключами къ двери.

— Ладно, возьму... Постой! Веревки достану! — вспомнилъ затѣмъ Петръ. И юркнувъ на балконъ, онъ

принесъ канатъ съ подковой. — Получи, аббатъ, — бросилъ онъ кулекъ на полъ. — Подарочекъ. На собраніи покажешь съ соотвѣтствующимъ текстомъ, — усмѣхнулся онъ.

— Заходите къ намъ. Заходите, — отвѣтилъ о. Жанъ. — Обязательно что-нибудь для васъ устроимъ. Я знаю русскихъ. Я о васъ не искушаюсь. Будьте спокойны. Главное, не отчаяться!

— Мели. Мели, — угрюмо остановилъ его Петръ.
— Добраго здравія, папаша, — уронилъ онъ, выходя на лѣстницу и выругался.

Аббатъ старательно закрывалъ дверь. Черезъ минуту раздался сильный стукъ.

— Кто тамъ? — испуганно и раздраженно спросилъ аббатъ.

— Я, папаша. Все я, — охотно откликнулся Петръ. Онъ весь дрожалъ мелкой дрожью.

— Чего надобно?

— Забылъ я. Иструментикъ забылъ.

— Какой еще иструментъ?

— Ножичекъ, папаша. Ножичекъ. Что карандашики чинятъ заграничные мальчики. На столикѣ остался. Да пріоткрой дверцы. Не искушайся о насъ, папаша. Вѣрно, говорю. Каскетикъ еще на часикахъ лежитъ: боялся обезпокоить твой сонъ.

О. Жанъ, пріоткрывъ дверь, — оставивъ ее на стальной цѣпочкѣ, — засѣменилъ и вынесъ ему ножъ съ картузомъ,

— Дрянная цѣпь, — развязно кивнулъ Петръ. — Перекусить: разъ-разъ. Вотъ еще, аббатъ, тебѣ подарочекъ. Бери, — онъ протянулъ ему только что взятую ассигнацію. — Мнѣ она ни къ чему. Купишь книжекъ побольше. Такъ и запиши въ блокъ-нотикъ: «отъ неизвѣстнаго жертвователя на св. Писаніе синодальнаго изданія», — и, дернувъ дверь, Петръ застучалъ по ступенькамъ.

Падалъ дождь. Подошвы ботинокъ сопѣли, хлюпали.

«Собственно, я простужусь!» — мелькнуло у Петра. Дрожа отъ озноба, онъ все кутался въ мокрыя полы своего пиджака.

— Чортъ, — сердито выругался онъ. — Ахъ ты дьяволъ, — остановился и со всѣхъ силъ ударилъ колѣномъ о стѣну.

Безшумно осыпалась штукатурка. Чашечка заныла, заколола, остро и одурманивающе. Петръ зашагалъ дальше, прихрамывая; сладострастно наваливаясь посильнѣе на болящую ногу.

— Явился, рекрутъ?! — встрѣтилъ его отецъ. — Думалъ, что хоромы другія завелъ себѣ. Дармоѣдъ. — Впрочемъ, въ ворчаньи старика была и доля удовольствія: при своей безсонницѣ онъ долженъ былъ радоваться всякому развлеченію.

Петръ молча раздвигалъ складную кровать, — изголовьемъ къ выходной двери. Дунувъ на ночничекъ, онъ бросился на подушку, не раздѣваясь, — только снявъ пиджакъ и обувь. Деревянныя рамы постели жалобно заскрипѣли.

— Потише немного, рекрутъ! — тотчасъ же подхватилъ Несторовичъ. — Только отецъ, было, вздремнулъ...

Центръ комнаты занималъ низкій столъ; четыре угла занимали кровати. Межъ той, которую занималъ старикъ, и той, на которой лежали дочь съ зятемъ Николаемъ, помѣщалась колыбель-колясочка. Межъ двумя другими — складными — постелями: Петра и Наташи... находился шкафъ. Въ горницѣ былъ спертый воздухъ: низкій потолокъ, тѣсныя стѣны, забаррикадированная дверь и прикрытое квадратное окошечко. (старикъ боялся простуды), — давили, душили спящихъ.

Въ потолкѣ торчалъ крюкъ, и засыпая, и пробуждаясь, Наташа думала, что вотъ на такомъ гвоздѣ вѣшаются люди.

— Угомонишься ты, стервенецъ? — хриплова-

тымъ, срывающимся голосомъ стараго курильщика, освѣдомился Несторовичъ у опять, было, завозившагося сына.

Потомъ старикъ приподнялся на своемъ ложѣ, потеръ нѣсколько разъ колесико зажигалки, закурилъ папиросу, засвѣтилъ лампаду и нагнулся, шаря подъ кроватью. Онъ досталъ бѣлую посудину, подстелилъ газету, пристроилъ на кровати горшокъ и усѣлся. Старческій вялый животъ его напряженно вздувался, изо рта вырывался придушенный стонъ-вздохъ: какъ у дровосѣка, когда падаетъ его вознесенный топоръ. Старикъ курилъ и тужился.

— Не можете въ отхожемъ мѣстѣ оправляться? — страдальчески вскричалъ Петръ. — Тиранъ.

— Я долженъ обо что нибудь опираться, — миролюбиво объяснилъ отецъ. — А то никакъ не удастся, — и потомъ добавилъ кротко: — Я скоро умру.

— Амбре! — зло съязвилъ Петръ. — Не такъ воняетъ, какъ смердитъ.

— Ничего подобнаго, у папы не слышно! — отозвалась замужняя сестра.

— Смолкните хоть ночью, — взмолился ея мужъ. — Звѣринецъ. Зоологическая роща.

— Ты то кто здѣсь!? — обидѣлся Петръ. — Пошелъ отсюда, коль скоро не нравится. На чужихъ хлѣбахъ легко командовать.

— Мерзавецъ! — закричалъ Николай. — На твоихъ хлѣбахъ?! На твоихъ!?.

— Да, — отвѣтилъ Петръ и началъ поворачиваться къ стѣнѣ, желая прекратить обмѣнъ мнѣній. Но вдругъ онъ почувствовалъ вблизи себя — въ полутьмѣ — какое-то тѣло, стремительно двигающееся на него. Онъ началъ испуганно приподыматься...

Босой, нечесанный Николай, — лохматый, — въ одной рубахѣ, упалъ на него, гребя кулаками.

— Ахъ ты! — возмущенно захлебывался Петръ. — Халуй!

— Николай, Николай, — зарыдала и засуетилась Алиса.

— Какъ онъ смѣетъ драться! Какъ онъ смѣетъ! — заметалась по комнатѣ заспанная Наташа. — Петръ. Петръ. Милый.

Кроватка не выдержала, расползлась: брезентъ, хряснувъ, лопнулъ, — разступился. Сцѣпившись въ одинъ мотокъ, они катались по полу, кусали другъ друга, били, рвали; хрипя, царапали носы, тянули за волосы, — ударяясь о ножки мебели, задѣвая кровати, сталкиваясь со стульями и съ трескомъ опрокидывая ихъ; мстя невиннымъ за свою жизнь.

— А-а-а... — яростно дышали они.

— Такъ, вотъ! Теперь уже не будетъ тебѣ спуска! Не будетъ! — возбужденно суетился старикъ по кровати, стоя на колѣняхъ и для безопасности двумя руками придерживая горшокъ. — Молодецъ Николай... Попотчуй-ка его еще!

Стукнувшись сильно о комодъ, они выпустили другъ друга, потирая ушибы.

— Такъ тебѣ ужо будетъ! Получилъ и еще перепадетъ! Хуже еще рекруту покажемъ, — лепеталъ отецъ.

— Мерзавецъ! — бросилъ въ его сторону сынъ, парируя вялые удары Николая. — Вонючка.

Отецъ поглядѣлъ на него какъ-то быстро, искоса; и вдругъ скорымъ, совершенно неожиданнымъ, движеніемъ, съ боку, нерѣшительно взмахнулъ своей посудой. Тепловатая жидкость обдала Петра.

— Я его убью, — рявкнулъ рѣшительно Петръ. — Я его убью! — и, повернувшись къ нему, прыгнулъ впередъ черезъ низкую спинку кровати, простирая широко руки, какъ для объятья.

Желтый, смертельно сморщенный старичекъ, кротко и довѣрчиво какъ-то дожидался, слѣдя за сыномъ. И вспоминая эту минуту потомъ, въ разговорѣ съ Шелеховымъ, Петръ категорически утверждалъ,

что вдругъ ощутилъ жаркую нѣжность, острую жалость и любовь къ этому держащемуся на острыхъ колѣнкахъ старцу. На одну секунду; но осозналъ ее много позже.

— Я его убью. Я его убью, — безсвязно и настойчиво убѣждалъ кого-то Петръ.

По спинѣ его ходили кулаки; стучали тѣла; тащили, тянули. Но мертвой хваткой окостенѣли его пальцы у горла: уже сорванный на полъ, онъ все еще удерживалъ поникшую голову отца. Затѣмъ Петръ какъ бы очнулся. Не спѣша разомкнулъ запястья. Поднялся и началъ безучастно приглядываться, прислушиваться. Почувствовалъ что-то промелькнувшее по комнатѣ: безмолвное, настороженное: явственный, холодный, не ушами постигаемый шорохъ. Потомъ будто бы крикнула сестра. Минута ли прошла, — больше?... Вдругъ онъ разобралъ недоумѣвающій, — вотъ-вотъ перейдящій въ стонъ! — за душу берущій своей безпомощностью, голосъ Наташи:

— Дѣточки, вѣдь онъ мертвый.

Безучастно повернувшись, Петръ отодвинулъ ногой остовъ кровати и шагнулъ; вышелъ. Открылъ дверь во дворъ и остановился на крылечкѣ. Свѣтало. Въ холодной печи неба кастрюлей калилась Большая Медвѣдица. Луна блѣдно и удовлетворенно колдовала среди пространной шири вселенной.

Въ комнатѣ не шевелились.

— Кто знаетъ князя Бей-Булата, — запѣлъ негромко Петръ. — Кто отомститъ за дочь мою... — забросивъ голову высоко вверхъ; размѣреннымъ, однообразнымъ речитативомъ, онъ пѣлъ и казалось, что сама земля прислушивается къ этому тоскливому голосу человѣка: — Кто знаетъ князя Бей-Булата...

Угрюмо и дѣловито ниспадали съ желобовъ рѣдкія дождевыя капли.

— Петя! Петичка! — раздался вдругъ рыдающій, молящій зовъ Наташи. Торопливо пощупавъ, нѣ-

сколько разъ сряду, тѣло отца, приподнявъ голову, руки, она старательно начала прикрывать его простыней, оправлять одѣяло. Потомъ бросилась на крыльцо, все повторяя: — Петя! Родной! Тише! Не надо. Онъ старикъ уже! Петичка! — угрожая, упрашивая, лаская и плача, она втащила его въ квартиру, закрыла плотно двери, заперла на замокъ, опустила занавѣсъ.

Петръ посмотрѣлъ спокойно, съ интересомъ, на смятыя подушки, на сѣдую голову отца, на свисающій съ постели край незастегнутыхъ кальсонъ. Отвернулся и вдругъ заплакалъ.

— Онъ умеръ отъ разрыва сердца, — умоляюще прошептала Наташа и тоже заплакала.

Скоро въ малой квадратной комнатѣ, едва-едва начинающей сѣрѣть и зеленѣть отъ брезжащей зари, раздался горькій и капризный, всепокрывающій крикъ требующаго ѣсть ребенка.

X

Въ холодное мглистое утро. — —

Густой паръ, похожій на желе, повисъ надъ городомъ. Казалось, жирные куски киселя рѣжутъ пѣшеходы и проѣзжіе, пробираясь въ туманѣ.

Шелеховъ медленно плетется вверхъ по бульвару. Въ рукахъ онъ разсѣянно мнетъ краткую записку; вскользь прочитываетъ ее уже въ третій разъ. Тамъ, — его! — ровнымъ, узловатымъ почеркомъ написано: «Павелъ! Оставь мнѣ пятерку. Вѣроятно, вечеромъ отдамъ!!» Съ края записки, мѣстами задѣвая его строки, виднѣются жестокія слова отвѣта: «Денегъ до субботы не буду имѣть. Иду на работу безъ завтрака»! Шелеховъ роняетъ бумажку на землю.

Онъ шагаетъ уже долго. Собственно, въ кафэ къ шахматистамъ должно ѣхать, — это такъ далеко! Но у него не хватитъ денегъ. Онъ сядетъ тамъ за столикъ, закажетъ пиво, можетъ статься, подойдетъ какой нибудь партнеръ: проиграется! За кружкой пива можно просидѣть полъ дня. Двѣ удачныя партіи и, — даешь обѣдъ. А если проиграетъ?

— Выхода нѣтъ! — Шелеховъ очень голоденъ и усталъ.

Уличный торговецъ влачитъ за собой тачку и кричитъ на самое ухо Шелехову. Не то онъ продаетъ, не то онъ покупаетъ. Но, что онъ кричитъ, понять нельзя. Трудно разобрать уличные вопли чу-

жихъ городовъ. Шелеховъ старается ихъ расшифровать: подбираетъ русскія подобныя слова.

— Годы проходятъ. Годы! — расшифровалъ Шелеховъ. Похоже, что этотъ уличный коммерсантъ именно объ этомъ такъ яростно возвѣщаетъ, испытующе оглядывая прохожихъ: — Годы проходятъ, годы!

— Пакетъ папиросъ въ пять штукъ, — глухо требуетъ Шелеховъ.

Продавецъ роется за прилавкомъ, не находитъ.

— Возьмите десять штукъ!

— У меня нѣтъ мелочи, — объясняетъ Шелеховъ, выгребая рукой все содержимое кармана и отдѣляя монеты, необходимыя для игры.

— Вотъ же, господинъ. Хватитъ! — указываетъ ему торговецъ на оставшуюся незамѣченной мелочь. — Вы богаче, чѣмъ предполагаете! — любезно улыбается онъ и даетъ ему пачку въ десять штукъ. — Есть люди, которые предпочитаютъ папиросы ѣдѣ.

— У меня былъ товарищъ, — разсказываетъ ему Шелеховъ. — Когда онъ доставалъ малость денегъ, онъ первымъ дѣломъ отправлялся бриться... — торговецъ вскользь оглядываетъ выбритое до синевы лицо своего покупателя. — Потомъ папиросы, — продолжаетъ Шелеховъ. — И лишь третьимъ дѣломъ раздобывалъ ѣду.

— Такъ. Такъ, — соглашается тотъ, кивая головой. — Бываетъ, господинъ, — и обращается къ слѣдующему покупателю.

Шелеховъ бредетъ дальше.

— Что это онъ сказалъ? — старается онъ вспомнить: — Вы богаче... богаче!.. Ахъ! Вы богаче, чѣмъ предполагаете, — повторяетъ онъ, усмѣхаясь. — Какъ это хорошо! Это почти всегда такъ. Мы всѣ богаче, чѣмъ думаемъ; и намъ не достаетъ меньше чѣмъ мы считаемъ! Какой странный, какой отягощающій день — оглядывается онъ по сторонамъ, нерв-

но дыша этимъ влажнымъ, слизкимъ воздухомъ. — Ничего. Сонъ.

Въ густомъ туманѣ, — какъ бы на сѣромъ экранѣ предъ замедленно вращающейся ручкой кинематографической камеры, — медленно, медленно, ползутъ грузовики, трамваи, лошади. Вотъ черепахой движется ломовикъ, на перерѣзъ ступаетъ прохожій. Онъ пересѣкаетъ путь тутъ же у задка телѣги, — кажется, будто человѣкъ прошелъ сквозь фургонъ.

Неторопливо бредетъ, прихрамываетъ человѣкъ, — ведетъ велосипедъ. Человѣкъ на костылѣ. (Шелеховъ удивленно разсматриваетъ его деревянную ногу). Вотъ человѣкъ сходитъ на мостовую, вдѣваетъ здоровую ногу въ ремень педали, отталкивается, ловко перебрасываетъ искусственную ногу черезъ сѣдло... вставляетъ въ жестяный желобъ на мѣстѣ второй педали; зигзагообразно лавируетъ межъ экипажами.

Дама наклоняется къ сидящему за рулемъ шофферу, — называетъ адресъ. Лѣвую руку она протянула къ рычагу дверецъ, ногу занесла на подножку (клѣтчатая юбка складкой задѣваетъ лакированное крыло). Кажется, что она уже очень давно пребываетъ въ такомъ положеніи; и долго еще останется... Изваяніе, кукла; изображеніе чего-то.

Длинно - желтолицый китаецъ въ новыхъ, лакированныхъ туфляхъ сидитъ на терассѣ, опирая подбородокъ о коричневый хлыстъ съ кожанымъ набалдашникомъ. Предъ нимъ на плетенномъ подносѣ стоитъ огромная ваза, со все неумѣщающейся грудой мороженаго. Челюсти его двигаются тускло и мертвенно, — какъ на фильмѣ ранняго сеанса.

«Ничего. Сонъ», — шепчетъ Шелеховъ. Вдругъ онъ замѣчаетъ впереди себя Савича, — какъ всегда, съ кипой книгъ и со своимъ псомъ.

— Савичъ, — тихо, совсѣмъ тихо, произноситъ Шелеховъ. — Савичъ.

Тотъ оборачивается. Подходитъ.

— Ради Бога! Десятку. — Шелеховъ сейчасъ выиграетъ и отдастъ.

Савичъ безъ денегъ. Больше: безъ вина. Собака жалобно скулитъ, — она привыкла по утрамъ выпить стаканчикъ, другой. Онъ несетъ сейчасъ продавать свою библіотеку.

Нѣсколько старинныхъ фоліантовъ, трактатовъ современниковъ не то Архимеда, не то Лейбница: Савичъ не знаетъ досконально. Затѣмъ вся плеяда теоретиковъ и застрѣльщиковъ относительности: Эйнштейнъ, Лоренцъ, Майкельзонъ, Минковскій... На четырехъ языкахъ.

— Вѣдь вы недавно обобрали Граціанца на огромный кушъ? — горестно воскликнулъ Шелеховъ.

Савичъ сердито махнулъ рукой:

— Наташа выпросила. Прямо заставила отдать на похороны отца. Вотъ несчастье.

— А, — сказалъ Шелеховъ. — А, — и чтобы перемѣнить разговоръ, прибавилъ: — Удалось вамъ овладѣть англійскимъ языкомъ?

— Нѣтъ. Уже, вѣроятно, легче овладѣть англичанкой.

— Это математика васъ сдѣлала циникомъ?

— Нѣтъ. Я былъ хуже. Она меня освятила.

— Ваше счастье, что вы мало культурный человѣкъ; такихъ называютъ выдвиженцами?! — замѣтилъ зло усталый Шелеховъ. — Неужели можно любить математику?

— Ахъ, — горячо воскликнулъ Савичъ. — Она: одна!

— Чему она васъ научила? Къ чему она умирающему и голодающему человѣку?

— Примириться со смертью! Ждать ее, жаждать, какъ совпаденіе отвѣта съ логическимъ рѣшеніемъ теоремы. Второй законъ термодинамики неминуемо заставляетъ вселенную идти по пути исторженія энер-

гіи въ формѣ радіаціи, и большакъ этотъ кончается небытіемъ и исчезновеніемъ, безъ надежды возстановленія.

— Вотъ какъ? — вздрогнулъ Шелеховъ, какъ отъ удара кнута. — Даже надежды не оставляетъ?!

— Математика это торжество идей. Одушевленіе принципа. Олицетвореніе справедливости. Вотъ «х», вотъ «у»... ихъ функція проходитъ чрезъ стержень координатной системы. Какъ очаровательна, какъ трогательна ихъ уступчивость. Отъ малѣйшаго колебанія одного, мѣняется и другой! Какая человѣчность! Отзычивость! Видите эту линію? Ровная, безстрастная. Это есть справедливость!..

— Что такое несправедливость? — горько спросилъ его, полупьянаго, Шелеховъ.

— Несправедливость? Это... случайность, если она существуетъ! Только. Другой нѣтъ. Ежели кирпичъ не падетъ внизъ со стѣны въ предназначенное закономъ тяготѣнья время, даже пускай на голову праведника, то это несправедливость!.. Случайность, но не чудо!.. Поймите, математика — это зодчій. Міръ ея строенъ и прекрасенъ! Дѣйствительность наша это жалкое отраженіе сверхчувственнаго. «Идеи» Платона уже объ этомъ знаютъ; но въ сто кратъ настойчивѣе «числа» пифагорійцевъ! Геометрическими чертежами мы можемъ иллюстрировать космосъ. Богъ? Помните ли вы, какъ доказываютъ иныя теоремы? Выбираютъ точку внѣ фигуры, проводятъ линіи, рисуютъ, строятъ углы... доказываютъ. Тогда забываютъ вспомогательную точку. Она не нужна. Она не имѣетъ уже никакого отношенія къ отвѣту. Это Богъ. Человѣкъ? Это векторъ! То-есть отрѣзъ, гдѣ важна не только длина, но и направленіе: уголъ, подъ которымъ исходитъ прямая. Человѣкъ это векторъ. Это огонь съ направленіемъ. Устремленіемъ! Юноша? Это радіусъ. Пусть кругъ еще не очерченъ, но размѣръ его уже указанъ: ножки циркуля разставлены. И оста-

ется только учесть, достанетъ ли мощи завершить его.

— Это хорошо, — замѣтилъ Шелеховъ.

— Конечно, — кивнулъ Савичъ. — Бетховенъ это вогнутый кубъ; Бахъ — равносторонній параллелопипедъ; несомкнутымъ треугольникомъ — должно назвать Вагнера. Скоро не останется ничего расплывчатаго. Построивъ треугольникъ изъ прямыхъ: вѣра, надежда, любовь... спустивъ перпендикуляръ: сомнѣніе..., мы сможемъ разрѣшить всевозможныя комбинаціи и пропорціи чувствъ душевнаго свода, какъ любыя задачи начертательной геометріи. Надъ этимъ я сейчасъ тружусь. Рѣшающій владыка, это гравитація! Притяженіе и отталкиваніе. Любовь и отчужденіе! Поймите! Законы «обратной пропорціи квадратовъ радіусовъ» одинаковы и въ нравственномъ, и въ матеріальномъ мірахъ. Какая благость! Законъ Архимеда перефразированъ! Вотъ онъ: идея теряетъ въ вѣсѣ столько, сколько вѣситъ вытѣсненная ею среда, въ которой она очутилась! Дорогой, я докажу это! Законы одни! Безстрастные, отвлеченные, корни и греческій алфавитъ царятъ надъ вселенной. Отнынѣ уже воистину мы будемъ бесѣдовать о добродѣтеляхъ и порокахъ, какъ толкуютъ о другихъ продуктахъ человѣческой дѣятельности: водкѣ и фуфайкахъ!.. Мы постараемся забыть Бога. — Лицо Савича оливковаго цвѣта съ толстымъ носомъ пьяницы стало почти красиво и юно. Онъ остановился, какъ бы желая что-то вспомнить.

— Да? — сказалъ Шелеховъ. — Какъ-же вы готовы пасовать предъ смертью, сразу, навсегда? Вѣдь полъ дѣла уже выиграно. Я это почувствовалъ, вотъ, глядя на вашъ вдругъ возродившійся обликъ!

— Ты не найдешь на землѣ мѣста... — вяло началъ Савичъ, какъ бы цитируя. — Не найдешь: гдѣ бы не захватила тебя сила смерти. Не отыщешь его ни въ воздушномъ пространствѣ, ни среди моря, ни въ горныхъ пещерахъ.

— Я это знаю, но я хочу бороться.

— Человѣкъ собираетъ цвѣты. Умъ его жаждетъ счастья. Какъ ночью приближаются воды и заливаютъ села, такъ подкрадывается и схватываетъ его смерть. Какъ по кругу бѣжитъ человѣкъ отъ этого темнаго провала, но всякій шагъ, въ любую сторону, лишь приближаетъ его къ ней: на крюкѣ времени повисло все живое, задыхаясь. И смерть, съ накрашеннымъ ртомъ проститутки и глазами Богоматери, нетерпѣливо дожидается проходящихъ на узкомъ мосту безъ перилъ.

— Какіе мы всѣ талантливые! — не выдержалъ Шелеховъ. — Какъ, однако, жестоко, что изъ насъ не выходитъ прокъ. Какая неописуемая страна насъ породила! — онъ вдругъ прослезился.

— Все зависитъ отъ того, что наименовать «прокомъ»! — откликнулся Савичъ. — Наполеона ждетъ Ватерлоо; Сократа смѣняютъ софисты, а Колумбъ возвратится изъ Америки духа, не догадываясь, что онъ открылъ ее.

— Я думаю, — продолжалъ первый, — что мы попятимся обратно. Вы понимаете, Савичъ: у насъ не было юности. Съ дѣтскихъ лѣтъ мы вошли въ суровую эпоху. Насъ вытянуло, какъ струны. Всѣ соки выжало. Въ двадцать пять лѣтъ мы отдали уже почти все, чѣмъ владѣли. Теперь мы начнемъ глупѣть.

— Я люблю Россію. Я люблю наше время, — замѣтилъ вполголоса Савичъ.

— Да? — удивился Шелеховъ. — Неужели вы считаете его замѣчательнымъ?

— Конечно.

— Чѣмъ? Вѣдь это провинціализмъ.

— Сквознякомъ! Новый духъ несомъ въ жизнь: смѣна расъ... Можетъ быть: отъ Маркса на Марсъ. Смѣна культуръ. Мы наканунѣ новаго Христофора Колумба. Очередной Спасъ будетъ электро - химикомъ.

— Не знаю. Я переживаю страшное время, какая-то корь! — сознался Шелеховъ.

— Какъ?

— Страхъ смерти. Это бываетъ раза два за жизнь всякаго: когда его родители, либо родители его друзей помираютъ; и когда онъ самъ, либо его друзья кончаются... Въ упоръ сталкиваешься! И съ ужасомъ этимъ жить нельзя. Съ этимъ надо примириться или побѣдить; найти лазейку?! Жить съ этимъ нельзя. Иначе: подобно... — задумался Шелеховъ и не докончилъ.

— Подобно чему?

— Подобно тому человѣку, который, боясь пройти по узкой доскѣ надъ бездной, — ринулся въ бездну.

— «Пройти»?

— Да, — ухмыльнулся Шелеховъ.

— Докажите, что «пройти», а не вообще «идти» —рано или поздно свалясь внизъ! — И вы побѣдили.

— Я докажу. Я найду! — вскричалъ Шелеховъ рѣшительно, тупо и надтреснуто: — Я найду!.. Только я теперь голоденъ.

— Пойдемте скорѣе, — предложилъ Савичъ. — Можетъ, удастся раздобыть мамону. Синусъ! Тубо! Тубо! — окликнулъ онъ пса.

— Постой. Постой! — услышалъ за собой Шелеховъ слабый тенорокъ Игнатія Карловича. — Постой, — пищалъ онъ, бѣжа вприпрыжку. — Зачѣмъ ты спѣшишь?

— А, Китъ Китычъ! — обрадовался Шелеховъ.

Савичъ отказался дожидаться: онъ не любитъ Игнатія Карловича! Онъ спѣшитъ: онъ долженъ еще читать сегодня. Шелеховъ, надѣясь перехватить деньжата у Игнатія Карловича, отпустилъ Савичъ одного.

— Почему ты сталъ? — полюбопытствовалъ Игнатій Карловичъ. — Ты, можетъ, хочешь денегъ у меня?

— Съ твоей дальнозоркостью впору быть канцле-

ромъ европейскаго государства! — не радостно замѣтилъ Шелеховъ. — Я усталъ.

— Да? Канцлеромъ? Это вѣрно!.. Только я денегъ не дамъ. Мнѣ никто не платитъ; не отдаютъ! Мой папа говоритъ, что я умру подъ заборомъ. Ахъ, если бы я былъ молодъ!

— Ты вѣдь имъ былъ! У всѣхъ она дневала, балда.

— Это вѣрно, — задумался Игнатій Карловичъ. — Я былъ здоровъ, богатъ, красивъ! И все это прошло, какъ... — онъ смолкъ, ища сравненія: голову и локоть вскинулъ вверхъ. Взглядъ его скользнулъ по небу съ тающими бѣлесыми облаками. — Какъ тучка! — радостно вскричалъ онъ, махнувъ согнутой рукой ей вдогонку. — Да, какъ тучка!

— Право? — жадно поглядѣлъ на него Шелеховъ.

— Какъ облако!

Вскорѣ Игнатій Карловичъ объявилъ, что онъ долженъ свернуть въ переулокъ по таинственнымъ дѣламъ. Полтинникъ онъ можетъ дать.

— Съ паршивой овцы хоть шерсти клокъ!

— Какъ ты смѣешь? Бери!

Игнатій Карловичъ помахалъ ручкой, все замедляя шагъ. Отсталъ, улыбаясь по обычному: недоумѣвающе, мудро и туповато.

Проглянуло солнце. Стало тихо, грустно и красиво. Той особой, примиренной красотой, какъ бы тоскующаго, изнуреннаго отъ собственнаго совершенства, — дня умирающаго лѣта. Люди сновали по освѣщеннымъ тротуарамъ, и окна домовъ казались вылитыми изъ сказочнаго металла.

Шелеховъ съ необычайной силой вдругъ почувствовалъ что это все, — уже было. Оно ему знакомо! Одинъ единственный разъ, быть можетъ, мгновеніе, но все было именно такъ! Вотъ такъ онъ шелъ по мостовой, текли кругомъ него существа, грѣло чудесное солнце, свѣтлыя тѣни падали косо; въ

ушахъ его стоялъ тотъ-же грустящій и недоумѣвающій шопотъ Игнатія Карловича, а по небу бѣжали вотъ такія же прозрачныя облака... Сшущеніе было такъ опредѣленно, такъ мощно, что Шелеховъ началъ серьезно припоминать: «Когда, когда это могло случиться?»

Вдругъ ему подумалось, что этого еще не было, но будетъ! (И, — это все равно!)... Проглянетъ солнце, вотъ какъ сейчасъ, страннымъ, душутомящимъ полднемъ. Онъ, Шелеховъ, будетъ ходить по панели, мощенной торцами; будетъ думать о канувшей, потраченной жизни... взглянетъ на небо — вотъ такое же съ быстро плывущими тучками — и вспомнитъ, да, вспомнитъ такой же самый неминуемо далекій день. Сердце застучитъ, замретъ, вотъ такъ, какъ сейчасъ оно мучительно и сладостно ноетъ въ предвидѣніи. Съ безсомнѣнной реальностью осозналъ онъ себя вдругъ въ будущемъ. Увидѣлъ! Больнымъ, дряхлымъ, старымъ. Какая-то тихая готовность, — покой, — разлилась кругомъ него; и въ немъ. Было такое впечатлѣніе, будто ему удалось вырваться изъ ряда, изъ цѣпи времени — въ одномъ планѣ ощутить свое прошлое и будущее, какъ настоящее.

«Что это значитъ?—думалось Шелехову.—Вотъ я иду. Моя нога! Вотъ колѣно. Что это значитъ: моя? Какъ убѣдиться въ этомъ? Она похожа на сотни чужихъ. Я чувствую ее. Но кто это «я», Шелеховъ? Если-бы я вдругъ вообмнилъ, что мое имя Савичъ, тогда Шелехова уже нѣтъ?! Гдѣ-же онъ? При жизни исчезнетъ. Или лучше: у меня акцентъ дѣда, походка отца, его же отрыжка, зѣвокъ, жесты. Я могу себя убѣдить, что я не я! Я — мой отецъ. Вотъ сейчасъ вернусь въ домъ, меня встрѣтитъ старуха жена. Ты Константинъ Шелеховъ, а не Романъ». — Шелехову стало жутко. Онъ провелъ рукой по лицу, волосамъ, незамѣтно щупая, трогая себя. — «Что? Какъ дока-

жешь, что ты не отецъ твой, не дѣдъ, — продолжалъ онъ. (Впрочемъ, не онъ, а какая-то часть его). — Брѣешься? Ерунда! Выбрей отца: совсѣмъ ты. Ты и они — одно и то же. Что же ты? Гдѣ ты? По чему узнать свое я? Чѣмъ ты докажешь себя? Почти ничѣмъ. Ты: дѣдъ, отецъ, — ему стало жутко. — А вѣдь они умерли. Умерли и живутъ. А ты? Ты умрешь? Но тебя нѣтъ! Ты — они. Что же умретъ?.. Рехнуться впору! — споткнулся Шелеховъ о булыжникъ. — Какой, однако, странный день. Отчего въ такую погоду всегда такъ грустно и тоскливо? И чѣмъ прекраснѣе и совершеннѣе она, тѣмъ томительнѣе и сиротливѣе!? Чувствуешь себя только сирымъ гостемъ на чужомъ праздникѣ. Это скорбь, должно быть, о собственномъ несовершенствѣ! Такая острая именно въ сравненіи съ совершенной красотой дня. Грустишь не отъ сознанія гибели своей, а отъ сознанія заслуженности, правильности того, что вотъ мы всѣ исчезнемъ, растаемъ... Не самая смерть томитъ, а то, что она справедлива, что это такъ и должно. А на Руси сейчасъ славно» — вспомнилъ Шелеховъ, сладко потягиваясь.

Устало плетясь, онъ думалъ о томъ, что, можетъ быть, всѣ тяжести, вся непріемливость его жизни происходитъ оттого, что онъ среди чужихъ; что, будь онъ въ родномъ краю, и никакихъ страховъ бы не было, да и самыя тяжести сносились бы походя.

—Не умираютъ тамъ?.. — досадливо поморщился онъ. — Однако, какъ-же тамъ хорошо бывало о эту пору! — вспоминаетъ онъ снова.

Въ уѣздномъ городѣ такъ пестро дозрѣваютъ осенніе плоды. Цвѣтники устланы астрами, левкоями, георгинами, левандами, гвоздиками и піонами. Жирными гроздями полыхаютъ желто - красныя, фіолетово - розовыя клумбы. Ихъ запахъ стелется полно и пряно: скоро онѣ увянутъ! Невдалекѣ трубитъ духовой оркестръ. Солдаты багровѣютъ какъ мѣдные та-

зы; ихъ затылки сползаютъ на толстые воротники мундира. У будки мальчишки пьютъ фіалковый квасъ и по мощенной пѣгими торцами аллеѣ гуляетъ пара. Барышня вкрадчиво, дразняще и обѣщающе посмѣивается; студентъ взволнованно убѣждаетъ. Тамъ за рѣкой стелятся рельсы; въ огненномъ рокотѣ проносятся вагоны, мчась въ столицу. Къ двумъ. Завтра, завтра его тоже увезутъ туда. Жизнь прекрасна и зловѣща. Въ городахъ играютъ трубы; взлетаютъ боевые кони съ красными гривами; баррикады снятся дѣтямъ. Завтра, завтра онъ получитъ свое крещеніе, окунется. Но сегодня. Въ послѣдній разъ:

— Ирина. Ирина. Предъ нами широкіе горизонты.

Гимназистка смѣется наивно и знающе. Страстно и полно сѣютъ запахи цвѣты: завтра они умрутъ. Оркестръ играетъ громко и предостерегающе.

За уѣзднымъ городомъ, — околицы, шлагбаумы, проселки, а тамъ степь да лѣса; болота да кочки. Отъ самаго плетня до голубыхъ небосклоновъ, почти отъ полюса къ полюсу колышетъ свое мохнатое брюхо — Россія. Сгибается подъ ея тяжестью земля. Лапы — заливы; ноги — хребты; рѣки — слюни; горы — титьки; очи — моря. Русь. Мать. Мачеха. Многомужняя жена. Рыдающая причастница. Пляшущая вдова. О, сколько, сколько разъ тебѣ еще складывать окоченѣвшіе трупы твоихъ дѣтей въ штабели дровъ!

Лишь въ два часа Шелеховъ добрался къ цѣли. Въ эти часы кафэ пусто: шахматисты и билліардисты еще не вернулись съ ранняго обѣда.

Только по нѣсколькимъ столамъ ходятъ шары: играютъ японцы. Желтолицые, они припадаютъ къ зеленому полю, настороженно и хищно цѣлясь изъ кіевъ. Такъ, вѣроятно, они выглядятъ на своихъ сопкахъ. Партнеры сдержанно, безучастно дожидаются своей очереди, равнодушно скаля свои зловѣщія, азіатскія рожи.

За шахматными досками, кое гдѣ, напряженно склонились игроки. — Азартные профессіоналы, проводящіе здѣсь весь день и двѣ трети ночи. У нихъ красные, воспаленные глаза, испитыя лица и сухой языкъ. Для нихъ шахматы то же, что наркотики для морфинистовъ и кокаинистовъ.

Шелеховъ разставляетъ фигуры. Вотъ входитъ хорошо одѣтый господинъ. Шелеховъ его гдѣ-то видѣлъ: кажется, въ университетѣ.

— Сыграемъ? — учтиво предлагаетъ онъ.

— Я играю только на деньги, — съ напускной суровостью отвѣчаетъ Шелеховъ.

— Можно, — говоритъ тотъ.

Шелехову не должно засѣсть играть съ незнакомымъ человѣкомъ. Вѣдь въ случаѣ проигрыша, ему нечѣмъ заплатить!

— Садитесь, — безшабашно приглашаетъ онъ.

Господинъ беретъ двѣ пѣшки. Бѣлую и черную— прячетъ руки за спиной — манипулируетъ. Затѣмъ выставляетъ кулаки впередъ.

— Лѣвая, — выбираетъ Шелеховъ. — Мои бѣлыя!

Поправляютъ, подравниваютъ ряды.

— Здѣшніе лакеи по двадцать лѣтъ разставляютъ шахматы и все не знаютъ, на какую клѣтку слѣдуетъ помѣстить короля, — любезно занимаетъ Шелеховъ своего кліента. И мелькомъ пристально оглядываетъ его: иностранецъ ли онъ, или туземецъ? Если иностранецъ, можно добавить: «Ну и народецъ! Смѣхъ!..» а если туземецъ, то говорить это не слѣдуетъ. «Богъ его вѣдаетъ, кто онъ?» — безпокойно думаетъ Шелеховъ.

— Да, — сухо, но вѣжливо соглашается господинъ.

Условились, по сколько игра. Если Шелеховъ выиграетъ, онъ сможетъ пообѣдать.

— Д2-д4! — мурлычетъ онъ. Партнеръ отвѣчаетъ конемъ.

«Правильно!» — тоскливо сжимается сердце у Шелехова. — «Возможно, что я напоролся на жучка».

Игра разворачивается быстро и пестро.

Какъ бы Шелехову сейчасъ пристало быть послѣ сытнаго обѣда! Какъ щедро, какъ расточительно ему пришлось потратить свои силы на утомительную ходьбу. Какъ умѣстно сейчасъ выпить горячій бульонъ. Шелеховъ морщится, ерзаетъ отъ громкихъ шаговъ кельнера, нервничаетъ. Черезъ пыльное окно ему виденъ сосѣдній тротуаръ съ рестораномъ, гдѣ подъ натянутымъ тентомъ ѣдятъ и пьютъ: толстыя, сѣдыя дамы, очень загорѣлыя, вѣроятно, недавно вернувшіяся съ курорта.

— Шахъ, — говоритъ его партнеръ.

Шелеховъ заслоняется пѣшкой. Неважно,—осталась другая сторона для рокировки.

Его партнеръ играетъ азартно и нетерпѣливо.

— Гардэ, — предупреждаетъ Шелеховъ. И снова глядитъ въ окно на этихъ томительно долго пережевывающихъ дамъ. Онѣ ему ненавистны.

«И какъ это онѣ не боятся ѣсть на виду у всѣхъ? — мелькаетъ у него. — Вѣдь онѣ подвергаютъ себя серьезной опасности!» — И онъ думаетъ о томъ, какъ легко подойти, ненарокомъ, вплотную къ этой поѣдающей жирныхъ цыплятъ, уплетающей соусъ и салатъ, компаніи и пырнуть ихъ ножомъ или ударить стоящимъ возлѣ, пустымъ уже, графиномъ по черепу. Легко и пріятно! «Надо кончать!» — встрепенулся онъ.

Имѣя слѣва себя два слона противника; справа королеку и коня, — Шелеховъ переходитъ въ атаку. Выдвигаетъ на пятое поле пѣхотинца, рокируетъ въ длинную сторону и выводитъ подъ ферзевую пѣшку — ладью.

— Точная игра! — говоритъ онъ вслухъ.

— Невѣжественная, — парируетъ его партнеръ.

Присматривающійся со стороны любитель рѣшается сдѣлать замѣчаніе.

— Вы бы уже успѣли проиграть по нѣскольку разъ на мѣстѣ любого изъ насъ, — осаживаетъ его Шелеховъ.

Онъ форсируетъ шестую линію, запираетъ черную королеву; отдаетъ свою ладью за слона и пѣшку черныхъ; выводитъ другую туру; тѣснитъ офицера. Цѣной лошади громитъ рядовыхъ противника и шлетъ свое дѣтище — пѣшку на седьмое поле. Собственно, это стоило Шелехову едва ли не слишкомъ дорого: онъ лишился многихъ фигуръ. Онъ обезкровленъ. Противникъ долженъ только укрѣпить восьмое поле. О чемъ тутъ размышлять?! Маленькая жертва.

Партнеръ Шелехова высвистываетъ арію торреадора изъ Карменъ. Вотъ онъ подымаетъ руку и притрагивается къ пѣшкѣ! Къ своей активной пѣшкѣ четвертаго поля. Развѣ можно сейчасъ думать объ атакѣ? Шелеховъ берется нетерпѣливо за свою пѣшку — онъ сдѣлаетъ ферзя!

— Постойте! Я еще не ходилъ! — вскрикиваетъ его сосѣдъ. — Что это вы?

— Я знаю. Ходите пѣшкой, — отвѣчаетъ Шелеховъ.

Но противникъ отдираетъ руку отъ фигуры, достаетъ сверкающей бѣлизны платокъ, чиститъ носъ и задумывается, глядя на другія части доски.

— Собственно говоря, у васъ всего одинъ ходъ пѣшкой, чего-же медлить? — замѣчаетъ Шелеховъ.

— Да я не желаю пѣшкой играть! — возмущенно кричитъ партнеръ. — Вѣдь вы пройдете въ королевы, съ шахомъ еще!

— Извините, но мы играемъ «тронута — идетъ». Вы взялись за пѣшку. Извините.

— Нѣтъ, я не трогалъ!

— Какъ это? Вы трогали, увѣряю васъ!

— Я не трогалъ. Я пѣшкой не могу играть! Я этихъ условій не зналъ.

— Это меня не касается. Трогалъ господинъ фигуру? —обратился Шелеховъ къ любителю.

— Я ничего не знаю, — отступился тотъ.

— Ахъ вы... — заскрежеталъ Шелеховъ зубами.

— Я не трогалъ, — упрямо повторялъ его противникъ.

— Вы отказываетесь играть пѣшкой? — рѣшительно спросилъ Шелеховъ.

— Я буду играть, какъ мнѣ выгоднѣе.

— Вы отказываетесь?

— Я не трогалъ.

Быстрымъ движеніемъ Шелеховъ расшвырялъ шахматы и всталъ.

— Какъ вы смѣете? — грозно спросилъ его партнеръ.

Шелеховъ его оглянулъ. У него было холеное лицо, крѣпкія плечи спортсмена и слегка растопыренныя въ локтяхъ руки, какія бываютъ у очень сильныхъ людей, — которымъ вытренированныя огромныя мышцы мѣшаютъ ихъ сжать.

Шелеховъ чувствуетъ, что у него кружится голова; онъ шагаетъ впередъ, чтобы сохранить равновѣсіе, взмахиваетъ руками и вдругъ, мало соображая, изо всей силы, ударяетъ своего партнера по щекѣ, оглушительно, свирѣпо; нѣсколько разъ прошептавъ:

— Хамъ! Хамъ!

Господинъ быстро поднимается и приближается къ Шелехову. Шелеховъ разглядѣлъ въ углу его лѣваго глаза капельку гноя: бѣловатое, какъ конденсированное молоко. Ему захотѣлось достать платокъ и вытереть эту капельку. Господинъ размахнулся — его пледъ, молодцевато наброшенный поверхъ плечъ, сползъ, скользнувъ внизъ. И тутъ Шелеховъ, вмѣсто того, чтобы приготовиться къ борьбѣ, самымъ нелѣпымъ образомъ нагнулся вдругъ поднимать съ зем-

ли плащъ своего противника. Въ это время, кулакомъ, его ожгло по скулѣ.

— Милостивый государь! — произнесъ его партнеръ оскорбленно. — Здѣсь принято за такія вещи стрѣляться. — Порывисто сунулъ два пальца въ карманъ двубортнаго жилета; досталъ и метнулъ на столъ визитную карточку.

Давно уже Шелеховъ собирался заказать визитныя карточки. Однимъ изъ мотивовъ была именно возможность вотъ такой ссоры, дуэли. Такъ и не успѣлъ завести. Онъ взялъ со стола чужую карточку всей ладонью, сжалъ въ кулакъ, скомкалъ, и величавымъ жестомъ бросилъ въ лицо противника.

— Вы меня найдете въ студенческой столовкѣ, — сказалъ онъ.

Оставилъ на столѣ двѣ монеты, Шелеховъ безъ всякаго удовольствія допилъ свое молоко, которое раньше все время потягивалъ мелкими глотками, смакуя и жалѣя. Потомъ вышелъ, смотря всѣмъ встрѣчнымъ въ глаза. Шахматисты молча, — кто раздраженно, а кто довольно, — наблюдавшіе изъ своихъ угловъ, снова уткнулись въ доски.

«Кого въ секунданты?» — напрягалъ онъ свою память, глубоко и жадно затягиваясь папиросой. — «Поручика! — рѣшилъ онъ. — Поручикъ! Ей Богу!» — обрадовался онъ оттого, что у Прониныхъ можно было всегда подзакусить, да и мѣдяковъ раздобыть. Благо, это было близко.

И, дѣйствительно, тамъ онъ немного подкрѣпился. Приналегъ основательно на пирогъ съ мясомъ, принесенный спеціально для него изъ кухни. Волненія у Прониныхъ еще не прекратились. Марина какъ разъ въ это утро сама сорвалась съ постели, вышла вонъ и вдругъ, увидя Тамару, разсвирѣпѣла, — ринулась на нее. Попавшуюся ей по пути Людмилу Сильвестровну она наградила нѣсколькими увѣсистыми оплеухами, затѣмъ вцѣпилась Тамарѣ въ волосы.

Михаилъ Евграфовичъ разгнѣвался такъ, что Людмилѣ Сильвестровнѣ, несмотря на опасность, угрожавшую дщери, пришлось держать супруга за руки: онъ былъ страшенъ. Кое какъ Марину связали полотенцами. Пока судили, рядили, какъ быть, не свести ли въ желтый домъ, — Марина выздоровѣла. Вотъ такъ, вдругъ очнулась и заговорила о картофельныхъ оладьяхъ, цѣнахъ на рыбу, время отъ времени только осѣкаясь. Такъ именно оканчивались ея приступы. Всѣ повеселѣли. Въ такую благодатную минуту и попалъ Шелеховъ. Дали мелочь взаймы.

— Ѣшь. Ѣшь, Романъ Константиновичъ, — энергично приговаривала старая Прасковья Филимоновна. — Ты не такой, — намекала, вѣроятно, она на Изотова.

Тамара загадочно улыбалась. И замѣтивъ эту сверкающую, жестокую и нѣжную женскую усмѣшку, Шелеховъ испыталъ страхъ за того человѣка, который вызвалъ ее: жуть и зависть.

Отъ пирога настроеніе у Шелехова поднялось. Къ поручику добрался онъ какъ бы хмѣльной. Краткими фразами, разбавленными не идущими къ дѣлу замѣчаніями, даже остротами, разсказалъ ему о происшествіи. Поручикъ отнесся къ дѣлу брезгливо, привередливо; но серьезно, внимательно, — по родственному. Помогать согласился. Самъ указалъ на Паисія, какъ на второго секунданта.

— Разстрига? -- изумился Шелеховъ.

— Помилуйте! Офицеръ! — объяснилъ тотъ.

Шелехову это даже понравилось. Условились, что онъ пришлетъ Паисія къ поручику; а Евгенія извѣститъ, что секундантовъ ожидаютъ у Прониныхъ.

На фабрикѣ англійскихъ булавокъ и кнопокъ, гдѣ работалъ бывшій попъ, Шелехова извѣстили, что тотъ числится на излѣченіи.

Освѣдомивъ Евгенія о положеніи дѣла, Шелеховъ поѣхалъ къ Паисію на домъ. Жилъ тотъ хо-

тя только за городомъ, но какъ то совсѣмъ уже по деревенски, по родному. Малая изба стояла во дворѣ, поросшемъ травкой, по которой важно расхаживали разныя птицы. Съ насѣста сыпался известковый пометъ и противно ворковали голуби. Въ концѣ двора, — низкій самодѣльный хлѣвикъ пропускалъ визгливый и назойливый поросячій хрюкъ. лай.

Шелехова онъ встрѣтилъ радушно. Широкимъ взмахомъ руки — стараго хлѣбосола — усадилъ его за столъ. Познакомилъ съ женой: турчанкой, ни слова не понимающей по русски.

— Спасаюсь отъ безсмертія, — отвѣтилъ онъ на вопросъ Шелехова, какъ дѣла. — Все грѣшу, миленькій. Все этимъ и занятъ.

— А вѣдь вы только, только что хворали?! — воскликнулъ Шелеховъ, кивая на правую руку Паисія, обмотанную сѣрымъ платкомъ.

Разстрига объяснилъ. У нихъ въ мастерской обычай: рабочіе по очереди хвораютъ.

— Ну да, — поддакнулъ Шелеховъ. — Это вы уже разсказывали.

— Дѣйствительно, очередь на сей разъ была за другими, — согласился тотъ. — За итальянцемъ. Тщедушный, кашляющій субъектъ. Недавно вернулся съ каторги. Робкій индивидуумъ, — объяснялъ о. Паисій, рачительно наваливая Шелехову полную миску смоленской каши. — Понимаете, Романъ Константиновичъ, любопытно: положилъ тотъ свою руку, взялъ пилу и стоитъ ни живой, ни мертвый. Желтѣетъ. Потъ лавой. А дернуть боится. Ну не можетъ: воротитъ душу. А шутку сказать, вѣдь субъектъ каторгу отбывалъ за убійство! Человѣка зарѣзалъ. Любовника у супруги засталъ. Въ ревностномъ гнѣвѣ убилъ. А тутъ царапнуть себя боится. Забавно? Я и потрогалъ себѣ кожицу напильникомъ. Не въ очередь пошелъ.

— Что-же, стоитъ ли? — вѣжливо поддержалъ разговоръ Шелеховъ.

— Очень даже выгодно. Во-первыхъ, хоть только полъ жалованья идетъ, зато: свободная птица! Другимъ чѣмъ займусь, почитаю или по хозяйству. Ну, а засимъ и отъ доктора перепадаетъ.

— Какъ это, о. Паисій, вамъ отъ него?

— Какъ же! За всякій визитъ платитъ.

— Что вы? Не шутите ли вы?

— Да зачѣмъ шутить? Храни Богъ. Онъ отъ общества за каждый мой визитъ полъ сотни цапцарапнетъ, да напишетъ, что каждый день его навѣщаю. А мнѣ, разъ въ недѣлю за шесть то подписей, десяточку, двадцаточку подаритъ. Прямой разсчетъ. Другіе еще торгуются, озорничаютъ: больше требуютъ. А я скромненько, кроткодушно. Осмотритъ ручку, пощупаетъ и бросить: «Скоро конецъ болѣзни. Здоровы будете. Только храни васъ Богъ вонъ этимъ порошкомъ потереть ее. Да...» скажетъ и отвернется, выйдетъ. А я порошочекъ, да въ карманъ. Вернется докторъ и скажетъ: «Покраснѣть она можетъ отъ всякаго тренья; не дай Богъ еще недѣльки двѣ пришлось бы лѣчить. Потому, открывается ранка. Вотъ какъ». Ха-ха-ха.

— Что вы? — смущается и восхищается Шелеховъ.

— А какъ же. Милѣйшіе люди! Сами живутъ и другимъ даютъ. Не то, что у насъ. Могу адресъ дать, ежели понадобится.

— Всякому рабочему можно, или это только на районы дѣйствительно.

— Никакихъ районовъ, — отмахнулся Паисій. —Да ѣшьте, ѣшьте, Романъ Константиновичъ. Тоже меня въ обществѣ допрашивали: «живете вы вонъ гдѣ, а лѣчитесь ажъ тамъ! Почему? Пожалуйста, вотъ вамъ болѣе близкій врачъ!» «Не желаю! — заявляю. — Именно тому доктору я не боюсь довѣриться! А

насчетъ проѣздныхъ не безпокойтесь, денегъ не трачу: велосипедъ себѣ завелъ!» Всему, то-есть, меня тотъ милый человѣкъ обучилъ иносказательно; самъ или чрезъ сестрицу съ крестикомъ. «Пожалуйте руку для освидѣтельствованія!» говорятъ мнѣ. «Ни, ни! Не имѣете права. Въ отсутствіи моего доктора нѣтъ закона! Предупреждаю»!.. Они отступились. Видятъ, мятая крошка!

Узнавъ о просьбѣ Шелехова, Паисій весь вдохновился, даже обрадовался. Съ готовностью предложилъ собой распоряжаться. Выпрямился. Пріосанился. Показалъ свой френчъ съ георгіевскими крестами. Предложилъ Шелехову пару лайковыхъ перчатокъ. Однимъ словомъ, засуетился.

— Обратите вниманіе, — упрашивалъ Шелеховъ. —Это дѣло, такъ сказать, національное. Побольше достоинства. — Этикетъ, — мялся онъ, глотая не разжевывая сальныя шкурки, которыми была усыпана каша.

— Романъ Константиновичъ! Романъ Константиновичъ! — Укоризненно и торжественно, дружески и успокаивающе восклицалъ тотъ. — Обѣщаю!

Паисій тотчасъ же поскакалъ къ Пронинымъ. Условились, что онъ, — какъ только выяснится! — заѣдетъ къ Шелехову возвѣстить условія, буде дуэль неотвратима.

— Я противъ него ничего не имѣю, — замѣтилъ вскользь Шелеховъ. — Но если неминуемо, то хотѣлъ бы поскорѣе сбыть. Хоть завтра!

Разстрига понимающе кивнулъ головой.

Попрощались.

Приближаясь къ дому, гдѣ не былъ уже съ недѣлю, Шелеховъ издали замѣтилъ Жоржика: почти всегда они такъ встрѣчались. Онъ остановился у погребка и купилъ фунтъ винограда.

— Ѣшь и дай мамѣ, — протянулъ онъ кулекъ Жоржу.

— Мама уже умерла, — звонко крикнулъ тотъ и вцѣпился зубами въ сочную, пыльную кисть винограда, урча, чавкая и плюя косточками.

Шелеховъ молча вошелъ въ домъ. Старый литераторъ прыгалъ, прихрамывая по діагонали комнаты, размахивая кривой кочергой, — онъ гнался за взлохмоченнымъ котомъ; у того былъ такой видъ, будто онъ даже радъ побоямъ, словно онъ только что избавился отъ другой, страшной опасности.

— Здравствуйте, Романъ Константиновичъ, — церемонно поклонился хозяинъ. Затѣмъ, тихо скандируя, добавилъ: — Освободила насъ смертушка! — и махнулъ рукой кругомъ себя.

Въ комнатѣ стало какъ - бы свѣтлѣе, уютнѣе; полъ вымыли, распахнули окна, — воздухъ былъ почти свѣжъ.

Шелеховъ сдѣлалъ соболѣзнующій и въ то же время извиняющійся жестъ; и торопливо шмыгнулъ къ себѣ. Плотно захлопнулъ дверь.

«А дѣйствительно, — подумалъ онъ. — Смерть въ данномъ случаѣ какъ будто и благодатна».

Въ сумерки явились поручикъ и разстрига. По нѣсколькимъ кулькамъ, которые они съ собой принесли, Шелеховъ догадался, что придется драться. Ему стало весело и спокойно.

Поединокъ завтра, въ восемь. На шпагахъ.

— Они смекаютъ, что стрѣлять нынче всякій радъ, давай, дескать, рапирой проткну птенца, — возбужденно пояснялъ о. Паисій. — А я знаю, Романъ Константиновичъ, вы на курдовъ ходили. Вамъ саблей махать съ дѣтства пристало. Я и мигаю поручику: не перечить! А насчетъ быстроты встрѣчи, такъ вы же и просили поскорѣе, а они думали напугать.

— Условія не ахтительныя: до первой царапины. Вы какъ фехтуете? — сказалъ поручикъ.

— Прекрасно, — немного растерянно отозвался

Шелеховъ. — Развѣ только, что давно не держалъ рапиры.

Онъ ясно понялъ, что дѣло обернулось для него къ лучшему, однако, сталъ испытывать какое-то волненіе, дрожь. Можетъ, оттого, что онъ уже свыкся съ мыслью о пистолетахъ.

— Хватаетъ! Для нихъ хватаетъ! — радостно громыхалъ разстрига. — Гдѣ имъ тягаться?! Ну взяли десятокъ уроковъ у «профессора». Хо-хо-хо! Развѣ съ этимъ выходятъ въ поле.

— Ничего, — поддержалъ его Шелеховъ. — Будьте спокойны, справлюсь.

Поручикъ развернулъ одинъ свертокъ и досталъ свою саблю.

— Помахивайте ею время отъ времени, — сказалъ онъ, глядя въ сторону. — Пусть рука привыкаетъ къ тяжести.

— Спасибо. Спасибо, милые, — закланялся во всѣ стороны Шелеховъ. — Спасибо, — у него выступили слезы. Что-то новое испыталъ онъ. Пусть то всѣ плохіе, малозначительные люди, но это его братья. Они помогутъ. Родственную близость ощутилъ онъ; національную связь. Растрогался.

— Что вы. Что вы, — сурово рубилъ поручикъ, отворачиваясь. — Это нашъ долгъ; жалкіе обломки.

Паисій тоже разволновался. Нѣсколько разъ произнесъ слово: Россія. Шелеховъ предложилъ сходить за виномъ. Но поручикъ строго запретилъ.

— Главное, рано лечь почивать, — училъ онъ какъ бывалый человѣкъ. — Во что бы то ни стало заставить себя выспаться. Наставьте будильникъ на шесть. Утромъ душъ ледяной. Выпить кофею съ бубликомъ и рюмку коньяку. И главное: не думать. Ну, правое плечо впередъ! Разъ, два, — скомандовалъ онъ.

Разстались, порѣшивъ встрѣтиться въ семь у Оперы; такси они съ собой привезутъ. — Гирга.

Шелеховъ чувствовалъ себя спокойно и торжественно. Онъ приготовилъ свѣжее бѣлье, поставилъ кипятить воду, — двигаясь медленно и тихо. У него было такое ощущеніе, будто отъ рѣзкаго шага онъ можетъ что-то расплескать, потерять; вѣроятно, боясь всколыхнуть, разбудить то противное, изводящее чувство нетерпѣливаго ожиданія, которое уже притаилось въ его сознаніи, въ его крови. Онъ приготовился бриться, когда кто-то не громко постучалъ въ дверь.

— Войдите, — пригласилъ Шелеховъ. Обернулся и съ гримасой разглядѣлъ Изотова.

— Я на минуту, — сказалъ тотъ. Сѣлъ и безучастно уставился въ бѣлыя кафли печи. — Побесѣдовать хочу.

Надувая щеки, Шелеховъ мылился, звонко хлопая помазкомъ и сѣя во всѣ стороны мягкія хлопья.

— Хочу у васъ письмо оставить, — произнесъ Изотовъ, доставая и раскуривая папиросу.

— Письмо?

— Для Тамары.

— Боюсь, что я не возьму. Вы знаете, съ Прониными лучше жить въ мирѣ.

— Ну, такъ вы его передадите Музѣ, — попросилъ Изотовъ. — Это все равно.

— Музѣ можно. А что, вы уѣзжаете? — Шелехову какъ-то говорила Муза, что тотъ собирается куда-то перекочевать.

— Да, — сказалъ Изотовъ. — На разсвѣтѣ уходитъ мой поѣздъ.

— Вотъ какъ! — Шелеховъ изъ тактичности не освѣдомился куда. — Это хорошо.

— Я вамъ деньги могу дать,—продолжалъ тотъ.

— Развѣ вы и мнѣ ухитрились задолжать?

— Нѣтъ. Но знаете, я столькимъ долженъ, что, право, нѣтъ возможности всѣхъ найти. И не упом-

нишь. Вотъ я и рѣшилъ вамъ дать. Вы ихъ используете.

Шелеховъ улыбнулся. Изотовъ извлекъ нѣсколько смятыхъ ассигнацій. Часть спряталъ снова, а часть сунулъ въ лежащую на столѣ книжку.

— Почему вы бросили писать? — спросилъ Шелеховъ, желая его похвалить. — Вы говорили, что драму могли бы написать потрясающую, да и полотна.

— Времени все не найду! — махнулъ тотъ рукой — Все не могъ собраться. А жаль. Славныя идеи были! Только связать ихъ надо умѣть. Возни много. Начать легко: для этого надо имѣть только вдохновеніе, но закончить можетъ только ломовая лошадь. Ей Богу.

— Вотъ какъ?

— Да. А удивительный, странный сюжетъ, если онъ есть. Я вамъ какъ-то уже начиналъ, да все боялся: чтобы не украли. Теперь развѣ? — задумался Изотовъ. — Хотите послушать? — обрадовался онъ.

— Боюсь, что это долго. Мнѣ завтра надо рано подняться, — замялся Шелеховъ.

— А я быстро. Быстро. Очень одолжите меня. Я все боялся, что разговоръ не выйдетъ сегодня у насъ.

— Ну, ладно, — согласился тотъ. — Дайте только упражненіе сдѣлаю. — Онъ оголилъ саблю и отставивъ одну ногу, сдѣлалъ нѣсколько выпадовъ. Лезвіе легко и плавно рѣзало воздухъ.

— Вы похожи на кошку, — замѣтилъ Изотовъ, — или нѣтъ: на хищную птицу. Совсѣмъ дикарь! Къ чему это вамъ?

— А такъ, — неохотно процѣдилъ тотъ. — Успокаиваетъ нервы.

— Неужели? А ну, позвольте и мнѣ, — не выдержалъ онъ и съ любопытствомъ взялъ саблю. (Оружіе всегда притягиваетъ человѣка). Онъ помахалъ немного клинкомъ. — Я, знаете, Шелеховъ, — продол-

жалъ онъ, тяжело дыша, — недавно въ публичномъ притонѣ былъ.

— Да?

— Рѣшился, ей Богу. А то срамъ: подъ 30 лѣтъ, а съ женщиной не умѣю обращаться. Полудѣвственникъ. Вы занимались когда-нибудь онанизмомъ?

— Какъ? — смутился Шелеховъ. — Можетъ быть, школьникомъ! Не упомню.

— Нѣтъ, я думаю теперь! Взрослымъ! Неужели не занимались?

Шелеховъ началъ обижаться.

— А я очень люблю, — прямо взглянулъ ему Изотовъ въ глаза. — Рѣшительно больше другого. Ей Богу. Разжалъ и уже. А съ женщиной возись потомъ, разговаривай. Вы замѣтили, какія жирныя груди у нихъ?

— Ну, знаете...

— И какъ онѣ себя ведутъ? Глупое созданіе. Глупое и безполезное.

— Что вы!

— Подумайте, если-бы можно было отъ мужчины рождать дѣтей! Какіе бы люди получились! Умные, даровитые! Смѣлые! А то получается: разбавляешь талантливость жижей. Принято говорить: мы, человѣчество, прогрессъ. Подумайте только, и вы увидите, что исторію, культуру, цивилизацію, дѣлали мы, мужчины! И только мы!Всѣ эти крестовые походы, пророки, изобрѣтеніе печати, открытіе Америки! Все это вынесено нашими мышцами! Женщина только мѣшала.

— Человѣчество бы выродилось безъ женщины, — отозвался Шелеховъ. — Мы бы слишкомъ быстро скакнули впередъ. Женщины здоровѣе, выносливѣе и нравственнѣе насъ.

— Можетъ быть. Только вы, кажется, ошибаетесь.

— И къ тому: дѣло вѣдь не въ умѣ или талан-

тахъ; ихъ было уже достаточно, чтобы изукрасить землю, если-бы въ нихъ было спасеніе! Дѣло въ чемъ-то другомъ, чѣмъ женщины одарены больше нашего.

— Ну это скучно! Иконы небесной Афродиты? Ерунда это. Выдумка старыхъ дѣвъ и темпераментныхъ самцовъ. Но знаете, — усмѣхнулся Изотовъ, — страшно трогательны женщины, старающіяся ни въ чемъ не отстать отъ насъ. Тянущіяся изо всей мочи! Вѣдь для нихъ это почти невозможно. Право. Представьте себѣ: спереди васъ два мясныхъ мѣшка по одному килограмму, вотъ здѣсь,—Изотовъ описалъ дугу, изображая бюстъ. — А задъ широкій, глядите. Дышать надо съ усиліемъ, потому что діафрагма не работаетъ. Вѣдь все это отвлекаетъ вниманіе. Мы съ вами бесѣдуемъ, думаемъ о серьезномъ; гуляемъ, споримъ. А тутъ все время что-то болтается на груди. Колышется предъ собственнымъ горизонтомъ. Невольно отвлекаешься къ другому. Бѣдныя.

— Не жалѣйте ихъ особенно!

— Это вѣрно.

— Какъ тамъ Пронины? — спросилъ вдругъ Шелеховъ.

Изотовъ поморщился:

— Съ этимъ покончено, — онъ закурилъ другую папиросу. — А сегодня встрѣтилъ эту проститутку на бульварѣ.

— Какую?

— А ту, гдѣ я былъ. Такое совпаденіе. Я ей вѣжливо поклонился, сбросилъ шляпу. Она даже испугалась. Еле-еле догадалась отвѣтить; а кругомъ ея товарки озирались, шептались. Интересно было, — началъ Изотовъ съ кривой улыбочкой. — Указалъ мнѣ этотъ притонъ Граціанецъ. Всхожу. Открываю двери, попадаю въ грязную комнатушку, убранную подъ гостиную. «Пожалуйста, милости просимъ!» встрѣчаютъ меня бабы. Оглядываюсь. Сидятъ онѣ, бесѣду

ютъ, курятъ; кто чулки себѣ штопаетъ, кто кофту. Ей Богу. Посидѣлъ такъ и вдругъ обращаюсь къ одной. Ничего себѣ, на оттоманкѣ лежала, руки голыя. «Пойдемте» — говорю. Она смѣется. «Нѣтъ — говоритъ — я хозяйка». А всѣ заливаются: «хозяюшку выбралъ, хозяюшку». Я сконфузился, ткнулъ пальцемъ въ первую попавшуюся. Заперлись мы въ клѣти. Рядомъ слышно, какъ толкуютъ за стѣной оставшіяся. Далъ я ей, что купилъ по совѣту Граціанца. Она хлопочетъ; слышу, треснула въ ея рукахъ резинка, порвалась. «Не надо — шепчетъ она. — Не къ чему это!» Вотъ какъ было дѣло. Паденіе, такъ сказать. Дѣловито оправлялась потомъ: у меня же на глазахъ. Я думалъ, было, покалякать по душѣ, папиросу выкурить. Не тутъ то было: заведеніе маленькое, надо уступать другимъ; вотъ когда расширятъ дѣло: — «Просимъ не забывать, и товарищи, которые есть» — кланялись всѣ. Не смѣшно?

— Къ чему это вы?

— Не знаю, — задумался Изотовъ. — А надо было. Послѣ этого себя больше сталъ уважать. Право. Только онанизмъ благороднѣе.

— Что вы?

— Въ немъ есть все, плюсъ еще что-то. Мучительно! — медленно, какъ бы провѣряя себя, цѣдилъ Изотовъ. — Онъ развиваетъ воображеніе. Только оно какое-то горько сухое, дѣловитое.

— Разскажите о вашей драмѣ, — сказалъ Шелеховъ, чтобы смѣнить нечистоплотный, по его мнѣнію, разговоръ.

— А, можетъ, я вамъ ее еще и не разскажу, — хихикнулъ Изотовъ. — Дайте подумать. — Онъ застылъ. Черезъ мгновеніе вскричалъ, сверкнувъ зрачками: — Ну, можно. Должно даже. Только чуръ не перебивать! Драма ли это, романъ или поэма, не вѣдаю! Это все, такъ сказать, штрихи. Въ наиболѣе безтолковыхъ мѣстахъ думайте, что я передаю свои сно-

видѣнія. А чего же отъ сна требовать?! Слушайте мой «Варіантъ Вселенной». — —

— Я слышу изъ смежной съ моей комнатой каморки — гдѣ я моюсь и варю — шорохъ.

— Это часы бьютъ полночь, — произношу я громко.

Я оглядываюсь. Маленькій, лысый человѣчекъ-лилипутъ стоитъ у порога и манитъ меня пальцемъ. «Что за чортъ!» хочу я вскрикнуть. Но не могу: испугъ парализовалъ мои голосовыя связки. А скрюченный человѣчекъ, старомодно и бѣдно одѣтый, мигаетъ мнѣ, прикладываетъ палецъ къ губамъ — въ знакъ молчанья — и манитъ, и манитъ. Я превозмогаю свой страхъ. Въ концѣ концовъ, это старое существо имѣетъ такой комичный видъ, что ему можно довѣрять.

— Кто вы? — спрашиваю я, шагнувъ за порогъ каморки.

Человѣчекъ униженно кланяется, умоляюще потрясая ручками: не шумѣть!

— Какъ вы сюда попали?

— Молю! Тише, тише. Прикройте двери, — шепчетъ человѣчекъ.

Я прикрываю двери и говорю строго, нетерпѣливо: Объяснитесь скорѣе. Какъ видите: поздній часъ!

Старичекъ молодцевато шаркаетъ разбитымъ башмакомъ по полу и шамкаетъ: — Позвольте представиться, бѣсъ русскаго сектора, Никита 223.

— Какъ?

— Бѣсъ-съ — виновато и умоляюще повторяетъ онъ.

— Ну-съ? — лепечу я.

— Къ вамъ по дѣлу.

— Души своей: ни-ни!. — опомнился я.

— Что вы; что вы! — засуетился онъ. — Мы этимъ не занимаемся.

— Души своей: ни-ни! — повторилъ я неувѣренно.

— Это все враки про насъ! — простоналъ онъ. — Изволю доложить: клевета на нашъ счетъ. Навѣтъ-съ — словоернулъ онъ. — Наоборотъ: служимъ спасенію поелико силъ. Повѣрьте, — слезливо заморгалъ онъ вѣками. — Три дня маковой росинки во рту не чувствовалъ: все васъ ищу. Найти невозможно. Такой проклятый городище. И главное: безъ языка! Чужбина. Только русскому обученъ. Вотъ жизнь была! Ахъ жизнь, рассеюшка, — вздохнулъ онъ и полѣзъ въ карманъ за платкомъ. — Икру суповой ложкой хлебали! Черную.

— Да, конечно, — промямлилъ я. — Но признаюсь, мнѣ не совсѣмъ ясно. Цѣль, такъ сказать. Немножко странно. Пожалуйста, присядьте, — прервалъ я свою галиматію.

— Мы спѣшимъ, — отвѣтилъ мой собесѣдникъ.

— То-есть, я тоже спѣшу? — насторожился я.

— Ежели примите предложеніе.

— Какое же, однако, предложеніе? — разгнѣвался я. — Говорите толкомъ.

— Великой чести вы удостоились. Большое облегченіе и пользу можете принести свѣту. Нашимъ властямъ вы извѣстны, какъ человѣкъ, безкорыстно интересующійся той плоскостью, часть коей люди стараются заполнить своими пороками. Тщательно провѣривъ всѣ ваши помыслы и побужденія, тамъ пришли къ убѣжденію, что вы годитесь для такой миссіи.

— А давно вы за мной слѣдите? — насторожился я, покраснѣвъ.

— О, не безпокойтесь! Не безпокойтесь! — Понимающе подхватилъ мой собесѣдникъ. — Въ тѣ дѣла мы не входимъ. Было дѣло вотъ какъ. Однажды, въ распространеннѣйшей газетѣ за рубежомъ, мы прочли слѣдующее объявленіе: «Дорого скупаю сны

о Богѣ. Фальсификаціи отличу. Писать — Богоискателю». Мы сразу установили за нимъ слѣжку. —

— Ахъ! — вскричалъ Шелеховъ. — Вѣдь я читалъ такое объявленіе! Неужели это вы дали?

— Я. Только уговоръ былъ: не мѣшать, — напомнилъ Изотовъ.

— Одно слово! Зачѣмъ вамъ нужны были сны?

— Опрашивая всѣхъ знакомыхъ, я не встрѣтилъ ни одного человѣка, которому бы во снѣ явилась идея о Богѣ. Отсюда бы можно было сдѣлать выводъ, что въ подсознаніи Его нѣтъ. Что это позднѣйшій, наносной пластъ. Я пожелалъ убѣдиться. Итакъ, продолжаю.

— Въ чемъ же дѣло? — спросилъ я нетерпѣливо.

— Предлагаю вамъ путешествіе къ намъ, — отвѣтилъ бѣсъ 223.

— На небо?

— Если хотите.

— Въ адъ?

— Ада нѣтъ.

— Въ рай?

— Рая нѣтъ.

— Что-же есть? — изумился я.

— Покамѣстъ неизвѣстно. Впрочемъ, все это вы тамъ разсмотрите, — сухо замѣтилъ онъ. — Для того васъ и приглашаютъ. Разсмотрѣть, узнать, лично побесѣдовать, а потомъ возвѣстить міру, дабы и онъ принялъ участіе въ завершеніи своихъ судебъ. Намъ однимъ не подъ силу.

— То-есть, меня приглашаютъ для освѣдомленія?

— Да. Для интервью.

— Съ Богомъ? — вскричалъ я звонко.

— Объ этомъ вы тамъ узнаете. Малъ и ничтоженъ азъ есьмъ, чтобы о сихъ предметахъ разсужденіе имѣть.

— А ежели я схвачу да перекрещу твою чортову харю? — спросилъ я и ловко словилъ его за шиворотъ.

— Не перекреститe. Вѣдь вы всю жизнь ждали такую оккaзію.

— А сейчасъ возьму, да осѣню, — озорно повторилъ я.

— Навѣтъ. Предупреждалъ же я васъ, что это клевета-съ. Крестъ намъ не вреденъ, — засѣменилъ бѣсъ.

— Какъ?

— Не имѣете совершеннаго представленія о нашемъ уложеніи. Вспомните: «Нѣсть власти, аще не отъ Бога». Значитъ и власть Сатаны. А теперь поглядите сюда. — Онъ досталъ ветхую тетрадь и сунулъ мнѣ подъ носъ. — Библія, св. завѣтъ. Глава первая, стихъ шестой. Пожалуйста: «И былъ день, когда пришли сыны Божіи — понимаете: сыны Божіи! — предстать предъ Господа; между ними пришелъ и сатана». Дальше: «И сказалъ Господь сатанѣ: вотъ онъ въ рукѣ твоей, только душу его сбереги». То-есть, сатанѣ поручено сберечь человѣческую душу! И такъ во многихъ мѣстахъ! Какъ же можно забывать это! Напрасно только здѣсь написано имя съ малой буквы. Обидно-съ. Книга Іова-съ.

— Я къ вашимъ услугамъ, — чопорно поклонился я.

— Ну и прекрасно. Сейчасъ мы отправимся въ трактиръ. Подзакусимъ. Вѣдь трое сутокъ не ѣвши, не пивши. А часу въ третьемъ въ путь дороженьку. Какъ говорятъ китайцы: тао-лю.

— Вы и съ китайцами знаетесь?

— Приходится. Мы ко всей эмиграціи откоман-

дированы, по всему свѣту шатаемся. Дошлая жизнь. Ну, да имъ тамъ не легче, — умѣхнулся бѣсъ.

— Кому?

— А тѣмъ, что въ Сесесеріи хлопочутъ.

— А я полагалъ, что тамъ вашему брату море разливанное: церкви позакрывали; мощи, да раки святыхъ посжигали.

— Кто попа гонитъ, тотъ и чорта не боится. — назидалъ меня бѣсъ. — Сколько тамъ изъ нашей братіи перестрѣляла чека!

— Неужели-же васъ убьешь?

— Непріятно, однако, — поморщился бѣсъ. — Итакъ, ступаемъ. Прихватите картузъ.

— Дверью выйдемъ?

— А то какъ-же? Эхъ, вы, вамъ бы только верхомъ на помелѣ! — отвѣтилъ бѣсъ 223.

Мы вошли въ трактиръ. Кельнеръ вѣжливо изогнулся.

— Кофею для васъ? — спросилъ я своего спутника .

— Мнѣ бы водченки, — виновато лепеталъ онъ. — Царской, — и началъ шумно сморкаться въ пестряденный платокъ.

— Водки? Водка здѣсь дорогая, — строго замѣтилъ я.

— Родимый, — застоналъ бѣсъ. — Штофикъ. Полъ шкалика. Три дня не ѣвши, не...

— Только, не я плачу!

— Ни-ни, вотъ! — онъ выбросилъ на столъ толстый кошель съ металлической застежкой. — На все хватитъ. Не жалѣю! Вотъ, валюта! — онъ распахнулъ кожаную сумку: лапшой изогнулись въ ней пачки долларовъ. — Валюточка! — куражился онъ. — Фабрики нашей.

Я заказалъ бутылку: у меня мелькнула мысль напоить его, — заставить проболтаться.

И, дѣйствительно, кое что я у него вывѣдалъ.

Недовольный судьбами міра, страданьями существъ, благороднѣйшій изъ сыновъ Божіихъ — Сатана, онъ же Вельзевулъ — поднялъ знамя бунта. Это случилось приблизительно послѣ обреченія на вѣчныя муки сына человѣческаго. Возстаніе удалось. Своими силами приходится завершить твореніе свѣта. Но это оказалось труднѣе, чѣмъ предполагалось. Проходятъ тысячелѣтія. Страшно. Невѣдомо будущее. Борьба ушла въ подполье душъ. Необходимо опереться на общественное мнѣніе. Въ исконнемъ процессѣ каждый старается заручиться наибольшимъ количествомъ свидѣтелей въ свою пользу.

— Любовь! — кричалъ негодующе бѣсъ. — Кто дальше отъ нея, тотъ больше ее производитъ! Видѣлъ ли ты?.. — онъ сталъ говорить мнѣ ты. До поры до времени я ему позволялъ. — Замѣчалъ ли, какъ отвратительно играютъ китайцы въ родной ма-джонгъ, и какъ мѣтко играютъ они во французскій билліардъ?! А персы имѣютъ ли шахматныхъ гросмейстеровъ?! А вѣдь то ихъ дѣтище! Если-бы Онъ не былъ любовью, меньше зла бы чинилось.

Я узналъ, что души дожидаются окончательнаго итога — и судьба ихъ будетъ коллективна, въ зависимости отъ соотношенія суммъ добродѣтелей и пороковъ,—проходя покамѣстъ нѣчто въ родѣ чистилища.

— Какъ это можно? — возмутился я. — Одного заставить отвѣчать за другого? Вѣдь это: человѣкъ!

— Хо-хо! — нагло залился бѣсъ. — Знаешь ли, что это такое: не былъ, а есть; есть, но могъ не быть?! — и такъ какъ я молчалъ, онъ разгадалъ: — Человѣкъ.

Въ два часа ночи мы очутились въ темномъ подворьѣ.

— Садитесь, — сказалъ онъ мнѣ хрипловатымъ шопотомъ. — Садитесь. — Ставъ на четверенки, онъ усадилъ меня къ себѣ на спину и покрылъ обшлагомъ сюртука. — Держитесь крѣпко. Иначе, помните, горе вамъ!

Меня пробралъ морозъ.

— У васъ есть хвостъ? — спросилъ я сильно обезпокоенный.

Бѣсъ только мотнулъ головой:

— Оставьте-съ эти пошлости.

И я услышалъ сильный, почти знакомый рокотъ — ррро... Какъ бы шумъ падающихъ градинъ о жесть. Мнѣ кажется, что я его часто слышу въ своихъ сновидѣніяхъ:

— Рррро!.. Ррро!... Ррро!..

Мы поднялись вверхъ. Въ голубыхъ одеждахъ горѣли звѣзды. Подъ нами разстилался городъ. Огромное каменное кладбище. Обаятельное и дорогое, издали. Желѣзные небоскребы, тучныя заводскія строенія, печи, трубы и лебедки мелькали подъ нами. Блѣдныя отъ луннаго свѣта ворожили хрупкія стѣны. старинныхъ дворцовъ, музеевъ и храмовъ, — бороздя воздухъ своими легкими, какъ кружева, сводами и куполами. Волнующее видѣніе.

— Ты видишь все? — сказалъ мнѣ бѣсъ и указалъ рукой по залитому лампами людскому селенію. — Желудокъ и половой членъ. Половой членъ и желудокъ: вотъ что взрастило это.

Я увидѣлъ млечный путь, какъ снѣжную тропу, извивающуюся ввысь. Жалобно, пронизывающе вылъ эфиръ. Все это продолжалось одно мгновеніе. Я почувствовалъ, какъ мы врѣзались въ податливую, пахучую сферу. Многогортанный, сдержанный гулъ донесся мнѣ навстрѣчу.

— Отпустите-съ меня. Пріѣхали-съ, — услышалъ я лебезящій знакомый кашелекъ бѣса 223. — Пожалуйте пройтись немножко по хоромамъ-съ.

Признаюсь, я былъ разочарованъ; то не было эффектное зрѣлище! Большіе залы казарменнаго типа были переполнены миріадами людей. Всѣ они были скучены какъ муравьи. Намъ сверху — мы смотрѣли на нихъ съ галлереи — они казались

очень утомленными, недовольными. Всѣ были чѣмъ то заняты: каждый по разному, автоматически, какъ куклы, дергаясь.

Вотъ что я разобралъ.

На каменномъ помостѣ холеный мужчина съ обрюзгшимъ лицомъ и въ римской туникѣ мылъ свои руки. Механически и безсмысленно.

— Это Пилатъ, — объяснилъ бѣсъ.

Было жутко и унизительно глядѣть, какъ человѣкъ съ серьезнымъ, строгимъ и даже нѣсколько презрительнымъ видомъ старательно скребъ свои чистыя ладони подъ призрачной струей.

Меня больше всего интересовалъ Русскій отдѣлъ. Туда мы и направились хорами. Въ палатѣ, — высокой, мрачной, — я встрѣтилъ многочисленное общество. Угрюмые люди рылись въ книгахъ, огромными тюками наваленныхъ у стѣнъ до потолка. Въ рукахъ они всѣ держали гусиныя перья и время отъ времени что-то отмѣчалии въ текстѣ. Нѣчто удивительно знакомое почудилось мнѣ въ ихъ манерахъ и позахъ. Я встрѣчалъ гдѣ-то эти лица. Быть можетъ, изображенія?

— Это домъ Романовыхъ и всѣ, помогавшіе имъ управлять, — сообщилъ шопотомъ мой проводникъ.

— Чѣмъ они заняты? — спросилъ я взволнованно, указывая на фоліанты, въ коихъ рылись дряхлые сановники, безмолвные государи и блѣдныя фрейлины.

— Они вычеркиваютъ слово «интеллигентъ» изъ всѣхъ русскихъ пособій и энциклопедій, — сообщилъ мнѣ бѣсъ.

Въ сосѣднемъ помѣщеніи я нашелъ одутловатаго, лысаго господина, одиноко торчащаго среди безтолково мечущагося сонма женщинъ въ грубыхъ фартукахъ. Этотъ голый, мрачный черепъ нельзя было забыть.

— Ленинъ, — прошепталъ я. — Но что онъ дѣлаетъ?

— Онъ обучаетъ кухарокъ управлять государствомъ, — гласила отповѣдь.

Вотъ предъ нами безконечный, безначальный, прямой воздушный корридоръ. Онъ тянется на трилліоны миль. Нѣсколько человѣкъ, спотыкаясь, бредутъ по немъ въ безконечность.

— Кто это? — указалъ я на одну пару, медленно удаляющуюся отъ насъ.

— То Достоевскій! — отвѣтилъ бѣсъ.

Я пристально взглянулъ, еле сдерживая крикъ. Я увидѣлъ человѣка, заросшаго, растрепаннаго, въ грязныхъ портянкахъ. Онъ медленно и упрямо ступалъ, волоча за рученку посинѣвшее, исцарапанное тѣльце бѣлокурой дѣвочки. Время отъ времени онъ останавливался и издавалъ яростный и угрюмый вопль: — Осанна!

Мнѣ стало жутко. Мы пошли дальше.

Въ одномъ изъ боковыхъ помѣщеній гнѣздились ребята. Это было похоже на дѣтскую площадку. Я остановился, изучая знакомое хрупкое лицо отрока, играющаго у самаго порога съ блѣднымъ, серьезнымъ ребенкомъ восточнаго типа.

— Царевичъ Алексѣй, — вскрикнулъ я. — Съ кѣмъ это онъ?

— Ребенокъ террористки Геси Гельфинъ, — отвѣтилъ мой чичероне. — Однако, не будетъ ли на этотъ разъ довольно-съ?

Я молча кивнулъ головой: меня душили слезы.

Мы поднялись на вышку, — каменную бесѣдку съ узкими амбразурами, гдѣ пересѣкались образы всей вселенной. Воздухъ былъ прозраченъ и хладенъ. Мы увидѣли упруго кружащіе возлѣ своихъ солнцъ міры. Они порхали какъ бабочки; какъ мотыльки, тянулись къ огню. Не безъ волненія я разглядѣлъ нашу планету. Вокругъ насъ скользили металлическія вагонетки, бѣшено и упруго мчась по стальнымъ вращающимся брусьямъ, во всѣ направленія. Мелькали

странныя существа, похожія на воиновъ. Онѣ вѣжливо и молча давали намъ дорогу. Насъ понесло впередъ. По всему было замѣтно, что мы приближаемся къ нѣкоему центру. Святилищу. Стража увеличилась въ числѣ. У нихъ были суровыя, блѣдныя, рѣшительныя лица. Въ рукахъ они держали блестящіе, металлическіе предметы. Бѣсъ 223, и безъ того пигмей, — еще больше скорчился, согнулся. Только носикъ торчалъ, какъ у развернувшейся улитки. Время отъ времени наши уши потрясалъ страшный ревъ какъ бы плѣненнаго чудовища; звонъ тяжкихъ оковъ.

— Предъ не входящими во встрѣчныя двери распахнутся врата, — торжественно возгласилъ мой бѣсъ.

И тотчасъ же каменная стѣна, находившаяся впереди, взвилась къ своду, — какъ занавѣсъ. Я шагнулъ впередъ и зажмурилъ глаза отъ лилово-фіолетоваго, непередаваемаго фосфорическаго сіянья.

— На колѣни. На колѣни, — услышалъ я знакомый лепетъ. Кто-то толкнулъ меня. Я преклонилъ колѣна. Прошла минута и я услышалъ гордый, усталый и непреклонный голосъ:

— Человѣкъ?!

Непонятно, но я разрыдался! На хорахъ запѣла свирѣль.

— О чемъ стенаетъ земля? — услышалъ я.

— Нагимъ приходитъ человѣкъ въ міръ. Но вся его жизнь это утраты! — отвѣтилъ я послѣ нѣкотораго молчанія.

Снова наступила тишина.

— Разскажи имъ все, что ты видѣлъ, — донеслось ко мнѣ. — Отвѣтственность огромна. Ничтожнѣйшій изъ нихъ можетъ рѣшить судьбу вселенной! Разскажи имъ о вѣсахъ.

— Я боюсь: они меня изгонятъ, запрутъ.

— Начни осторожно. Скажи, что это тебѣ снилось.

Снова тихо прошелестѣла свирѣль.

— Скажи, Великій! — воскликнулъ я вдругъ. —

Вѣдь я на небѣ! Гдѣ-же... гдѣ-же?.. — признаюсь, у меня не хватило силъ докончить.

Мой бѣсъ меня досадливо и предостерегающе дернулъ сбоку. Опять къ намъ донесся оглушительный и гнѣвный вой. Откуда-то издалека, снизу, послышался какъ бы ревъ плѣненнаго звѣря. Лязгъ разрываемыхъ цѣпей потрясъ воздухъ. Служба сновала кругомъ, озабоченно и хмуро озираясь; ихъ туловища были обвиты чѣмъ-то похожимъ на наши пулеметныя ленты, они толкали впереди себя странныя машины.

— Мы неохотно объ этомъ разсказываемъ, — услышалъ я снова гордый, усталый и печальный голосъ.

Леденящій ужасъ сковалъ мои члены. Я чувствовалъ, какъ замерзаютъ мои скулы. Меня подняли. Повернули. Я шагнулъ. Каменный пологъ снова сомкнулся. Подхваченный моимъ чичироне я двинулся обратно. Мы проходили мимо параднаго, похожаго на храмъ, — зала. Люди торжественно, почтительно и пугливо сновали кругомъ высокихъ, блестящихъ вѣсовъ, расцвѣченныхъ кружевами. Предо мной мелькнуло знакомое лицо. Я его мгновенно опозналъ. То былъ мой любимецъ. Поручикъ моей роты. Шутникъ, запѣвала и балагуръ. Беззаботнѣйшее и великодушнѣйшее существо, готовое ради удачной остроты пожертвовать роднымъ отцомъ. Онъ умеръ съ прибауткой у меня на рукахъ, — сраженный чехословацкой пулей, когда нашъ батальонъ тщился отбить русское золото, вывозимое ими въ теплушкахъ изъ Сибири. Увидя его длинныя заячьи уши, нескладный обликъ, такъ располагающій къ хохоту, я невольно прислушался: не дойдетъ ли ко мнѣ его обычная прибаутка.

— Порфирій! — самъ не знаю какъ, вырвалось у меня.

Онъ меня замѣтилъ! И тотчасъ же скорчилъ лицо въ свою шутовскую гримасу, съ которой онъ сыпалъ поговорками. Трагически ударилъ себя въ грудь

и заоралъ, покрывая своимъ пискомъ величественные и торжественные аккорды многочисленныхъ инструментовъ.

— Гири платиновыя! — прокричалъ онъ.

Въ храмѣ поднялась суматоха: бѣсъ 223 оттѣснилъ меня поспѣшно. Мы взошли на маякъ и снова увидѣли вселенную. Признаюсь, то было значительное мгновеніе, когда, среди кружащихъ въ эфирѣ планетъ, порхающихъ, вращающихся, — я узналъ ту, на которой родился; къ которой питалъ ненависть и презрѣніе, а любовь узналъ лишь впервые въ ту минуту. Я заплакалъ.

— Садитесь, какъ раньше, — приказалъ мнѣ бѣсъ. — Держитесь изо всѣхъ силъ, — и, накрывъ меня снова своей полой, какъ забраломъ, онъ дернулся впередъ. Рpooo.

Воронкообразно мы падали внизъ. Міры прыгали намъ навстрѣчу, какъ лаунъ - теннисные мячи. Хвостатыя кометы жгли наши лица, озаряя путь. Жалобно свистѣла атмосфера. Я осозналъ мягкій ударъ по тѣлу и шлепнулся, замирая, о что-то упругое. Я очнулся дождливымъ полднемъ на своей постели. — —

— Часть II, — предупредилъ Изотовъ застывшаго Шелехова.

— Мнѣ мнится путь. Крутой; опасный. Ослѣпительно рѣзко и холодно свѣтитъ солнце. Я подымаюсь отвѣсными тропами. Кругомъ чахлые мхи; горы въ мертвенныхъ ледникахъ, ползущихъ, какъ черепахи. Я иду! Одиноко сгибаясь подъ собственной тяжестью, — пробиваюсь впередъ! Все дальше и дальше. Внизу пигмеями толпятся люди. Блѣдные, съ молитвенно протянутыми ладонями, они слѣдятъ, затаивъ дыханіе, за каждымъ этапомъ моей титанической борьбы. То по-

слѣдняя попытка хладѣющаго человѣчества встрѣтиться съ божествомъ. Оно уже слѣпнетъ отъ истощенія. Послѣдняя попытка.

— Дойди. Дойди, — лунатически шевелятся ихъ губы.

Я иду. Все выше, все круче твердь. Все неприступнѣе бездна. Вотъ оборвалась едва намѣчавшаяся тропа. Тамъ окаменѣли два-три отпечатка ногъ тѣхъ, что пытались до меня. Вотъ слѣдъ огромнаго человѣка, отдыхавшаго, растянувшись во весь ростъ. Ясно сохранились формы статнаго тѣла.

— Гете здѣсь отдыхалъ... — шепчу я.

Я вижу дальше узловатую. мозолистую ступню, затвердѣвшую въ сѣрой лавѣ. Я думаю: «Такую ногу могъ имѣть только Толстой». Выше и круче преграды. Я изнемогаю. Впередъ. Впередъ. А кругомъ молчаніе. Одиночество. Холодный свѣтъ леденитъ глаза. Я падаю на колѣна. Цѣпляясь окровавленными запястьями, я ползу впередъ. На животѣ одолѣваю ледники. Вотъ уже доносится спереди музыка. Міры столпились внизу, протянувъ ладони: такъ молятся и такъ апплодируютъ! Я изнемогаю. Падаю. «Я подниму голову — шепчу я. — Я подниму ее». И подымаю. Боже, что вижу! Близко, совсѣмъ близко... о, невѣроятный, о неповторимый образъ. То!.. Царь царей! Богъ Боговъ! Матерь Міра! Неподвижно, одиноко застыло Оно, полулежа на кремневомъ утесѣ. Оно не въ силахъ поднять свою руку изъ плѣна, — мнѣ навстрѣчу.

«Если не теперь, то уже никогда!» — вскрикиваю я молчаливо.

Міры ждутъ; томительно зовутъ и попрекаютъ. Кажется, что Оно само приподымаетъ вѣко и Его око излучаетъ на мигъ надежду. Вѣдь вернувшійся обратно духъ, когда-то истекшій отсюда, несетъ съ собою былую мощь! Еще два-три шага и потраченное возвратится. Но я въ безсильной ярости грызу твердь.

И Оно снова закрываетъ вѣко. Да, камень холоденъ; камень остеръ и неприступенъ. Ослѣпительный холодъ пилитъ меня. Я задохнусь. Вдругъ у меня мелькаетъ одна мыль. Я не сдамся. Я попробую! Горы стынутъ въ оцѣпенѣніи. Какъ японскіе атлеты, знающіе джіу - джитзу, я бью быстро и отрывисто выпрямленнымъ ребромъ ладони себя по голени. Нога, сухо треснувъ, ломается. Послѣднимъ дыханіемъ я отдѣляю ее. Грызу зубами движущееся, теплое мясо; кусаю осколки берцовыхъ костей. О, послѣдній мигъ! Нога человѣка; моя нога, въ широко размахнувшейся рукѣ. Я цѣлюсь. Вотъ-вотъ. Нѣтъ, сначала! Медленно снова цѣлюсь: я не поспѣшу, — вѣка, вѣка этого дожидались! Стоя на корточкахъ, я цѣлюсь: упрямо, хитро и алчно. Метаю! Нога описываетъ траекторію и глухо падаетъ на колѣни Дожидающагося. Созвѣздія и стержни трепещутъ. Вотъ раздается чей - то душупепелящій, пронзительный вскрикъ.

Я падаю навзничь. Сейчасъ я исчезну, но въ предпослѣднее мгновеніе я слышу аккордъ! Сладостный, напряженный; мучительно протяжный и торжественный.

Когда-то давно мнѣ снилось. Я зрилъ большое человѣкообразное существо; прямоугольное. Оно было укутано въ желтый, отливающій фосфоромъ, шарфъ, ниспадавшій мягкими складками. На рукахъ оно держало младенца, застывшаго, какъ идолъ, съ деревянной, паразитической улыбкой на лицѣ. «Это Богъ на рукахъ человѣчества», — сказалъ кто-то во мнѣ. И въ ту же минуту я услышалъ музыку. Густую, тягучую, мучительно томительную, торжественную и траурную. То были звуки, сопровождающіе, быть можетъ, только рожденіе или смерть Бога. И такой аккордъ я слышу опять въ послѣднюю волну своей земной жизни, застывая на горѣ.

Кричатъ вѣтры; скрипятъ врата. Впервые людская нога предстала у Всевышняго. Свершилось.

Актъ III.

— Вы понимаете, Романъ Константиновичъ. Богъ есть любовь. Въ половомъ процессѣ міръ истекъ изъ него. Человѣкъ это божественное испражненіе. Еще лучше: Его секреція. Шесть дней творилъ Онъ вселенную. Сила и мощь организма изливалась, истекала во внѣ. На седьмой Онъ опочилъ ослабленный, какъ новобрачный. Седьмой день: это день нашей исторіи! Вся наша жизнь, весь смыслъ ея, вся картина, которую мы успѣемъ свершить, втиснуть въ рамки этого дня, — будутъ нашимъ твореніемъ, нашей цѣнностью, фотографіей! Вотъ, описавъ свою циркуляцію, бѣлокъ, человѣчество, вливается въ первоисточникъ. Наливаются мощью артеріи божества. Наступаетъ восьмой день. День воскресенія; суда и раздѣла. Послѣдній день нашего цикла.

Бьютъ барабаны. Восьмой день. О, это не легко! Вы понимаете, вѣдь не всѣхъ можно воскресить! Что разбойники? Чепуха! Но какъ быть со лжепророками; со лжебогами? Старыми и новыми Перунами! Вѣдь люди увидятъ Ихъ въ своихъ же рядахъ! А вѣдь сколько слезъ они пролили, молясь Имъ, сколько жертвъ принесли; шли на смерть! Каждый за свое! Каждый за противоположное! Нельзя же допустить такую жестокость, чтобы нѣкоторыя племена встрѣтили тѣхъ, кому молились тысячелѣтьями, въ уничиженіи, какъ подсудимыхъ. Это бы значило, что всю свою жизнь они лили воду въ бочку безъ дна. Это слишкомъ жестоко.. О, не легкая миссія поручена архангеламъ! Сколько надо такта и выдержки!

Въ опустѣвшемъ мірѣ играютъ трубы, — громко и страшно. Какъ пугаетъ, какъ кощунственна красота вселенной, — безъ существъ, способныхъ это воспринять. Встаетъ давно реченый день. Кругомъ мерзость запустѣнія. Отъ земныхъ фундаментовъ не остались даже камни. Землетрясенія прошли по лицу

острововъ и материковъ. Глады и моры имъ предшествовали. Отъ лихихъ повѣтрій околѣвали растенья. Возмущены моря - океаны. Солнце померкло, луна даетъ тьму, звѣзды спадаютъ и силы небесныя колеблются. Многогортанно рокочетъ пустыня земли. Ангелы съ трубами и горнами громогласными явятся на разсвѣтѣ. Вотъ плыветъ возвѣщенный всѣми законами архангелъ. Его ликъ блѣденъ, какъ известь, глаза сверкаютъ радостно и благодарно. Сейчасъ начнется дѣло воскресенія: онъ такъ давно этого дожидается. Сейчасъ предстанутъ люди! Довольной толпой они потянутся къ голубому престолу Славы. Сейчасъ. Сейчасъ.

Реветъ труба: уа, уа. Кричитъ небесное воинство: сюда, сюда.

Но все такъ же пустынно и мертвенно кругомъ. Темна и уныла грудь земли. Уа, уа — зовутъ трубы.

— Сейчасъ. Вотъ, вотъ! — колотится голубое сердце архангела. Но глаза его тускнѣютъ и онъ растерянно оглядывается.

Никто не встаетъ. Испуганно играютъ горны: одинокій жуткій гласъ въ мертвой вселенной. Архангелъ опускается на кладбища, ходитъ межъ могилами, наклоняется, заглядываетъ, вѣетъ воскресающимъ газомъ.

— Возстаньте, — говоритъ онъ съ нѣжной мольбой.

— Уйди, — отвѣчаетъ ему гласъ изъ одного склепа: сонный, невнятный голосъ. — Я хочу спать.

— Я усталъ, — глухо тянетъ второй. — Уйди. Не буди.

Одиноко и кощунственно ревутъ въ тиши трубы; все тоскливѣе и тоскливѣе.

— Уйди, — кричитъ земля, огромное кладбище. — Не буди.

— Мы не хотимъ.

— Намъ хорошо.

— Такъ сладко спать.

— Не мѣшай намъ... — несется сдержанный рокотъ.

— Они не желаютъ воскресенія, — докладываютъ блѣдные ангелы облачающемуся въ соотвѣтствующія одежды Высокому Суду.

— Какъ такъ? — подымаются очи. — Будите, будите еще, пора кончать, — раздраженно гласитъ приказъ. И Судія опускается на край кресла, нервно теребя въ ожиданіи бахрому кружевъ.

— Уйди. Не буди, — возносятся изнеможенные голоса.

— Такъ сладко спать.

— Такъ сладко не знать.

— Я не хочу, — несется изъ могилъ.

— Не смѣй меня трогать.

— Я такъ устала.

— Уйди. Не буди.

— Праведники! Васъ ждетъ благая награда, — возглашаютъ вѣстники.

— Мы не хотимъ. Мы не хотимъ, — отвѣтствуютъ побитые камнями.

— Люди, люди. Мукъ нѣтъ. Всѣ спасутся, и въ райскихъ прохладахъ для всѣхъ уготовано мѣсто.

— Мы устали. Такъ сладко спать. Не надо намъ.

Сверху доносятся нетерпѣливые, раздраженные голоса. Архангелъ вдругъ сухо роняетъ приказаніе. Ангелы бросаются стремглавъ; рыщутъ межъ курганами, силой подымаютъ нѣсколько земныхъ существъ. Сгоняютъ ихъ къ назначенному мѣсту. Вотъ Онъ, сидящій на ложѣ! Окруженный двадцатью четырьмя престолами, занятыми звѣрями въ бѣлыхъ одеждахъ и золотыхъ вѣнцахъ. Ослѣпительный фейерверкъ озаряетъ происходящее. Молніи, громы и свѣтильники огненные — духи Божіи — пылаютъ во тьмѣ. Сидящій окруженъ животными и старцами и держитъ въ рукахъ книгу.

Все, какъ было предсказано. Все это было давно приготовлено для трогательнаго, послѣдняго обряда. Но какъ жалко это сѣрое сборище людей, оцѣпленное ангелами - стражами.

Тамъ можно найти нѣсколькихъ банкировъ. Ихъ жизнь была тяжела, но все же ихъ удалось вытащить изъ урнъ. Нѣсколько юношей съ землистымъ цвѣтомъ лица, — охотники за сильными ощущеніями. Одна проститутка: она такъ привыкла слушаться окрика, что тотчасъ же исполнила приказаніе. Она предполагала, что ее требуютъ для обычнаго; сейчасъ она сбита съ толку и недоумѣвающе ворочаетъ свое тупое лицо по сторонамъ. Есть тамъ одинъ поэтъ. Сухой, прямой. Съ черствымъ и гордымъ лицомъ стяжателя. Онъ размахиваетъ локтями, — бормоча, какъ одержимый, слагая гимнъ.

Вотъ Сидящій раскрываетъ книгу. —

Вдали видно человѣческое существо въ свѣтлыхъ одеждахъ, — одинъ, высокій, худой. Онъ медленно подвигается, озираясь по сторонамъ, — такъ ищутъ родныя мѣста. Онъ взбирается на гору; шепчетъ:

— Вотъ. Вотъ... — отходитъ немного въ сторону, пристально всматривается. Снова подходитъ. Онъ шепчетъ: — Здѣсь. Здѣсь. — Лицо страдальчески и радостно морщится. Блѣдный, измученный ликъ съ глубоко впавшими сверкающими глазами.

Возлѣ высятся кремнистые холмы; двѣ каменистыя дороги вьются, убѣгаютъ; внизу чудятся бѣлыя развалины древняго града.

Сбоку, вдали виднѣется кучка людей; они недоумѣвающе топчутся на одномъ мѣстѣ; ихъ торопливо судятъ. Черное зѣво небесъ бороздятъ ракеты; свинцомъ стелется разверстая твердь; какъ снаряды катятся звѣзды.

Существо въ человѣческихъ одеждахъ стоитъ, долго и тихо вглядываясь. Вдругъ склоняетъ голову на бокъ и разметаетъ руки по сторонамъ. Застываетъ

на нѣсколько мгновеній. Его лицо напряженно, глаза закрыты, — такъ жмурятся и вслушиваются, только вспоминая что-то далекое. Потомъ опускаетъ длани. Покачиваясь, ступаетъ дальше. Онъ ходитъ неторопливо и увѣренно, — такъ ходятъ по знакомымъ, роднымъ мѣстамъ. Временами останавливается. Его лицо тогда выражаетъ попеременно то тихую радость, то скорбь. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ садится. Снова встаетъ, бредетъ; иныя камни ощупываетъ, ласкаетъ, гладитъ.

Голубымъ дождемъ взрываются ракеты. Вотъ доносится глухой шумъ, крикъ. Существо въ человѣческомъ облаченіи вздрагиваетъ, брезгливо оглядывается и неторопливо, величаво направляется туда, къ свѣтильникамъ. Его лицо задумчиво и разсѣянно. Топчется кучка судимыхъ людей.

Фабрика «жизнь» ликвидируется съ убыткомъ. Человѣчество оказалось слишкомъ дорого стоющей службой. Предпріятіе не оплачивало расходовъ. Уныло заканчивается торжество; толпу угоняютъ дальше. Сидящій на престолѣ сумрачно разоблачается. Гаснетъ фейерверкъ.

Ничего. Молчаніе. Мертвенъ черепъ міра. Кружатъ небесныя тѣла, замедляя ходъ. Въ сараѣ пространствъ на доскахъ времени одиноко доплясываетъ земля свой однообразный танецъ въ четыре па.

Часть послѣдняя. Космическая.

— Сцена представляетъ междупланетное пространство. Въ пустотѣ видна порхающая огненная точка. На кольцеобразномъ, висящемъ надъ бездной мосту стоятъ двѣ крылатыя тѣни.

— Видишь ли ты этотъ рвущійся въ пространство огненный шаръ? — говоритъ архангелъ юному херувиму. — Это земля. Тамъ жилъ человѣкъ.

Тамъ родился онъ. На пыльной каменистой равнинѣ, на липкой глинѣ и плѣсени. Онъ дробилъ камень, боронилъ почву, рылъ глубокіе каналы и туннели, стоя по колѣно въ грязи. Его прекрасное лицо избороздилось морщинами и ссадинами. Плечи сутулились; потомъ орошалъ онъ свои нивы. Его жены дряхлѣли отъ заботъ. Волосы, — невиданные покровы, — сѣдѣли! Глаза теряли блескъ, слезились отъ непогодъ. Отъ нужды и лишеній горечью наливались ихъ сердца, злобно сжимались кулаки, и гортани посылали яростный вой — проклятье небесамъ. Съ ножами и рогатинами выходили они другъ противъ друга. И страшно было видѣть, какъ не замѣчаютъ они своей красоты. Они сражались противъ всего. Издыхали отъ жажды въ знойныхъ пустыняхъ, околѣвали отъ наводненій въ рѣчныхъ областяхъ; гибли какъ слѣпни, — въ огнѣ. Одолѣвали одну преграду, чтобы пасть предъ слѣдующей. Все было противъ нихъ: силы природы, страсти душъ, желанія Творца. Они просили проклятьями, они ругались молитвами. На самой зарѣ своей исторіи, только что научившійся говорить человѣкъ ринулся строить башню, стремясь къ небесамъ. И такой была вся его жизнь. Всю жизнь свою воздвигалъ онъ мостъ съ земли къ намъ на подобіе радуги, — вопреки Родителю.

И однажды заполыхалъ неописуемый огонь и народы бросились своими хрупкими руками — вершить судьбу по собственному желанію. А мы столпились всѣ вотъ здѣсь. На самомъ краю. Не отрываясь, заглядывая внизъ. Кощунственно сказать, — но мы завидовали! Дрожала земля; пылало небо; и звѣзды пѣли о скорбно красивой судьбѣ человѣка. О, какъ мы хотѣли покинуть наши, ставшія постылыми, мѣста и уйти! Слиться съ ними, тамъ въ трудѣ и битвѣ! Принять участіе въ этой героической, — обреченной въ ядрѣ своемъ на гибель, — борьбѣ!

И вдругъ Святый Духъ расправилъ крылья и крикнулъ глухо, страстно:

— Я ухожу къ человѣку!

Сдержанный рокотъ покрылъ его слова. Мы всѣ боязливо озирались. О, какъ мы жаждали того-же; мы готовы были поспѣшить туда. Такъ величественны они были въ своемъ смертномъ и скорбномъ, земномъ плѣну.

Тогда Егова произнесъ:

— Я ошибся...

То было ужасное мгновеніе.

— ...Вѣроятно, Мнѣ слѣдовало создать человѣка безсмертнымъ.

— О, тогда они были бы хуже своихъ скотовъ! — радостно и понимающе вскричалъ архангелъ Гавріилъ.

— Чѣмъ-же, чѣмъ-же тогда они бы отличались отъ насъ? — встревоженно спросилъ другой стражъ.

Но молчалъ Егова, печально поникнувъ главой и молчали кругомъ хоры незримыхъ серафимовъ.

— Видишь ли ты этотъ рвущійся къ стойлу огненный шаръ? — говорилъ архангелъ юному херувиму. — Это Земля! Тамъ жилъ человѣкъ. — —

— Конецъ! — завершилъ Изотовъ, тяжело отдуваясь.

За время его разсказа успѣлъ притти Павелъ, раздѣться и укрыться съ головой подъ одѣяломъ. Въ комнатѣ было тихо и сумрачно, слышно было переливчатое сопѣніе уснувшаго Павла.

— Да, — произнесъ задумчиво Шелеховъ. — Изъ этого можно бы сдѣлать кое что большое.

— Времени все не было, — устало улыбнулся Изотовъ.

— Грандіозный фильмъ, если накрутить это все!

— Фильма? — разочарованно спросилъ Изотовъ. — Фу...

— Вѣдь только тамъ можно представить всѣ эти сцены!

— Дѣлайте, что хотите, — махнулъ Изотовъ рукой. — Дарю это вамъ. Кстати, — прервалъ онъ себя. — Я когда то мечталъ покончить самоубійствомъ. Я хотѣлъ распять себя. Буквально! Идея такая была: равнымъ предстать! Понимаете. Богоборчество, что ли? Самому же никакъ нельзя это выполнить. Ну, оплевать себя можно; одинъ гвоздь, еще туда сюда, вбить; а второй? Третій? Невозможно. Просилъ нѣсколькихъ людей. Отважныхъ! Никто не изъявилъ согласія, хотя и отнеслись съ интересомъ.

— Да?!

— Вы бы тоже не согласились, вѣрно? — спросилъ Изотовъ.

— Вѣроятно.

— Ну вотъ. А вѣдь есть въ этомъ смыслъ.

— Возможно.

— Отчего же, отчего не взялись бы?!

— Хлопотливо, что ли, — отвѣтилъ Шелеховъ наугадъ. — Однако, уже полчаса второго.

— Ахъ, я васъ задержалъ, — засуетился Изотовъ, не поднимаясь. — Въ такомъ случаѣ, я, быть можетъ, пойду доночевывать въ гостиницу.

— Когда поѣздъ вашъ идетъ?

— Въ шесть, — съ готовностью отвѣтилъ тотъ. — А, можетъ, и раньше, — задумался онъ. — Что развѣ?..

Шелеховъ видѣлъ, что тому не охота уходить, но что онъ могъ подѣлать?

«Гдѣ? — мелькнуло у него. — Со мной уложить? Глазъ не сомкну вѣдь! А завтра, завтра. Не могу я возиться и, главное, деньги у него имѣются на отель!»

— Я бы вамъ предложилъ со мной спать, но я знаю, что не высплюсь: не привыкъ, не переношу! Вѣдь помните!? А завтра съ утра у меня...

— Ну да. Ну да, — заспѣшилъ Изотовъ. — Я

понимаю. Нѣтъ, я иду въ гостиницу. Я даже присмотрѣлъ одну: у вокзала, слышно, какъ отъѣзжающіе составы лязгаютъ. Фонарикъ тамъ этакій зловѣщій, ха-ха-ха — ухмыльнулся онъ. — Значитъ, вотъ письмо. Вотъ оно, письмецо, ха-ха-ха. — Краткое, — онъ досталъ маленькую синюю летучку. — Пожалуйста.

— Хорошо, — поднялся первый Шелеховъ .— Музѣ, значитъ? Будетъ сдѣлано.

Изотовъ протянулъ ему руку, сведенную своимъ обычнымъ, характернымъ корчемъ. Такъ гость протягиваетъ руку черезъ многолюдный столъ, — чтобы достать печенье.

— Вотъ что, — сказалъ неожиданно Шелеховъ. — Я вашихъ денегъ не могу взять, — онъ досталъ ихъ изъ книги.

— Почему? — тихо спросилъ Изотовъ.

— А такъ. Вамъ онѣ нужнѣе. Съ какой стати.

— Ну, прошу васъ, Шелеховъ. Ну, миленькій, хорошенькій. Сдѣлайте мнѣ это удовольствіе.

— Не возьму. Ни за что не возьму. Я не нуждаюсь.

— Шелеховъ, не въ томъ суть. У меня идея. Молю васъ: окажите услугу. Возьмите, — просяще уговаривалъ тотъ.

— Не возьму. Не возьму, — все настойчивѣе и рѣшительнѣе становился Шелеховъ. — Если хотите, могу ихъ передать Игнатію Карловичу: вѣдь вы у него занимали.

— Пускай такъ, — вздохнулъ Изотовъ и повернулся къ дверямъ. У самаго порога онъ вдругъ оглянулся и, не глядя, уронилъ презрительно:

— Вы... жестокій человѣкъ, — и вышелъ.

Онъ медленно зашагалъ, гулко стуча каблуками. Городъ спалъ, укрывшись камнемъ и деревомъ.

Проходя мимо католическаго храма, Изотовъ остановился. Въ тихомъ совѣтѣ сошлись двѣнад-

цать апостоловъ, одѣтые въ мраморныя рубища. Въ отдаленіи, — какъ атаманъ, — стояло изваяніе, согнувшееся подъ тяжестью креста: зорко и сиротливо вглядывалось оно вдаль.

Долго стоялъ Изотовъ. Снялъ шляпу, вскинулъ голову, — чтобы лучше разглядѣть. Минутъ пять они такъ стояли, вперивъ другъ въ друга задумчивыя, напряженныя очи.

— Да не минетъ меня эта чаша, — прошепталъ вдругъ внятно и громко Изотовъ. — Да не минетъ меня эта чаша, — повторилъ онъ, какъ бы дожидаясь отвѣта.

Затѣмъ дернулся на каблукахъ и побрелъ дальше. На поворотѣ онъ бросилъ назадъ еще одинъ быстрый, горячій взглядъ.

И началъ осторожно пересѣкать улицу. Вдругъ, не предупредивъ сиреной,темный автомобиль протрясся почти передъ самымъ Изотовымъ, чуть не задѣвъ его. Изотовъ судорожно отскочилъ. Долго еще испуганно отдувался.

Ровно свѣтили фонари. Какъ лютики; круглыя, желтыя маргаритки. Вонъ темный мрачный подъѣздъ отеля. По бокамъ двѣ люстры: два глаза. Темныхъ, зловѣщихъ, развратныхъ.

Изотовъ взошелъ на ступеньки, толкнулъ рукой дверь. При свѣтѣ фонаря лицо его вдругъ исказилось дѣтской, боязливой и дряхлой улыбкой. Одну минуту онъ стоялъ молча у самаго порога. Опустивъ голову, о чемъ-то думалъ, провѣрялъ. Казалось, еще минута и онъ повернетъ назадъ. Вдругъ ротъ его открылся и раздался громкій, брезгливый, — заставившій его самого вздрогнуть отъ неожиданности, — голосъ:

— Швейцаръ! —

Проводивъ, наконецъ, Изотова, Шелеховъ умылся, тщательно вытерся мохнатымъ, старенькимъ, полотенцемъ; затѣмъ взялъ въ руку саблю и началъ фехтовать. По мѣрѣ того, какъ онъ держалъ ея тяже-

лую, твердую рукоять, лицо его пріобрѣтало все болѣе свѣжія краски. Бросивъ оружіе, онъ облекся въ чистое бѣлье и, погасивъ свѣтъ, вспомнилъ, что не завелъ часы. Снова зажегъ; тщательно наставилъ будильникъ; въ темнотѣ уже добрался къ постели и упалъ на холодную простыню. Почти тотчасъ-же заснулъ. Проснулся онъ отъ рѣзкаго, неистоваго стука въ окно. Испуганно включилъ свѣтъ. И сразу осозналъ противную, лихорадочную дрожь, — какъ будто она уже докучала ему во снѣ. У него было ощущеніе, что случилось нѣчто, что онъ давно ожидалъ, непріятное и непоправимое.

— Кто тамъ? — крикнулъ онъ, еще не слѣзая.

— Это я! Муза! Откройте! — донеслось.

— Муза? — онъ выглянулъ въ окно и отпрянулъ, застегивая рубаху.

— Ничего. Ничего, — бросила Муза. — У васъ Изотовъ?

— Нѣтъ, — отвѣтилъ Шелеховъ, подрагивая. — Онъ ушелъ въ гостиницу.

— Въ какую? Зачѣмъ?

— Онъ уѣзжаетъ.

— Кто, Изотовъ? Куда?

— Не знаю, не рѣшился справиться.

— Ахъ, Боже мой дорогой! — вскрикнула Муза. — Некуда ему ѣхать. Боже, онъ былъ у насъ вечеромъ, но меня не засталъ. Велъ себя очень странно. Просилъ прощенье у Иры. Сказалъ, что направляется къ вамъ. Я пришла поздно. Сразу бросилась сюда. Онъ мнѣ что-то недавно сказалъ. Его надо найти. Съ квартиры его прогнали, я знаю.

— У него имѣются деньги.

— Это онъ потребовалъ у Прониныхъ: чтобы отстать, не безпокоить Тамару. Ему дали; онъ былъ, какъ въ бреду. Шелеховъ, одѣньтесь! — прервала она рѣшительно. — Мы его должны найти.

— Нне могу, — сказалъ Шелеховъ жестко. — Завтра на разсвѣтѣ у меня дуэль.

— Ну, что за шутки! — раздраженно и безпомощно вскричала Муза. — Нельзя же всегда паясничать.

— Клянусь! — страстно взвизгнулъ Шелеховъ и оглянулся во внутрь комнаты, ища помощи. — Клянусь! Завтра поединокъ. — Онъ исчезъ на мгновеніе и появился снова въ окнѣ, тыча ей подъ носъ саблю. — Вотъ! — клялся онъ. — На шпагахъ. Ей Богу!

Она, казалось, повѣрила.

— Я разбужу Павла, — догадался онъ.

— Павелъ! Павелъ!

— Что? Что? — застоналъ тотъ.

— Вставай скорѣе. Тебя Муза ждетъ. — Трясъ его Шелеховъ.

— Муза? — изумленно, но не безъ довольства переспросилъ Павелъ, и зѣвая, поеживаясь, кряхтя и что-то пришептывая, началъ одѣваться; застучалъ ботинками, стуломъ.

— Ахъ, тутъ письмо. Письмо вѣдь онъ оставилъ для васъ, — метнулся Шелеховъ. — Вотъ! Совсѣмъ забылъ.

Она дрожащими пальцами вскрыла летучку: оборвала кайму. Но читать не могла изъ-за мрака. Шелеховъ выхватилъ у нея записку; отпрянулъ къ свѣту. По синеватому полю листа прыгала загзагомъ, ломалась, плясала одна строчка:

«Не могу (больше)».

— «Не могу больше!» — передалъ Шелеховъ Музѣ. — «Больше» въ скобкахъ.

— Что, въ скобкахъ? — спросила Муза, не понимая.

— «Больше», слово «больше» въ скобкахъ, — нетерпѣливо объяснялъ Шелеховъ.

— Не понимаю.

— Ну, взялъ въ скобку, тумба, — прошипѣлъ онъ, раздраженно. — Идите, спѣшите скорѣе.

— Куда итти? — взмолился Павелъ, беря шляпу.

— У вокзала! Тамъ гостинница, онъ сказалъ — «зловѣщій подъѣздъ». Ходите изъ отеля въ отель у самаго вокзала! — напутствовалъ Шелеховъ.

Ушли. Было четыре часа утра. Дождило.

— Въ шесть вставать! — проскрежеталъ и взмолился Шелеховъ. — Я засну! — крикнулъ онъ какъ-бы наперекоръ и улегся.

Онъ сдѣлалъ большое усиліе: застылъ неподвижно, какъ пень, — выключилъ изъ себя всякое проявленіе жизни. Сконцентрировалъ себя на одномъ. Вотъ бѣжитъ къ источнику — по глинистой тропѣ холма — овца... опускаетъ морду... пьетъ. Вторая вотъ бѣжитъ; такъ же третья... На сорокъ седьмой онъ заснулъ.

Урочно забилъ свирѣпый будильникъ. Шесть! Шелеховъ очнулся. Окинулъ взглядомъ комнату: неприбранный столъ съ чашками, съ книгами, съ бритвой, пустую смятую кровать Павла съ пышнымъ матрасомъ; взглянулъ на окно, — и тотчасъ же зажмурился отъ свѣта. Подъ его закрытыми вѣками — на сѣтчаткѣ — стояло, плыло розовое пятно, раздѣленное на квадраты. «Стекла съ рамами» — мелькнуло у него. Но въ центрѣ находилась черная лагуна, кратеръ. «Что это?» Онъ раскрылъ глаза; на сосѣдней бѣлой стѣнѣ—противъ его окна—висѣлъ, провѣтриваясь, темный коврикъ. «Страшно!—подумалъ онъ, приподымаясь,—нашъ организмъ фиксируетъ, перевариваетъ міръ безъ нашей воли. Спимъ ли, бодрствуемъ, быть можетъ, мертвы, а всѣ сложнѣйшія чудеса природы отбываютъ свою повинность и вся наша жизнь какой-то сплошной рефлексъ». — Унизительно! — пробормоталъ онъ. Ему очень не хотѣлось вставать.

Холодный кранъ, какъ нагайкой, отхлесталъ его тѣло струей. Быстро одѣлся. Передъ выходомъ остановился у сабли, посмотрѣлъ долгимъ внимательнымъ взглядомъ; погладилъ рукоятку, вздохнулъ. Порогъ переступилъ правой ногой не случайно.

У стойки молочной напился чернаго кофе; съ отвращеніемъ заставилъ себя разжевать баранку. Потомъ купилъ пачку дорогихъ папиросъ. Затянулся, блаженно и сиротливо улыбаясь.

У колоннъ оперы стоялъ красный «фордъ» и поручикъ съ Гиргомъ расхаживали по тротуару. Въ машинѣ сидѣлъ, выпятивъ грудь, Паисій, чистенькій, подстриженный, напомаженный и угрюмый. Шелехова встрѣтили, какъ больного. О, жестокая человѣческая жалость.

Широкій, мясистый Гиргъ со львиной грудью, круглымъ лицомъ и вздернутымъ носикомъ, — добрый малый, легкомысленный товарищъ, завзятый кутила,—осторожно, какъ стеклянный предметъ, подсадилъ, поддержалъ Шелехова, ступившаго на подножку. Машина помчалась за городъ. Скоро ее начало подбрасывать; новая, твердая шляпа о. Паисія поминутно соскакивала съ его головы. Ѣхали молча. Шелеховъ тихо бормоталъ про себя глупый стишокъ:

«И пришлось намъ нежданно, негаданно хоронить молодого стрѣлка; безъ церковнаго пѣнья и ладана, безъ всего, чѣмъ могила крѣпка»... Одновременно, фиксируя отрывки своихъ мыслей: «Если-бы Наташа знала... Если-бы Наташу повидать... Я начну новую жизнь»...

— Какой прекрасный день, — прервалъ онъ себя, жадно и шумно потянувъ носомъ воздухъ.

— Помните, — замѣтилъ поручикъ, дернувшись всѣмъ тѣломъ. — Не растеряйтесь: солнце примите во вниманіе, чтобы оно ему въ глаза било, а не вамъ! Во что бы то ни стало.

— Помню, — мягко улыбнулся Шелеховъ. Онъ весь какъ-то подобрѣлъ, просвѣтлѣлъ. — Не безпокойтесь. Все обойдется.

— Это они? — рѣзко спросилъ Гиргъ, оборачиваясь на всемъ ходу.

Паисій приложилъ ладонь къ глазамъ.

— Они. Они, — прошепталъ онъ. — Ни дна, ни покрышки.

Дорога шла подъ гору. Вблизи зеленѣлъ лѣсокъ. Машина свернула на траву. Шелеховъ почувствовалъ, что сейчасъ поблѣднѣетъ, — его раздражалъ взглядъ спутниковъ, исподволь.

На круглой просѣкѣ стояло трое мужчинъ. Автомобиль швыряло, какъ дилижансъ по литовскимъ дорогамъ.

— Кто ихъ привезъ? — полюбопытствовалъ Гиргъ. — Держись! — ободрилъ онъ Шелехова, какъ принято въ такихъ случаяхъ: — Если тебя одолѣютъ, я снимаю пиджакъ!

Неровно шелъ моторъ по рыхлой зыби поля. Подбрасывало нелѣпо и унизительно. Наконецъ, остановился. Гиргъ застопорилъ машину. Всѣ поднялись. Пропустили впередъ Шелехова, — отчего на минуту у дверей образовалась пробка. Имѣя по бокамъ своимъ поручика и разстригу, онъ зашагалъ напрямикъ къ дожидающейся на полянѣ группѣ. Въ черномъ пальто, твердой манишкѣ съ галстухомъ-бантикомъ, въ котелкѣ, блѣдный, — Шелеховъ казался женихомъ, идущимъ къ вѣнцу. Таинственно шелестѣли деревья.

За кустами Гиргъ шумно здоровался со своимъ пріятелемъ, — другимъ шофферомъ.

Чужіе секунданты приподняли шляпы; имъ отвѣтили. Тогда и противникъ слегка прикоснулся къ своему берету. Шелеховъ сталъ въ сторонкѣ.

Секунданты начали совѣщаться.

— Господа, мы предлагаемъ вамъ мировую?! — раздался спокойный голосъ поручика.

Противникъ Шелехова небрежно мотнулъ головой:

— Нѣтъ!

Одновременно они сбросили съ себя верхнее платье; Шелеховъ оказался въ полосатой гимнастеркѣ.

И сразу онъ сталъ похожъ на уличнаго атлета или на кряжистаго молодого крючника, который сейчасъ бросится по сходнямъ разгружать тучный трюмъ рѣчного парохода.

Они ступили навстрѣчу другъ къ другу. Имъ подали шпаги. «Солнце»! — отмѣтилъ Шелеховъ, пробуя лѣвой рукой гибкость лезвія. Сталь, свистнувъ, описала дугу. Шпаги слабо скрестились кончиками. — «Неужели сегодня?!» — загадалъ онъ тотчасъ же и закусилъ верхнюю губу.

Отведя лѣвыя руки за спины, они нѣсколько разъ ударили клинками плашмя, все ускоряя и ускоряя темпъ; легко и свободно вращалось оружіе.

Солнце ползло краемъ поверхъ деревъ. Мягкій вѣтеръ упруго шевелилъ влажныя травы; тихо шелестѣли иглы елокъ. Безропотно умирало лѣто.

Молча слѣдили секунданты во фракахъ. Сбоку два шоффера, лодочкой приставивъ ладони къ козырькамъ своихъ фуражекъ, жадно глазѣли.

А въ центрѣ просѣки, сходясь, расходясь, останавливаясь, — то напирая впередъ, то пятясь назадъ, по шуршащему мху, — мелькали два человѣка, вращая рапирами. Ихъ лбы блестѣли отъ пота; тѣла гибко сжимались, прыгали, какъ упругіе мячи, кружа по площадкѣ. Въ рукахъ ихъ плясали неистовый танецъ темные, стальные клинки.

Послѣ перваго же выпада Шелеховъ почувствовалъ себя прекрасно; весело и спокойно.

— Вотъ оно, — лихорадочно мелькало у него.— Вѣдь это счастье! Сражаться въ открытомъ и честномъ бою! Съ оружіемъ въ рукахъ отбивать равнаго непріятеля. Не анализировать! Какое счастье! — мѣтко выбрасывалъ онъ шпагу впередъ. — Ахъ, чортъ... — его шпага нелѣпо свернула въ сторону, благодаря скользнувшей на влажной муравѣ подошвѣ. — Чортъ...

Нѣсколько минутъ онъ люто и яростно отбивалъ

безпощадно насѣдавшаго противника. Прыгнулъ въ сторону, въ другую; снова увильнулъ. Наконецъ, наверсталъ свою неудачу. Сдѣлалъ выпадъ.

«Вотъ же тебѣ! Вотъ... — шепталъ онъ съ наслажденіемъ. — Вотъ же, наконецъ!»

Онъ билъ короткими, сильными ударами, все время какъ тараномъ врѣзываясь впередъ и впередъ; загоняя противника подъ деревья. Какъ стариннымъ смычкомъ водила кисть его шпагой. Противникъ вспятился на холмикъ: сталъ еще выше, но солнце било ему въ зрачки!

— Шахъ,—озорно приговаривалъ Шелеховъ.— Шахъ. Шахъ и... Нѣтъ еще. Сорвалось. Итакъ, шахъ. Шахъ, шахъ и . . . — «матъ» былъ неминуемъ. Лезвіе противника было, Богъ вѣсть, гдѣ; Шелеховъ своей извернутой кистью сильно приближалъ кончикъ клинка къ правому боку партнера. Какъ вдругъ случилось непредвидѣнное. — Ахъ! — только вскрикнулъ Шелеховъ.

Его противникъ, предъ самымъ остріемъ шпаги, грохнулся на земь, дернувшись, какъ бы пораженный электрическимъ токомъ. Шелеховъ застылъ, съ занесеннымъ оружіемъ; потомъ тихо отступилъ, удивленно глядя. Секунданты бросились къ упавшему. Онъ вывихнулъ себѣ ступню. Легкая контузія: растянулъ, должно быть, жилу.

Собственно, дуэль можно было счесть законченной: онъ не былъ въ состояніи держаться на ногахъ. Но это оказалось не легкимъ. Протоколъ секундантовъ гласилъ: до первой крови. Этимъ предусматривалась любая царапина, но вывихъ, контузія? Нѣтъ. Какъ выйти изъ затрудненія? Бросились ощупывать раненого: не поцарапалъ ли онъ себя при паденіи. Увы, нѣтъ. Къ счастью, оказалось, что у Шелехова изъ пальца показалась капля крови: гдѣ-то зацѣпилъ. Рѣшили, что этого достаточно.

Шелеховъ отбросилъ шпагу, подобралъ одежду и, махнувъ слегка котелкомъ, зашагалъ къ такси.

— Парень. Дорогой. Ну и выпьемъ же, — мялъ ему пальцы Гиргъ. — Лева, приходи вечеромъ,—бросилъ онъ шофферу противниковъ. Тотъ холодно закивалъ головой, чувствуя себя тоже какъ бы побѣжденнымъ.

Вскорѣ подошли разстрига съ поручикомъ. Застучалъ разогрѣваемый моторъ и машина поплыла, какъ норовистый конь или утлый челнокъ въ бурномъ океанѣ: то вверхъ, то внизъ, то вверхъ, то внизъ.

— Господу благодареніе, — крестился Паисій.

— Браво. Браво, — вскрикивалъ поручикъ, любовно гладя плечо Романа Константиновича.

Всѣ чувствовали себя радостными и помолодѣвшими.

— Какъ послѣ экзамена, — пробормоталъ Шелеховъ. — Какое это счастье, господа! Сражаться, а не размышлять! Пасть вотъ такъ мертвымъ. Или вернуться побѣдителемъ. Я въ своихъ разсчетахъ объ этомъ запамятовалъ. Вѣдь въ этомъ цѣль жизни. Въ такое время вѣришь и въ классическое безсмертіе.

— Ну да. Ну да, — щебеталъ Паисій.

— Какое счастье сражаться открыто съ честнымъ врагомъ — твердилъ свое Шелеховъ, какъ одурманенный. — Знать, что тамъ за спиной твоя жена, невѣста, мать. Ты ратуешь за родину, за ихъ покой. Какое это счастье сражаться за родную землю; за свое, когда есть силы!

— Мы этого лишены, — пробормоталъ поручикъ.

— Должно быть, потому намъ такъ невыносимо! Я не имѣю что защищать. Мою жизнь? Но непосредственно на нее никто не посягаетъ! Я забываю «пріемы». И оттого мы такъ легко гибнемъ!

— Ладно. Ладно, — успокаивали всѣ Шелехова.

— Ей Богу! — вскричалъ Гиргъ: — не работаю, баста! Ѣдемъ пить, я угощаю! — онъ вдохновенно началъ крутить руль, заворачивая машину.

— А вѣдь въ самомъ дѣлѣ: — подхватилъ Паисій. — И я свой штофъ присовокупляю!

— Гиргу надо работать, — неодобрительно протянулъ поручикъ. — Куда ему съ самаго утра пьянствовать.

— Зачѣмъ же; денегъ у меня достаточно!

— А «Фордъ» выкупить. Вѣдь долги на немъ! — напомнилъ ему поручикъ.

— Такъ я его уже пропилъ! — радостно сознался Гиргъ. — Не моя сейчасъ машина; и долговъ не имѣю!

— Опять пропили?

— Зачѣмъ мнѣ машина? — возбужденно пояснялъ Гиргъ, однимъ глазомъ слѣдя за рулемъ, другимъ за пассажирами. — Къ чему мнѣ сумятица? Къ чему? Женатъ я, что ли? Женатъ?

— Поскольку намъ извѣстно, холостъ! — засвидѣтельствовалъ растрига.

Машину подбросило: какимъ-то чудомъ она не задѣла огромный фургонъ съ ящиками прохладительныхъ напитковъ, — ударила колесами о тротуаръ.

— Вези, куда хочешь! — завопилъ Шелеховъ. — Только не убей. Недостаетъ только, чтобы меня сейчасъ задавило.

— Да, — улыбнулся поручикъ.

— Я вчера чуть подъ трамвай не попалъ, — сообщилъ Гиргъ. — Подхожу къ дому, вижу, напротивъ нищенка какъ собачка ползаетъ по плитамъ. Пересѣкъ я улицу, чтобы бросить полтинникъ. Иду обратно. Вдругъ: Ррр... чуть-чуть не смялъ!

— Здѣсь, что-ли? — перебилъ его разстрига.

— Да. Здѣсь билліарды роскошные: матчевые. — Гиргъ застопорилъ свою карету. — Пожалуйте, господа, въ кабачекъ.

Шумно ввалились въ ресторанъ.

— Кельнеръ! Кельнеръ! — рявкнулъ Гиргъ тѣмъ особеннымъ, истерическимъ, рѣшительнымъ и равнодушнымъ, высокимъ фальцетомъ, какой присущъ только старымъ и многоопытнымъ завсегдатаямъ ночныхъ харчевенъ.

Лакей бросился, сломя голову, навстрѣчу: онъ сразу разобралъ гостей.

Заказали ѣду. Заказали напитковъ. Мало. Скромно.

— Билліардъ! — всполошился Гиргъ.

Лакей завелъ механизмъ, отперъ часы. Замелькали шарики. Застучали кіями, какъ палицами.

— Ну, отецъ дьяконъ, деньги на конъ, — захлебывался Гиргъ, отмѣчая пунктъ за пунктомъ: разумѣется, онъ игралъ артистически.

Въ два часа онъ вдругъ треснулъ кіемъ о полъ, едва его не сломавъ.

— Забылъ. Забылъ, — завопилъ онъ. — Вѣдь сегодня футбольный матчъ: русскіе противъ сборной столицы. Ѣдемъ. Кельнеръ! Кельнеръ! Шестерка!

На столѣ, — уставленномъ нѣсколькими бутылками и невѣроятнымъ, неописуемымъ количествомъ рюмокъ, бокаловъ, стакановъ и кружекъ, — написали мѣломъ счетъ. Внушительный.

Гиргъ досталъ скомканную груду мелкихъ ассигнацій. Лакей спокойно поблагодарилъ: онъ зналъ заранѣе, что чаевые будутъ щедрые.

— Тамъ Жоржикъ играетъ! — вспомнилъ Шелеховъ, когда они вышли. — Не будетъ же онъ сегодня: вѣдь его матушка померла совсѣмъ недавно.

— Непремѣнно играетъ, — спѣшилъ Гиргъ. — Безъ него: худо! Лучшій форвертъ. Онъ сознательный, патріотъ. Не предастъ!

Шелеховъ еще всячески пробовалъ уклониться. Ему хотѣлось отдохнуть, разузнать о Изотовѣ. Но Гиргъ категорически заявилъ, что этакъ не годится, что это по бабски, что нельзя разстраивать компанію.

Всѣ послушно усѣлись опять. Машина дала ходъ и понеслась зигзагами, рѣжа мостовую у самыхъ тротуарныхъ столбовъ.

По близлежащимъ улицамъ тянулись толпы пѣшеходовъ. Автомобили, велосипеды, мотоциклеты,

трамваи, — везли черные рои людей. Все это спѣшило на матчъ, — возбужденно, радостно и озабоченно жестикулируя. Тысячи людей, десятки, сотни тысячъ, нависли, скучились межъ скамьями, амфитеатромъ обнимающими исполинскій стадіонъ. Гиргъ ловко велъ машину, опережая любителей. Было прохладно и свѣтло.

«Какъ прекрасно жить! — разслабленно дышалъ Шелеховъ. — Какъ прекрасно. — Узнать бы, что съ Изотовымъ!»

— Вы знаете, Изотовъ какъ-то странно себя велъ, — сообщилъ онъ пріятелямъ. — Ужасно. Зачѣмъ я ему не позволилъ переночевать!

Поручикъ нахмурился:

— Не говорите мнѣ объ этомъ нечистоплотномъ человѣкѣ.

— Что вы! Неужели вы его такъ не терпите?

— Душевный человѣкъ, — отозвался Паисій. — Онъ всегда убивается о Богѣ, какъ о любовницѣ, умирающей или измѣняющей ему. Трогательный человѣкъ.

— Да, — брезгливо поморщился поручикъ. — Но нельзя же такъ. Странный онъ какой-то. Юродивый. Вздорный человѣкъ.

— Вы знаете эти наши темныя, сырыя, губернскія подворья?—Медленно, скупо цѣдя слова, заговорилъ Шелеховъ. — На полусгнившихъ доскахъ заборовъ или сараевъ, надпись: «мочить строго воспрещается». А кругомъ — Боже мой — все въ мокрыхъ пятнахъ! Не то, что люди, но и пробѣгающій по дѣламъ несчастнѣйшій кобель считаетъ долгомъ остановиться именно подъ этой надписью и облегчиться. Пахнетъ тамъ преестественно, разумѣется! Подойдешь, бывало, ребенкомъ, пустишь свой дѣтскій фонтанчикъ и откинешься всѣмъ корпусомъ назадъ, безобразно извернешься головой подальше: не дышать, не слышать этого запаха; отъ мухъ разныхъ, слѣпней съ воробья,

бодаешься! И такой мнѣ мнится жизнь Изотова. Всю жизнь прошелъ онъ, неестественно, отвратительно изогнувшись, чтобы не чувствовать ея вони!

— Ну, знаете... — не докончилъ поручикъ: они прiѣхали.

Протиснулись къ своимъ мѣстамъ. Оркестръ фатовато и лихо выдувалъ бравурный маршъ. Дѣвицы, стянутыя, съ бритыми затылками, перекликались грубыми голосами; по площадкѣ въ однихъ легкихъ трусикахъ и тяжелыхъ буцахъ, рисуясь, расхаживали второстепенные футболисты, выставляя на показъ волосатыя голени и груди.

Исчезнувшiй, было, въ русской будкѣ Гиргъ выбѣжалъ оттуда опрометью, красный и возмущенно жестикулируя.

— Мерзавецъ! — издали сообщилъ онъ своимъ спутникамъ. — Мерзавецъ! Предатель!

— Въ чемъ дѣло? — всполошился Паисiй.

— Убить его мало, измѣнника, продажную тварь! — вопилъ Гиргъ.

Оказалось, что Жоржикъ — лучшiй игрокъ русскаго клуба, котораго тщились уже давно переманить — перешелъ въ другую команду и играетъ сегодня противъ своихъ.

Это было неожиданно: Жоржикъ былъ преданнѣйшимъ, вѣрнѣйшимъ бойцомъ за россiйскiе цвѣта, — незамѣнимый при атакѣ; готовый умереть при защитѣ.

— Харакири ,— задумчиво процѣдилъ Шелеховъ.

Оркестръ заигралъ парадъ. Команды прошли, ставя, какъ лошади, свои голенастыя ноги. Стадiонъ ревѣлъ привѣтствiя, — озвѣрѣло и преданно. Сотни тысячъ тѣлъ, нависнувъ у деревянныхъ перилъ, топало, свистѣло, охало и апплодировало.

— Если рѣшетки не выдержатъ напора? — спросилъ Паисiй.

— Не уступятъ! — беззаботно увѣрилъ Гиргъ.

— Когда-нибудь обязательно это случится, — кивнулъ поручикъ.

Кожаный мячъ свѣчей взлетѣлъ вверхъ, — сильно и легко; играющіе картинно застыли, съ затаеннымъ дыханіемъ слѣдя за его полетомъ. Раздался короткій свистокъ. Игра началась. И тотчасъ же худощавый, нетерпѣливый Жоржикъ стрѣлой вырвался впередъ.

— Есть... Есть... Есть... — отчаянно молилъ онъ сбоку своего партнера, ведущаго мячъ: давая ему понять, что онъ готовъ притти на помощь.

Окруженный двумя противниками, партнеръ пасовкой передалъ мячъ Жоржику. Тотъ лихо понесся къ голу, припадая къ землѣ, какъ пламя огарка.

Свистокъ. Неохотно остановился Жоржикъ съ поднятой рукой у самыхъ вражескихъ воротъ.

Какая-то неточность. Неосторожность. Мячъ бросили въ центръ.

Игра была неравной. Зрители завывали, привѣтствуя любимцевъ, защищающихъ родные цвѣта. Русскіе чувствовали себя одиноко; озабоченно оглядывали другъ друга. Изрѣдка чужіе, изъ корректности, хлопали и имъ. Это было обидно.

Футболисты, въ пестрыхъ рубашкахъ, разсыпались колодой валетовъ по убитой площадкѣ. Гнались изъ конца въ конецъ, слѣдя за каждымъ скачкомъ мяча, — дыша, вибрируя въ тактъ его движеніямъ.

Грянулъ первый голъ: къ русскимъ. Русская немногочисленная публика разочарованно загудѣла; скоро начали издѣваться надъ своими же.

Вдругъ русскій бекъ прорвался впередъ. Его окружили, онъ метнулся обратно, передалъ мячъ партнеру, а самъ, что силы, опрометью ринулся впередъ; вырвался и молитвенно обратилъ лицо назадъ, — дожидаясь мяча.

— Есть... Есть... — твердилъ онъ.

— Миленькій, — шепталъ Паисій Шелехову, взволнованно ерзая.

Бекъ принялъ мячъ. Мягко повелъ его. Русскіе форверта облегли уже чужой голъ, дожидаясь пасовки. Вотъ центръ бросился впередъ.

Со всего поля сбѣгаются зарвавшіеся чужіе игроки, подъ угрозой гола покидая выгодныя позиціи. Вѣеромъ мчится защита. Голкиперъ дергается, какъ будто его пытаютъ огнемъ, — дожидаясь удара въ упоръ. Вотъ онъ не выдерживаетъ — мячъ подведенъ такъ близко! — оставляетъ свой постъ, падаетъ впередъ, разсчитывая накрыть мячъ своимъ тѣломъ. Ворота пусты! Лѣвый русскій край сильнымъ ударомъ тупого носка гонитъ мячъ, въ незащищаемую сѣтку. И вдругъ изъ воротъ вылетаетъ Жоржикъ — откуда онъ только взялся! — вмѣсто голкипера грудью принимаетъ мячъ, выбиваетъ и птицей уводитъ впередъ.

Стадомъ реветъ манежъ.

— Стерва. Бугай, — корчится Гиргъ. — Подожди же. Убьемъ.

Русскимъ форвартамъ снова удается завладѣть иниціативой, но подвести близко уже не успѣваютъ. Центръ издали бьетъ сильнымъ и точнымъ ударомъ. Футболъ, съ шумомъ задѣвая землю, проносится далеко вглубь, — мимо самаго столба.

— Наконецъ! — стонетъ Паисій.

Толпа гудитъ. Трелью прокатывается свистокъ.

— Аутъ, — объясняетъ Гиргъ. — Это не голъ.

— Какъ? — почти рыдаетъ разстрига. — Почему?

— Да аутъ! Не знаете правилъ!

Поручикъ, улыбаясь, наклонился къ Шелехову.

— Любопытнѣйшая игра, — произнесъ онъ. — Видѣли ударъ? Вотъ такая и наша жизнь! Установили нѣкоторыя правила; и хоть ударъ былъ силенъ, но мы бьемся ненужно за чертою условнаго поля!

Шелеховъ блаженно ухмыльнулся: онъ слишкомъ усталъ.

— Это хорошо, — похвалилъ онъ.

Тѣмъ временемъ игра перенеслась къ русскимъ воротамъ. Молніей сновалъ Жоржикъ. Онъ бѣжалъ, какъ-то особенно согнувшись, сгорбившись, припадая одной рукой къ землѣ: казалось, что это передвигаётся треножное существо, толкая впереди себя шаръ.

За нимъ — сильно отставъ — гнались хавъ-беки. Въ русскихъ воротахъ одиноко сѣрѣла юркая фигура голкипера. Пламенемъ низвергнулся на него Жоржикъ, дернулся вправо, обошелъ и бросилъ легко, мѣтко, мячъ въ лѣвый уголъ гола.

Неистово рукоплескали. Голкиперъ уныло побѣжалъ за футболомъ. Жоржикъ страдальчески сморщился; вдругъ онъ подбѣжалъ къ опустѣвшимъ воротамъ, схватился за верхнюю перекладину и сдѣлалъ нѣсколько номеровъ, какъ на турникѣ; перекувыркнулся, изобразилъ мельницу, рыбку, солнце... подрыгалъ нѣсколько разъ насмѣшливо ногами въ воздухѣ и смылся, — подъ самымъ носомъ разсвирѣпѣвшей русской защиты.

Мячъ медленно взлетѣлъ въ центрѣ. Игроки свернулись въ клубокъ и покатились къ голу. Жоржикъ беззавѣтно бросился въ самую гущу.

И вдругъ раздался его визгъ. Тонкій, злобный и какой-то торжествующій. Остервенѣло дергался узелъ изъ человѣческихъ тѣлъ. На минуту мелькнуло лицо подброшеннаго вверхъ Жоржика, перекошенное, окровавленное. Потомъ куча сразу растаяла: игроки разступились, отбѣжали. На животѣ у самаго гола ползалъ Жоржикъ, его нога топырилась криво и какъ чужой предметъ.

Страстно рѣзалъ уши свистокъ. Каретка скорой помощи мгновенно въѣхала на поле. Торжественно и ухарски соскочили санитары въ формѣ.

Черезъ минутку мячъ снова поднялся ввысь свѣчкой, — красиво и четко.

Напрасно Шелеховъ увѣрялъ Гирга, что обязан-

ность того, — отвезти его домой. Невозможно! Матчъ кончился, въ концѣ концовъ, не такъ плачевно: три на одинъ. У него масса пріятелей среди футболистовъ, онъ долженъ съ ними встрѣтиться.

— Вотъ тебѣ деньги, — сказалъ Гиргъ. — И бери такси. А я занятъ, — и всучилъ ему бумажку.

Не безъ труда добрался Шелеховъ домой. На столѣ онъ нашелъ записку Павла:

«Случилось несчастье. Тебя ждали. Буду вечеромъ».

Шелеховъ тяжело опустился на кровать. Собственно, вѣдь это можно было ожидать. Впрочемъ, убитъ ли онъ? Вотъ глупый Павелъ: «несчастье!..» Это мало понятно. Но все-таки какъ все страшно. Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ онъ его не задержалъ у себя; нѣтъ извиненія, сволочь. — Вѣроятно, убитъ Изотовъ.

Незамѣтно для себя Шелеховъ заснулъ. Тѣмъ особеннымъ, тяжелымъ, успокаивающимъ, но не насыщающимъ сномъ, въ которомъ чувствуется только что свершившаяся, непоправимая уже бѣда.

Проснулся онъ, какъ только вошелъ Павелъ. Онъ почувствовалъ присутствіе, — кого-то усталаго, удрученнаго. Было одиннадцать часовъ вечера.

— Что онъ? Какъ, разскажи? — встрепенулся, тяжело шевеля языкомъ, Шелеховъ.

Павелъ махнулъ рукой. Онъ весь почернѣлъ за эти сутки, осунулся. Онъ вздыхалъ, кряхтѣлъ, зѣвалъ, разжигая машинку, многозначительно поглядывая на Шелехова.

— Въ мертвецкую навѣдывался сегодня, — не удержался, наконецъ, Павелъ. Потомъ усѣлся напротивъ и, удивленно тараща глаза, началъ повѣствовать.

XI

Онъ шелъ съ Музой молча; недовольно сопѣлъ носомъ. Направились къ вокзалу. Среди площади остановились у католическаго храма, на которомъ апостолы терпѣливо дожидаются ушедшаго впередъ Христа. Муза сказала, что здѣсь простаивалъ часами Изотовъ. Потомъ свернули въ уличку, прилегающую къ багажной станціи. Ровные фонари сверкали, какъ лютики, какъ желтыя маргаритки. Сумрачно чернѣли зѣвы отелей. Одинъ изъ нихъ былъ залитъ желтымъ, предательскимъ огнемъ.

— Это здѣсь, здѣсь, — сразу рѣшила Муза.

Они шагнули въ полутемный корридоръ.

— Швейцаръ! — робко крикнулъ Павелъ. — Швейцаръ! — повторилъ онъ. Потомъ постепенно все больше и больше сталъ повышать голосъ, послѣ каждаго вскрика болѣзненно ежась.

Наконецъ, съ верхнихъ площадокъ послышался шумъ; возня. Кто-то спускался, тяжело ступая. Не скоро, однако, показался корридорный, хотя его деревянные башмаки стучали такъ, будто онъ очень спѣшитъ. Такая ужъ это хитрая обувь. Показалась громадная, тяжелая туша — но не жирная — напоминающая ломовую лошадь или вола.

— Комнату? На ночь? — спросилъ корридорный съ послѣдней площадки.

Его глаза, теплые, большіе, влажно блестѣли, какъ у домашняго звѣря: добро и равнодушно.

Путаясь, Муза начала объяснять. Потомъ Павелъ.

Лакей раздраженно не понималъ. Ему дали на чай. Онъ сразу пріосанился, какъ бы взялъ себя въ руки; съ усиліемъ началъ припоминать и, наконецъ, радостно взмахнулъ тяжелыми кулаками.

— Есть такой. Въ тридцать шестомъ, — онъ взглянулъ на распредѣлительную доску. — Не спитъ еще! Свѣтло!

— Не спитъ? — обрадовалась Муза. — Ведите же насъ къ нему! Скорѣе! Срочное у насъ дѣло.

Медленно и неуклюже всходили по лѣстницѣ. На нижнихъ этажахъ она была покрыта ковровой дорожкой: раньше пышной, дорогой; потомъ все болѣе потертой и захудалой. На верхнихъ этажахъ лежали голыми каменныя ступени съ чернымъ краномъ, — подъ мраморъ.

— Вотъ, — сказалъ лакей, привычно стукнувъ фалангами пальцевъ въ дверь. — Господинъ! — приложился онъ къ дверной излучинѣ. — Васъ желаютъ экстренно видѣть. — И снова забарабанилъ. — Спитъ?! — сообщилъ онъ.

Никто не откликался.

— Вы же сказали, что не спитъ! — горестно взмолилась Муза.

— Свѣтъ горитъ. А не спитъ ли онъ, я не могъ знать! — нехотя объяснилъ лакей. Онъ озабоченно оглянулся; потомъ застучалъ кулакомъ.

— Я взломаю замокъ, — сказалъ Павелъ.

— Безъ полиціи не годится, — строго заявилъ корридорный. — Надо хозяина позвать. — Онъ ступилъ къ лѣстницѣ, по животному равнодушно, блестя очами. Его лицо становилось похожимъ на людское только, когда онъ смотрѣлъ на роющуюся въ карманѣ руку постояльца или на голыя ноги проходящихъ по корридору жилицъ.

Скоро появилась хозяйка со злымъ и фальшиво красивымъ лицомъ; слѣдомъ за ней ступалъ дюжій полицейскій.

Дверь открыли легко: въ замкѣ не торчалъ ключъ. Случайно или нарочно, но Изотовъ его извлекъ.

Въ узкомъ, какъ гробъ, номерѣ сиротливо горѣла лампочка подъ пыльной металлической тарелкой. На кровати лежалъ, отвернувшись къ крашеной масляной краской, — въ два цвѣта, — стѣнѣ, одѣтый человѣкъ. Въ глубинѣ комнаты было какое-то странное углубленіе, — вѣроятно, полка для чемодановъ, — пусто и враждебно чернѣвшее въ тиши.

— Вы не слышали выстрѣла? — освѣдомился полицейскій.

— Въ этихъ этажахъ ничего не слышно, — откликнулась хозяйка, повернувшись спиной къ постели.

Изотовъ былъ убитъ пулей въ ротъ. Часть черепа была надтреснута, — приподнята, какъ незаклеенный конвертъ.

На столѣ блестѣлъ стаканъ, съ недопитой водой. Протертая стеклянная пробка графина лежала рядомъ. Къ этому грубому, казарменному стеклу лишь часъ тому назадъ въ послѣдній разъ прикасался стучащими отъ озноба зубами, — судящій себя человѣкъ! Быть можетъ, ища силы! Муза приблизилась къ стакану. Стекло было покрыто слоемъ застывшаго жира; только сверху онъ былъ слизанъ, должно быть, сухими губами. На стѣнкахъ стакана виднѣлись клѣтчатые пятачки, мутные кружки, — слѣды пальцевъ. Муза закричала. Пронзительно и глухо.

У Павла было много работы. —

Павелъ разлилъ чай. Шелеховъ нѣсколько минутъ размѣшивалъ его ложечкой; отпилъ.

— Не могу, — простоналъ онъ вдругъ. — Я пойду прогуляться. Все равно спать не буду.

Къ его удивленію, Павелъ тоже поднялся: ему не хочется остаться одному.

— Скажи хозяину, что Жоржикъ въ больницѣ, — попросилъ Шелеховъ. — Мнѣ не охота болтать.

— Знаю. Знаю, — прервалъ литераторъ, какъ только Павелъ объ этомъ заикнулся. — Уже провѣдалъ его. Ножка въ гипсѣ. Ему тамъ въ чистотѣ лучше, чѣмъ дома.

И снова они брели спящими улицами. Дома стояли, какъ бочки, или какъ пауки, въ дремлющей тѣни поджидающіе улова. Въ витринѣ аптеки, смѣющійся спортсменъ, изъ картона, брилъ самобрейкой волосы своихъ подмышекъ. Его розовое, чистое тѣло заманчиво сверкало. У кинематографа горѣли лампіоны и молодая женщина улыбалась нѣжно и развратно въ объятіяхъ сѣдого негра.

— Здѣсь, — бросилъ глухо Павелъ, когда они проходили мимо отеля, съ зловѣще свѣтящими двумя малиновыми фонарями.

Шелеховъ молча кивнулъ головой.

Чѣмъ дальше они шли, тѣмъ люднѣе становились улицы: они незамѣтно для себя очутились на главномъ рынкѣ.

На темныхъ ночныхъ площадяхъ, у открытыхъ складовъ и погребовъ, толково и молча работали люди. Улицы были заполнены безшумно скользящими грузовиками; по трамвайнымъ рельсамъ шли поѣзда съ припасами; румяные молодцы въ синихъ блузахъ истово ихъ разгружали. Они ставили ящики прямо на тротуары; корзины, уходящими къ небу пирамидами, — на мостовую. Яйца, фрукты, сыры, тысячами тюковъ разставлялись въ строгомъ порядкѣ для оптовыхъ покупателей. Мясные магазины напоминали фабрики. Высокіе, сильные мастера въ бѣлыхъ фартукахъ и съ засученными рукавами — какъ хирурги — возились съ пахучими красными мясами. Они хватали освѣжеванную тушу на руки. Бережно несли, — какъ

младенцевъ: телятъ, поросятъ, борововъ. Станокъ, съ блестящими пилами, дѣлилъ животное на нѣсколько ломтей. Ихъ передавали дальше, по пути нанизывая на острую иглу. Вѣсы автоматически выбрасывали карточку, человѣкъ привязывалъ ее къ говядинѣ, — какъ паспортъ. Жирныя, окровавленныя вѣшалки тянулись безконечными рядами. На нихъ подвѣшивали, шеей внизъ, красныя туши. Цѣлыя колонны. Полчища. Если-бы эти волы, свиньи и овцы вдругъ захрюкали, заблеяли, замычали, сорвались бы съ полокъ и ринулись по мощеннымъ изразцами площадямъ, по озареннымъ тусклымъ свѣтомъ улицамъ, — во что превратилась бы эта мирная ночь! Но ихъ тѣла терпѣливо раскачивались на крюкахъ, дожидаясь зари, а утромъ ихъ съѣдятъ.

У наружныхъ стѣнъ рядами стояли открытые ящики и бочки съ потрохами. Въ одномъ до самаго верха, — печенки; въ другомъ, — мозги; третій — сердца; четвертый и пятый, — вонючія, полныя зеленаго кала, кишки для колбасъ. Все новые и новые грузовики подкатывали съ бойни. Телята лежали, какъ покойники. Бережно, нѣжными няньками, обнимали ихъ мастера.

Исполинскій навѣсъ былъ отведенъ подъ рыбу. Чудовищными холмами лежали трупы рыбъ. Ихъ собрали сюда изъ многочисленныхъ рѣкъ, бурныхъ морей, соленыхъ океановъ. Съ шумомъ хлестала по трубамъ вода, къ паутиной раскинувшимся холодильникамъ. Цистерны раковъ, устрицъ и черепахъ испускали мускусныя зловонія.

Просторная площадь была загромождена овощами. Стога капусты, копны лука и салата стояли на мостовой. Горами высились артишоки, картошка, бураки и рѣпа. Огромные пучки - снопы молодой моркови вздымались саженями. Розовую, нѣжную ее укладывали, — плодъ къ плоду; зелень къ зелени. Мясистыя тыквы лежали: большія — какъ клумбы, какъ

трюмы кораблей; меньшія — какъ нѣжные животы беременыхъ креолокъ, съ глубокими пупами посреди.

Шахматной доской распредѣлился коверъ вазоновъ цвѣтовъ. Красные, синіе, оранжевые, лиловые, — сонмы глиняныхъ горшковъ стояли въ низкихъ деревянныхъ рѣшеткахъ; хрупкіе стебли терпѣливо дожидались въ автобусахъ своей очереди, дремотно покачиваясь.

Рынокъ трудился толково и тихо. На тротуарахъ, у подъѣздовъ, подлѣ трактировъ, дремали грузчики, безработные и босяки. У самыхъ цвѣтовъ помѣстилась толстая, полунагая нищенка съ костылями. Румяные мясники небрежно оглядывали ее,—скользили плотояднымъ взоромъ по ея тѣлу, по ногамъ: по деревянной ногѣ съ темной резинкой, торчащей изъ юбки. Вблизи стояла уличная уборная; съ тихимъ журчаньемъ стекала канализаціонная вода; и здоровые работники пускали тамъ оглушительные вѣтры.

— Это все человѣкъ поѣдаетъ, — прервалъ Павелъ молчаніе. Онъ махнулъ рукой, обнимая весь пахучій, свѣжій лабиринтъ продуктовъ. — А это онъ производитъ, — Павелъ указалъ рукой на клозетъ.

— Сядемъ, — сказалъ тихо Шелеховъ. Въ его глазахъ стояли слезы.

Они прошли въ кафэ. Рабочіе у прилавка запивали виномъ купленный на улицѣ хлѣбъ съ сосисками. Купцы глотали коньякъ, поминутно оглядываясь на свои оставленные снаружи товары.

Шелеховъ заказалъ грогъ. Мимо, живыми тушами, бѣжали автобусы, спѣша на бойню. Въ своихъ рѣшетчатыхъ кузовахъ они везли тѣсно скученный скотъ. Тучныя коровы; вяло жующіе волы, тяжкимъ равнодушнымъ взоромъ провожали встрѣчные предметы. Они не испытывали даже сожалѣнія, только истомленно поворачивали морды. Они походили на недовѣрчивыхъ туристовъ, которыхъ возятъ показывать ночную жизнь. Только слишкомъ быстро мча-

лись: надо было успѣть провести ихъ, упирающихся, въ станокъ; отрубить головы, освѣжевать, разрубить, разсортировать; привезти обратно и развѣсить до наплыва утреннихъ торговцевъ.

Катафалками скользили мимо грузовики съ убоиной. Въ кафэ входитъ пара. Они пьютъ у стойки. Спорятъ: у кого большая грудь. Толстый мужчина гладитъ свою грудь, обтягиваетъ фартукъ:

— Вотъ какая!

Женщина выпрямляется; поднимаетъ одно плечо:

— Вотъ!

Нѣсколько минутъ они усердно щупаютъ груди другъ друга; округляютъ, показываютъ размѣры. Наконецъ, приглашаютъ хозяина. Тотъ съ готовностью освидѣтельствовываетъ. Бѣлая кофта женщины покрывается пятнами отъ его жирныхъ пальцевъ.

Снова пьютъ. Входитъ проститутка, — дѣвочка съ черными, стриженными подъ скобку, волосами, — встряхиваетъ гривкой, ободряюще киваетъ пріунывшему Шелехову; подбѣгаетъ; гладитъ, хлопаетъ его по плечу:

— Не надо, не надо тужить.

Она съ дружеской нѣжностью проводитъ рукой по его головѣ, безпомощно оглядывается. Беретъ его стаканъ, отпиваетъ глотокъ. Ее кто-то окликаетъ.

— Сейчасъ! — она наклоняется, цѣлуетъ Шелехова въ щеку, какъ сестра: это все, что она можетъ. — Иду! — отвѣчаетъ она; выпиваетъ у стойки ромъ и уходитъ, бросая:

— Пора на работу!

Моросить дождь. Холодный, мелкій; совсѣмъ осенній. На каменныхъ скамьяхъ у воротъ товарнаго вокзала спятъ носильщики съ бляхами на груди. Имъ грезится теплая постель и ѣда. Много ѣды. Они дожидаются перваго поѣзда. Завтра, завтра съ разсвѣтными сумерками подойдутъ къ городу изъ далекаго свѣта тяжелые слипинги въ малиновыхъ огняхъ. Пріѣдутъ упитанные люди, съ тяжелыми, свиной кожи,

чемоданами. Они будутъ объясняться на неудобопонятномъ языкѣ и расплачиваться пахучими бумажками.

Падаетъ дождь. Торговки, монументальныя, мясистыя ищутъ навѣса; дружно перекликаются.

— Вы русскіе? Вы русскіе! — говоритъ Павлу плохо одѣтый господинъ. Онъ это сразу узналъ. Онъ итальянецъ. Убѣжалъ отъ дуче. Россія великая страна. Онъ ѣдетъ туда въ турнэ: Владивостокъ, Харбинъ, Сибирь, Русь. Будетъ выступать со своей скрипкой. Соціализмъ побѣдилъ въ Россіи.

Павелъ отпиваетъ глотокъ грога. — Италіи нечего опасаться, — говоритъ онъ вѣжливо. — Въ ея прошломъ залогъ будущаго.

Матросъ, съ повязанной рукой, взлѣзаетъ на соломенный стулъ. Онъ хочетъ говорить. Онъ предлагаетъ всѣмъ присутствующимъ выпить съ нимъ брудершафтъ.

Его судно разбилось въ Индійскомъ океанѣ. Чудо его спасло. Это онъ гребъ на послѣдней шлюпкѣ и видѣлъ, какъ молодой капитанъ выстрѣлилъ себѣ въ високъ: онъ упалъ у спущеннаго флага.

— Вотъ! — матросъ срываетъ бинтъ. Показываетъ всѣмъ свою обезображенную руку безъ пальцевъ. — Ихъ срѣзало канатомъ. Шесть ямокъ! — онъ былъ шестипалымъ.

Свѣтаетъ. Ежась отъ холода, Шелеховъ съ Павломъ выходятъ. Дождь усилился. Лужи — прудами заливаютъ зелень. Вооруженная плащами и зонтиками толпа купцовъ и купчихъ снуетъ — тѣснится — по грязи. Рядомъ, — топчутся кони, пробираются автомобили и, тихо шипя тормозами, пятится товарный электрическій поѣздъ.

Сумрачно, настороженно дежурятъ голодные дома.

Свѣтаетъ.

— Пора на работу, — говоритъ Павелъ тѣ же слова, что сказала проститутка.

Они уторапливаютъ шагъ.

Вдругъ Шелеховъ останавливается, какъ вкопанный. Межъ горами тюковъ по узкому оврагу, — идетъ пара, держась за руки. Онъ, — въ рабочемъ передникѣ съ мѣшкомъ, накинутымъ на спину; она, — молодая, невысокая, въ вязанномъ жакетѣ, безъ шляпы, со здоровымъ и свѣжимъ лицомъ. (Такъ, вѣроятно, выглядѣли всѣ эти дебелыя торговки, — невѣстами). Они держатъ другъ друга за руки; гуляютъ по извилистому корридору. Вѣроятно, онъ только что оставилъ свою тачку, ее сейчасъ позовутъ къ ларю. Улыбаясь счастливо, молчаливо, влюбленно,— они смотрятъ, цѣлуясь взглядомъ; покачиваются; жадно пьютъ пьяный для нихъ воздухъ. Смѣются нѣжно и завороженно.

Пристально, изумленно, какъ на что-то чудесное, какъ на откровеніе, — уставился Шелеховъ. Весь тоже просвѣтлѣлъ, помолодѣлъ.

— Смотри... Милые... — шепталъ онъ Павлу, все не отрываясь. — Милые. Это надо запомнить.

XII

Холодно. Люди кутаются въ тяжелыя пальто и шерстянныя кашнэ. Сѣрѣютъ ранніе сумерки.

— Шелеховъ! Шелеховъ! — окликнула дѣвушка въ черномъ господина, расхаживающаго взадъ и впередъ у трамвайной остановки.

— Муза! — обрадовался Шелеховъ, подбѣгая.

Онъ возмужалъ. На немъ новый костюмъ. На пальцѣ траурной каймой тускло блеститъ золото обручальнаго кольца.

— Что слышно? Какъ жена? — тихо спрашиваетъ Муза.

— Наташенька поѣхала провѣдать Петра: онъ поправляетъ нервы въ деревнѣ, — охотно объяснилъ Шелеховъ. — Ничего, работаю на фабрикѣ. Живу... Я нашелъ! — крикнулъ онъ вдругъ громко и потрясъ обѣими руками ея хрупкій станъ. — Ты слышишь: я нашелъ!

— Да? Что же ты нашелъ? — со сдержанной злобой спросила она.

— Я побѣдилъ! Смерти нѣтъ! Я тебѣ это долженъ разсказать! Я знаю, ты мучаешься. Не переболѣла еще отца, а тутъ Робертъ. Я долженъ тебѣ доказать: не скорби! Смерти нѣтъ. Ты можешь это передать другимъ!

— Да?

— Слушай... Во-первыхъ: лопухъ! Съ точки зрѣнья философско - научной, смерти, разумѣется, нѣтъ. Ариѳметика энергіи не уменьшается, она только из-

мѣняется. Ты отдаешь свои соки дѣтямъ, труду; ты умрешь, но изъ тебя выростетъ лопухъ. Она не прейдетъ! Но вѣдь это не успокаиваетъ, не правда ли? Итакъ, дальше! Можетъ быть, ты повѣришь тому, что существуетъ лазурный океанъ, куда вливаются «я» всѣхъ послѣ земного служенія. Эти «я» не перестаютъ существовать, хотя они не могутъ доказать, что они существуютъ: они все! Все: одно! А разъ нѣтъ «другого», нѣтъ объекта, то и не отъ чего оттолкнуться: упереться ногой, взглядомъ, чтобы сказать «это я»! «Я» безгранично! Вся вселенная «Я»! И поэтому оно не имѣетъ, о что себя осознать. Это нирвана! Вѣчное пребываніе! Но внимай дальнѣйшему; еще не сказалъ главнаго. — Шелеховъ говорилъ очень быстро и рѣшительно, не доканчивая отдѣльныхъ слоговъ, будто слова жгли ему губы. Въ его обведенныхъ синими подковами глазныхъ впадинахъ трепеталъ растерянный взглядъ. — Слушай же величественное, — торопился онъ, брызгая слюной. — Существуетъ только то, что ощущаемо, воспринимаемо и осознаваемо. Пойми, то, что не осознанно, не существуетъ. Сейчасъ, можетъ быть, въ Шанхаѣ родились сіамскіе близнецы; но пока мы этого не подумали, не восприняли: ихъ не было! Нашъ мозгъ рождаетъ все въ мірѣ. Что значитъ, — умереть? Перестаютъ якобы чувствовать, воспринимать! Значитъ, я не восприму, не осознаю и самого того состоянія смерти. Я просто не почувствую его. То-есть, его не будетъ для меня. Вѣдь я того состоянья не ощущу! Не осмыслю! Не переживу! Значитъ, его просто нѣтъ для меня. Только если-бы я осозналъ: дескать, я мертвъ... тогда смерть реальна. Но вѣдь, если я осознаю это, значитъ, я не буду трупомъ въ томъ смыслѣ, какъ насъ это страшитъ! Умоляю помнить! Смерти нѣтъ, это дорого стоющая ошибка. Она есть, пока человѣкъ живъ и хоронитъ другихъ; цѣлуется съ ними. Итакъ, что же остается? Разлука!

Страшный моръ, терзающій людскую душу. Ее, ее мы должны побороть! И мы осилимъ ее. Техника!

Она плетется черепашьимъ шагомъ, но все же намѣчаются уже просвѣты. Всѣ проблемы морали, это тоже вопросы техники! Но объ этомъ послѣ! Объ этомъ послѣ, — ужасно какъ спѣшилъ Шелеховъ. — Надо только вообразить! И тогда уже близко осуществленіе; придумать, — труднѣе, чѣмъ реализовать. Мы будемъ гипнотизировать умирающихъ людей. Живыя муміи. Вся жизнь исчезнетъ изъ нихъ; тѣло одеревенѣетъ. За полчаса до смерти они будутъ усыплены и поставлены въ спеціальный салонъ. И развѣ не будетъ умалена потеря, сознаніемъ, что стоитъ только захотѣть — одинъ шприцъ раствора въ вену, лучъ металла, положеннаго на солнечномъ сплетеніи!?. — онъ, дорогой отецъ, незабвенный отрокъ, очнется ! Пусть недолго! Пусть! Какое утѣшеніе отъ одной увѣренности. А въ большіе праздники земли мы ихъ станемъ будить: на пять минутъ. Побесѣдовать. Сообщить новость; обмѣняться лаской. Жизнь будетъ растянута на тысячелѣтія. Больныхъ ракомъ или чахоткой мы отошлемъ въ замороженномъ видѣ въ вѣка, какъ отсылаютъ почтой посылку за море. И позже родившіеся, болѣе счастливые, найдя уже лѣченіе, станутъ вскрывать эти пакеты, исцѣляя ихъ вновь изобрѣтенными снадобьями. Жизнь будетъ прекрасна, ибо при всей своей обремененности она невыносима именно оттого, что не вѣчна! Человѣчество спитъ половину своей жизни! Пойми, онъ живетъ не 70 лѣтъ, а тридцать пять. О, усталость — злостный ядъ въ протоплазмѣ клѣтокъ, — будетъ ассимилироваться впрыскиваньемъ. Мы сразу удвоимъ свой вѣкъ! Не надо будетъ трудиться. Аккумуляторы съ съ хитрыми поглощателями будутъ всасывать всякую энергію, такъ щедро производимую природой и нами. Земля кружитъ съ необъятной силой: 30 километровъ въ секунду! Мы осѣдлаемъ ее! Утвердимъ въ пространствѣ чудовищныя трансмиссіи, надѣнемъ приводные ремни изъ верблюжьей кожи. Мы используемъ вращеніе планеты, какъ гонимое паромъ маховое

колесо. На все хватитъ. А энергія отъ перемѣщенія языка во время рѣчи? Шумъ шаговъ? Теплота разогрѣваемыхъ пятокъ? Сила мышцъ, когда страстно сжимаешь въ своихъ объятіяхъ женщину. Это все будетъ собрано. Ничего не пропадетъ: ни одинъ сонъ, ни одна мечта человѣка за всѣ долгіе вѣка не пропадутъ не осуществленными. Мы создадимъ Бога; боговъ; всѣхъ, кого только не возжелалъ человѣкъ! Все сбудется. Мы это сдѣлаемъ такъ, что желающіе смогутъ имѣть основанія предполагать, что Боги ихъ сотворили; что они будутъ Имъ судимы послѣ кончины и получатъ рай. Будетъ и рай и адъ. Все сбудется. Ни одинъ вдохновенный вздохъ человѣка не погаснетъ! Каждому будетъ принадлежать міръ. Мы даже сможемъ уничтожать ихъ. И у насъ будетъ то удовлетвореніе, какое является, когда мѣшаешь другимъ. Каждому будетъ принадлежать вселенная и она будетъ за нимъ ухаживать, мыть его ноги и чесать пятки: ибо достоенъ того человѣкъ. Вселенныя будутъ лежать другъ въ другѣ, какъ соприкасаются и не мѣшаютъ себѣ волны свѣта и звука.

Ты понимаешь? Человѣкъ будетъ свободенъ. Энергія, невиданная, неслыханная — волны волнъ, лучи лучей — станутъ хранить человѣка. Мы научимъ животныхъ разговаривать и молиться; червяковъ пѣть. Мы сможемъ ускорить, — либо замедлить, — вращеніе земли. Мы этимъ самымъ увеличимъ день до года; годъ до вѣка. А человѣкъ живетъ семьдесятъ лѣтъ! Мы растянемъ жизнь, какъ резину! Радость будетъ приносить людямъ, — любовь! Ибо у насъ увеличится количество дырокъ. И то прекрасное, что бродитъ, рвется изъ насъ, не умѣя протиснуться чрезъ существующіе каналы — скисая, сворачиваясь и ржавѣя! — найдетъ себѣ исходъ. Оно найдетъ себѣ примѣненіе и дастъ намъ счастье. Полное, совершенное, неутомимое! Гибель планеты, какъ всякая другая смерть насъ не пугаетъ.

Жизнь превратится въ праздничное состязаніе. Что же остается ото всѣхъ скорбей? Прошлое! Прошлое? Проиграна ли партія тѣхъ, что уже прошли? Не успѣвшихъ?! Насъ?! Нѣтъ и стократъ нѣтъ! Мы ихъ вернемъ. Разложившіеся, превратившіеся въ камень трупы погибшихъ при потопѣ возстанутъ изъ праха. Свѣтъ расходится со скоростью 300.000 километровъ въ секунду; образъ твоего отца бродитъ сейчасъ межъ двумя ближайшими созвѣздьями, онъ уходитъ все впередъ и впередъ. Мы вернемъ этотъ образъ. Установимъ могучіе зеркала и магниты; мы его отбросимъ назадъ; мы умилліонимъ скорость свѣта и предъ нашимъ взволнованнымъ взоромъ снова пройдетъ Христосъ, направляясь въ Эмаусъ. Онъ бредетъ сейчасъ по млечной тропѣ, влача голгоѳскій крестъ. Будущее, прошлое и настоящее сгустятся въ одно. Время исчезнетъ. О, какой праздникъ. Нѣтъ границъ страстному творчеству; непреодолимо оно. Я нашелъ! Я нашелъ! — истерически вскрикивалъ Шелеховъ.

— Да? — злобно спросила Муза, подымая изможденное черное личико съ большими, страдальческими, недоумѣвающими заводями на мѣстѣ глазъ. — Да? — со жгучей ненавистью и завистью повторила она; и вдругъ вздрогнула, отшатнулась, цѣпенѣя.

Сгорбившись, съ пѣной у рта стоялъ Шелеховъ. Изъ подъ тонкаго сукна пальто явственно проступалъ его сутулящійся позвоночный столбъ и широкія лопатки. Вотъ такая же спина была у отца Музы, когда мастеръ прикладывалъ деревянный метръ къ его тѣлу, снимая мѣрку для гроба.

— Да? — повторила она еще разъ беззвучно, вся съежившись, глядя расширенными отъ страха и еще какого-то чувства глазами на постарѣвшаго Шелехова.

— Побѣда близка, — не глядя на нее, пророчески закончилъ тотъ. — Передавай всѣмъ встрѣчнымъ. Смерти нѣтъ. Клянусь тебѣ: ты встрѣтишься съ от-

цомъ. Я спѣшу къ Пронинымъ. Сегодня обрученіе Ларисы съ Робертомъ. Прощай, — и ткнувъ ей, не глядя, свою руку, онъ побѣжалъ къ замедляющему ходъ трамваю.

Муза проводила его усталымъ, недоумѣвающимъ, задумчивымъ и тоскливымъ взоромъ. Стояла долго, горестно слѣдя за зеленымъ вагономъ, медленно тающимъ въ зимней, мглистой дали.

Падалъ снѣгъ. Большими сѣрыми хлопьями, — какъ подстрѣленные лебеди? — падалъ снѣгъ. Стелился мягко и густо на тротуары, на провода, на вывѣски. И разсказывала эта косо опускающаяся завѣса о томъ — —

О томъ, что опять и опять наступаетъ зима.

Romainville, 1930.

Читатель! Сообщите Вашъ отзывъ объ этой книгѣ по адресу издательства. Вашъ отзывъ будетъ использованъ авторомъ.

Того же автора:

К О Л Е С О

Повѣсть.

И-во «НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ». Парижъ-Берлинъ.

Imp. de Navarre, 5, r. des Gobelins, Paris (XIIIe)

Складъ изданія:
PETROPOLIS-VERLAG A. G.
Berlin W. 15.

Printed in France